

ЛИДИЯ ЛИБЕДИНСКАЯ

С ТОГО БЕРЕГА




Мечтанья

ПЛАМЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

НИКОЛАЙ ОГАРЕВ



ЛИДИЯ ЛИБЕДИНСКАЯ

С ТОГО БЕРЕГА

**Повесть
о Николае Огареве**

Издание второе

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1985

Р2
Л55

Лидия Либединская — автор книг «Зеленая лампа», «Воробьевы горы», «Герцен в Москве», «Жизнь и стихи», «Последний месяц года» и других.

Новая ее книга рассказывает о жизни и деятельности замечательного русского поэта, друга и соратника Герцена, революционера Николая Огарева.

Перед читателем проходит сложный, исполненный борьбы и гонений жизненный путь Огарева, его нелегкая личная судьба. Воспитанный на идеях декабристов, Огарев с юности посвящает себя революционной борьбе, он является инициатором издания знаменитого «Колокола».

Автор рисует целую галерею портретов современников Огарева, людей, принадлежащих к разным политическим лагерям, что позволяет полно и разносторонне показать характер главного героя, его роль в общественной жизни России тех лет, заслуги в деле революционной пропаганды.

Повесть, тепло встреченная читателями и прессой, выходит вторым изданием.

Л $\frac{0504030000-263}{079(02)-85}$ 180—85

В жизни ушедших, и особенно ушедших давно, мы всегда ищем и находим цельность и замысел. Однако на самом деле человеческая судьба не только движется по прихотливой кривой, не только дробится на множество периодов, нередко противоречащих один другому, но даже сама кажущаяся цельность представляется разному глазу неодинаковой в зависимости от точки зрения.

Николай Платонович Огарев, незаурядный русский поэт и знаменитый революционер, не похож ни на его хрестоматийно сложившийся облик, ни на ту личность, что рисуется из статей врагов (предостаточно их было у него, как у всякого яркого человека), ни на тот сусальный, некрологически непогрешимый портрет, что проглядывает из ученых трактатов. Был он весьма разноликим, как все смертные, сложным и переменчивым. Много в нем верности и доброты, причем последнего чересчур. То и другое причиняло ему множество мелких бед и крупных несчастий, но они не только не сломили его, но даже не притупили два этих главных свойства. Верность и доброта сопутствовали ему до смерти. Что ж до цельности жизни, то на самом-то деле постоянно и неизменно испытывал он острые и глубокие терзания от естественной необходимости выбирать. И кажущаяся цельность судьбы — просто цельность натуры, всякий раз совершающей выбор, органичный душе и мировоззрению. Он никогда не лгал и делал

выбор с глазами открытыми, всегда сам, как и подобает свободному человеку, отчего и казался зачастую гибким и пластичным своим современникам, а подчас и весьма странным. Жил он в очень трудное время — но бывают ли времена легкие? Окружали его яркие и своеобычные люди. Нескольких современников его, знакомых с ним или незнакомых, нам никак не миновать, ибо нельзя восстановить облик человека вне той эпохи, в которую он жил, а эпоха — это люди, наполнявшие ее и ею наполненные. Люди, строившие свою судьбу и каждый раз делавшие свой выбор. Оттого, быть может, галерея современников часто больше говорит о человеке, нежели самое подробное описание его собственной жизни. К счастью, осталось много писем. И воспоминаний полным-полно. И архивы, где хранятся не только документы, но и труды, не увидевшие света в свое время. А что до любви к герою — сказать о ней должна сама книга.

Эта книга об очень счастливом человеке. Больном эпилепсией, не раз обманувшемся в любви, об изгнаннике, более всего на свете любившем родину, человеке, который осмелился дерзнуть и добился права быть всегда самим собой.

Родился он в тринадцатом году прошлого века 24 ноября по старому стилю, в городе Санкт-Петербурге — упомянем об этом здесь, чтобы сразу же обратиться к его молодости.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВЫБОР СУДЬБЫ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Поначалу все чрезвычайно благополучно складывалось в его судьбе, удачливо и спокойно. Не говоря уже о том, что пристойно и благонамеренно до крайности. Но это на взгляд торопливый и поверхностный.

Странное, будто приглушенное и придушенное, стояло время — первые годы после поразившей всех (Не ожидали! Верили в милосердие монарха!) казни пятерых возмутителей с Сенатской. Впоследствии Герцен написал об этой поре исчерпывающие слова:

«Тон общества менялся наглазно; быстрое нравственное падение служило печальным доказательством, как мало развито было между русскими аристократами чувство личного достоинства. Никто (кроме женщин) не смел показать участия, произнести теплого слова о родных, о друзьях, которым еще вчера жали руку, но которые за ночь были взяты. Напротив, являлись дикие фанатики рабства, одни из подлости, а другие хуже — бескорыстно».

Правда, среди этой тишины доносились внезапно слухи об отдельных поступках, настолько с духом времени несообразных, что конец их выглядел преестественно. Некий юнкер Зубов неустанно писал «наполненные злобой против правительства стихи» и вскоре был, по личному высочайшему повелению, препровожден в дом для умалишенных. Поводом даже не стихи послужили, они только при-

плюсовались к делу, а поступок истинного безумца: в исступлении рубил этот несчастный при друзьях бюст государя императора, восклицая: «Так рубить будем тиранов отечества, всех царей русских!», и читал при этом стихи Пушкина. Под простынями, намоченными ледяной водой (была тогда такая врачебная метода для отвлечения от пагубных мыслей), юнкер несколько поостыл и был вскоре почти прощен: сослан рядовым в Грузию. Начальство же обязывалось присылать ежемесячные рапорты о его поведении вплоть до полного исправления. Поведение Зубов показал отменное, а вскоре, очевидно, и вовсе исцелился — рапорты, во всяком случае, прекратились. Может быть, помогла шашка незамиренного горца.

Бдительный повсюдный надзор в те годы был так нескрываем, что не мог не посыпаться отовсюду ливень доносов, надзором этим возбуждаемый и подстрекаемый. Вот отрывок из частного письма, сохранившегося в архивах благодаря перлюстрации: «Нынешние времена страшат каждого служащего во всякой службе по причине беспрестанных доносов. Злые люди нынче только тем и занимаются, как бы кого оклеветать и показать свою фальшивую преданность... Кажется, нынче всякий будет без вины виноватый».

В атмосфере всеобщего страха, подозрительности и распространенной подлости высказывать свои взгляды и симпатии было опасно, а собираться группами и кружками — самоубийственно. Однако именно в такие-то времена людей и тянет побыть в компании своих, поговорить без оглядки и без притворства. Отсюда обилие кружков, что возникали и распространялись тогда повсюду как единственная форма необходимого людям, словно воздух, распахнутого человеческого общения. Кроме кружков, сохранившихся в истории благодаря таланту их участников, несть числа было кружкам, распавшимся после повзросления членов и, к счастью, канувшим без следа.

К счастью, потому что за обнаруженным кружком вскоре учреждался надзор, а так как речи там велись откровенные (на то он и кружок единомышленников), то непременно и осудительные по отношению к властям. Наказание же полагалось даже за высказывание недовольства, а уж в случае наличия умысла следовала непременная кара, настигающая очень быстро.

Так в начале августа двадцать седьмого года, загоняя лошадей, мчался в Петербург фельдъегерь. Сообщение было и впрямь тревожное, и все же только недавняя близость декабря двадцать пятого оправдывала пожарную скорость и военный размах мер, незамедлительно предпринятых. Сообщалось о том, что среди солдат одного из московских караулов появился мальчишка-студент, говоривший о тяжести солдатской службы, о всяческих свободах, которые везде, мол, есть уже, кроме многострадальной России, а также о позорном рабстве русских землепашцев. Говорил мальчишка, что большая компания печальников за народное дело в день коронации собирается разбросать повсюду возмутительные записки, а у монумента Минину и Пожарскому всенародно выставить огромный список невинно повешенных и сосланных в Сибирь. Вот и все, что они собирались сделать, молодые неизвестные злоумышленники, но этого оказалось достаточно для принятия срочных мер. Мчались фельдъегеря, туда и обратно летели они с ежедневными донесениями. А в Москве нескольким офицерам доверительно поручили выведать у мальчишек их планы. Услужливые офицеры поговорили, выведали и предали.

Специальная комиссия во главе с московским военным генерал-губернатором разбиралась в грандиозном злоумышлении кучки двадцатилетних юношей во главе с тремя братьями Критскими, младшему из которых едва-едва исполнилось семнадцать.

Все у них было по-настоящему, даже печать с девизом

«Вольность и смерть Тирану». Вот отрывок из протокола допроса одного из братьев: «...любовь к независимости и отвращение к монархическому правлению возбудились в нем наиболее от чтения творений Пушкина и Рылеева. Следствием сего было, что погибель преступников 14 декабря родила в нем негодование».

Собрав тайное общество с целью достижения в России свободы, собирались они вербовать себе единомышленников среди студенчества (шестеро главных зачинщиков, кроме одного, уже закончили или кончали высшее образование). Думали они о цареубийстве (тот, кто вытащил бы этот жребий, должен был потом покончить с собой, чтобы даже ненароком не выдать товарищей), но отложили это на десять лет, решив посмотреть, что выйдет из пропаганды и прокламаций. Когда тайное общество их размножилось бы достаточно, собирались они выбрать кого-нибудь в председатели. Большинству очень хотелось пригласить на эту должность Александра Пушкина, и только один решительно воспротивился: «Пушкин ныне предался большому свету и думает более о модах и остреньких стишках, нежели о благе отечества». Это убедило остальных. Никаких прокламаций они изготовить не успели.

Пленительной наивностью самоотвержения и безрассудства подкупает этот заговор мальчишек нас, читающих о нем в архивах, но волновал он и современников, узнавших все лишь по слухам и оглядчивым пересказам. Однако, очевидно, не всех, ибо сохранились записи подслушанных в те поры частных разговоров. Одно из донесений сообщает прелестный и решительный монолог: «Вот вам просвещение! Если б кончили воспитание Критских русскою грамотой да арифметикой, и пошли они по той же дороге, по которой шел отец их, кондитер, то этого бы им и в голову не пришло».

Приговор мальчишкам вынесен был, однако, всерьез. (На декабрь пришлось высочайшее утверждение, а это к

милосердию, естественно, не располагало.) Двоих — в Швартгольмскую крепость, двоих — в Соловецкий монастырь, двоих — в крепость Шлиссельбург. И еще десяток — на службу в мелкие города под надзор. Хлопоты и просьбы родных оказались безуспешны. Младший из братьев Критских скоро умер в заточении от лихорадки. Пятерых заключенных спустя семь лет отправили рядовыми в арестантские роты.

Для столь жестокой расправы главным побуждением являлся страх, вполне, надо сказать, объяснимый и обоснованный. Постоянное и мучительное ощущение, что число врагов, злоумышленников и недоброжелателей куда больше, чем выявлено и сослано, а значит, они тут, рядом, и времени понапрасну не теряют,— подобная мысль не одному триумфатору отравляла торжество достигнутого успеха, тем более что с течением времени она всегда оказывалась оправданной. Ибо при самом изощренном и разветвленном сыске никогда невозможно выявить и обозначить тех, кто молчаливо скрылся до поры в приветствующей раболепной толпе. Так, сразу после казни пятерых в Москве было молебствие в честь победы и воцарения. Вся царская семья присутствовала на богослужении — благодарение возносил сам митрополит, и огромная толпа, отделенная густой линией гвардии, принимала живейшее участие в торжестве. Они находились тогда в этой толпе — мальчишки, вскоре принесшие себя в жертву, а сколько таких было еще? Кроме тех, что стали известны позднее или вовсе остались неизвестными, стоял там и Александр Герцен. «Мальчиком четырнадцати лет, потерянным в толпе, я был на этом молебствии, и тут, перед алтарем, оскверненным кровавой молитвой, я клялся отомстить казненных и обрекал себя на борьбу с этим троном, с этим алтарем, с этими пушками».

Оставался год до того дня, когда он повторит эту клятву вместе со своим ровесником и другом, по неисповеди-

мым путям аристократического российского воспитания пришедшим к той же ненависти и такой же решимости.

Впрочем, первые нити общения с миром злоумышленников (на взгляд, разумеется, полицейский) тянутся к нашему герою от еще одного кружка, упомянуть о котором непременно стоит.

Самое начало тридцатых годов было тоже временем зыбким и смутным,— казалось, отзвуки и раскаты шедшей во Франции революции глухими толчками будоражили и российскую почву, нарушая и возмущая с таким трудом достигнутый покой. А тут еще восстание в Польше, холера сразу в нескольких областях и народная смута, вслед холере непременно вызревающая, кровавый бунт в Новгородских военных поселениях, пожары, столь массовые, что нельзя было не думать о поджогах.

И в разгар этих событий — донос о тайном московском обществе, образованном молодыми русскими вместе с польскими офицерами, порешившими бежать в Польшу через Литву и присоединиться к повстанцам.

Дело о поляках следственная комиссия отделила сразу же,— на них донес сам глава общества, клятвенно со слезами уверявший, что и затевал все исключительно ради того, чтобы впоследствии открыть правительству лиц, готовых к пропаганде и возмущению. Историки, изучавшие впоследствии по архивам странное и запутанное это дело, находят Сунгурова личностью малосимпатичной. Интересно, что так же относились к нему, судя по следственным показаниям, и члены злоумышленного кружка. Но такова была жажда деятельности, так хотелось бороться и ниспровергать, что собственную неприязнь забывали они ради общности благородных целей. Потом одумались, правда, собрались было расстаться с Сунгуровым, очень уж он много врал, юлил и недоговаривал, но оказалось поздно. А совершенно очевидно, что были эти юноши личности светлые и прекрасные. Общество они составляли, чтобы

ввести в России конституцию. Средствами (рука Сунгурова чувствуется) предполагалось не брезговать никакими: захватив арсенал, отдать на разграбление питейные дома, чтобы народ к мятежу возбудился легче и охотней. Поговорили они, поговорили, и сразу последовало три доноса, причем один от испугавшегося ареста Сунгурова.

Следственная комиссия, брезгливо разобрав сие неопасное дело, наказания предложила легкие. Тогда государь перепоручил рассмотрение суду военному. Те по-военному и распорядились, не очень-то вникая в обстоятельства: двух четвертовать, девятерых повесить, одного расстрелять. Достаточно простора для проявления монаршей милости (Николай, очевидно, хотел показать себя в этом пустом деле): двух повелел отправить на каторгу, остальных — под надзор или рядовыми в армию. Потому что главная и единственная их вина очень точно и полно выражена проницательной следственной комиссией: «Во всех их видно расположение ума, готового прилепляться к мнениям, противным государственному порядку».

А один из осужденных вскоре написал друзьям письмо, посланное, разумеется, не по почте — ехал в Москву знакомый чиновник,— в котором слал приветы и особо благодарность тем, кто собрал по подписке деньги на неблизкую дорогу. Деньги эти лично отвозил в казармы, где осужденных держали перед этапом, студент Московского университета Николай Огарев. Упомянут был, естественно, и он. А знакомый чиновник, пользуясь превосходным и редким случаем засвидетельствовать свою преданность престолу, прямо и аккуратно привез это письмо в Москву к жандармскому окружному генералу. В результате несколько человек, в том числе и студент Николай Огарев, вызывались для первого отеческого увещевания. Генерал, распекавший и пугавший их, отозвался, впрочем, очень хорошо об Огареве, ему весьма понравился тихий молодой человек поэтически-меланхолического склада.

Как же реагировал сам Огарев на первое предупреждение, первый сигнал, возвещающий о том, как пойдет все далее в его жизни, если он будет следовать велению души и сердца, голосу своих идеалов и привязанностей, а не холодному рассудочному пониманию?

Радостью и гордостью реагировал. Этот вызов и начальственные угрозы, по словам Герцена, были «чином, посвящением, мощными шпорами». С маслом, политым на огонь, сравнил Герцен (полный тогда юношеской зависти — его не вызвали!) первое в жизни их кружка событие. Ибо все вызванные тогда к генералу давно уже были членами тесно сплоченного дружеского кружка, в котором совместные трапезы (в доме Огарева, на Никитской) служили только фоном и обрамлением пристального и серьезного обсуждения всего, что совершалось на свете. Александр Герцен был умом этого кружка, Николай Огарев — душой.

Когда окружающая действительность враждебна всем вместе и каждому в отдельности, вполне понятны желание и стремление хотя бы в тесном дружеском общении говорить без оглядки и размышлять без опаски быть услышанным. Вот как писал в одном из писем Белинский: «Воспитание лишило нас религии, обстоятельства жизни (причина которых в состоянии общества) не дали нам положительного образования... с действительностью мы в ссоре и по праву ненавидим и презираем ее, как и она по праву ненавидит и презирает нас. Где же убежище нам? На необитаемом острове, которым и был наш кружок».

Здесь еще одна существенная деталь содержится — об отсутствии «положительного образования». Разве так уж оно плохо было в тогдашних российских университетах? Нет, совсем нет, вовсе не так плохо, за исключением одного пробела, жизненно важного именно в возрасте, когда мучительно необходимо составить себе полную картину мира, когда мировоззрение только складывается и вопросов не перечесть, тем более что складывается оно на

основе полного неприятия рабской и удушающей родной атмосферы. Тут-то вот и хочется прежде всего почитать мыслителей и мудрецов, чтобы полной горстью зачерпнуть от мировой философии. Но для этого нужны книги (на учителей надежды мало, жалованье и боязнь прочно держат их в казенных рамках), но и с книгами была беда. Параграф сто восемьдесят шестой цензурного устава ясно и недвусмысленно обозначал один из пределов книгопечатания: «Кроме учебных логических и философских книг, необходимых для юношества, прочие сочинения сего рода, наполненные бесплодными и пагубными мудрствованиями новейших времен, вовсе печатаемы быть не должны».

Недостаточность духовной пищи не восполнялась литературой запрещенной, литературой, в изобилии ходившей в списках, литературой подземной и печать презревшей. Ибо это в основном были всяческие стихи — вольнолюбивые, богохульные, атеистические. Стихи, стихи, стихи. Высокие и прекрасные, о свободе и гуманности говорившие уму и сердцу, но все-таки это не было то «положительное образование», по которому мучительно тосковали люди, расположенные к нему. Оттого-то книги философов, падая на благодатную почву, жаждавшую посева, расцветали махровыми цветами упоенной и слепой приверженности. Белинский, к примеру, начитавшись Гегеля, пережил долгий период искренней и фанатичной уверенности, что все действительное и впрямь разумно; а, отрезвев, сам над собой подсмеивался, как он защищал российское рабство и мудрость монаршего правления.

Огарев и Герцен почти с детства жадно читали тайные списки, и общая осведомленность в литературе такого рода (Пушкин, в основном, и Рылеев) сблизила их при знакомстве едва ли не сильнее, чем благоговейная любовь к Шиллеру.

Огарев учился в университете без того упоения и захлеба, с которым учился Герцен, а потом и вовсе бросил

посещать лекции. Обучаемый с семи лет посещавшими дом учителями, особенно полюбив римскую и греческую историю, в девять лет написал он по заданию учителя сочинение на вольную тему. «Письмо к мечтаемому другу» называлось оно. Он уговаривал неведомого товарища (далеко впереди была еще встреча с Герценом) наподобие героев древности пожертвовать собой для отечества. И вот странно: вырос, возмужал, казалось бы, поумнел, образовался уж во всяком случае куда более, чем тогда, двадцать лет — возраст зрелости, а то детское чувство, снедающее, жгучее, острое, в точности таким и осталось. Неясным по исполнению, тревожащим, смутным, зыбким и неотвязчивым. Как реализуется оно и как утолится, придумать он еще не мог и искренне завидовал Герцену. Тот был весь наружу — напропалую говорил любому все, что думает о России и рабстве, витийствовал с пафосом и жаром по каждому поводу, во всем участвовал и выказывал полную готовность ко всему примкнуть. Да к тому же суждения у него были четкими и определенными, что делать и чем заняться, знал он твердо — да и не только про себя, но и всем посоветовать мог убежденно, красноречиво, убедительно. А Огарев, неразлучный спутник, томился, сомневался, отмалчивался. Собирались все у Огарева в небольшой его (с детства была мила) комнате у Никитских ворот, красные обои которой с золотыми полосками, и горящий камин, и застойные облака дыма, и запах жженки, и аромат сыра (единственная и главная закуска) многим навсегда запомнились. Огарев споров не затевал, длинных монологов не произносил, склонен был скорее согласиться улыбчиво с самой крайней точкой зрения, чем запальчиво и наотмашь отмести ее. Герцен кипел, заводил, активничал и первенствовал со сладострастием, Огарев внимал, одобрял, отмалчивался. Вся компания их, весь кружок собирался тем не менее именно вокруг них обоих, потому что Герцен здесь, как уже сказано, являлся умом,

а Огарев — душой и сердцем. Так смолоду повелось и до смерти так между ними осталось. Герцен понимал это прекрасно и однажды сформулировал точно, вспоминая студенческие годы: «В Огареве было то магнитное притяжение, которое образует первую стрелку кристаллизации во всякой массе беспорядочно встречающихся атомов, если только они имеют между собою сродство». О роли же Огарева в собственной своей жизни оставил он неисчислимое количество свидетельств и во множестве писем, и в воспоминаниях, и в дневнике, удостоверяющих именно сказанное выше: во-первых и в-главных, неразрывность их, а во-вторых, определяющий характер связи — именно ума и души. Так сразу после приговора (близится уже, близится обязательный и непременный срок обязательной и непременной судьбы российских самоотверженных юнцов) писал он из тюрьмы своей кузине: «Как высок и необъятно высок Огарев — этого сказать нельзя, перед этим человеком добровольно склонил бы я голову, ежели б он не был нераздельною частью меня».

Будут потом и другие слова друг о друге, потому что переписка обширна, писали они много, и существенной частью их деятельности было — выработать из себя внутренне свободного человека. Чрезвычайная и куда как трудная задача для любого времени и пространства! А в России в смутное и странное время возникновения идей о необходимости этой свободы? Друг друга изучали они так же пристально, как самих себя, и пространно обсуждали наблюдаемое — письменно и устно в равной степени.

Герцен — Огареву: «Меня раз увидишь и отчасти знаешь, тебя можно знать год и не знать. Твое бытие более созерцательное, мое — более пропаганда. Я деятелен, ты лентяй, но твоя лень — деятельность для души».

Огарев — Герцену: «Можно ли сомневаться, когда видишь человека, что он человек? Ты можешь сомневаться,

а я не могу, я бросаюсь обнять человека и на опыте с ужасом каюсь в ошибке».

Собирались уже, естественно, издавать журнал, средства для которого оба надеялись вымолить у отцов. Герцен план разработал, обязанности внутри журнала распределил (Огареву — вся литература, часть истории, философии и критика), сформулировал общие задачи журнала так заманчиво, что нельзя было не принять в нем участия: «Следить за человечеством в главнейших фазах его развития, для сего возвращаться иногда к былому, объяснить некоторые мгновения дивной биографии рода человеческого и из нее вывести свое собственное положение, обратить внимание на свои надежды».

Им едва лишь за двадцать, читатель, и пирушки их — кипение идей и ума, а не только жженки и страстей. И еще вся жизнь впереди, оттого и планы наполеоновские, и уже занесена над обоими неизбежная пресекающая рука.

Тридцать четвертый год, лето. Франция, Польша, новгородская кровавая смута, холера и холерные тревоги — раскаленный, но уже вчерашний день. А сегодня — необъяснимые и пугающие пылают по Москве пожары. Очевидец свидетельствует, что тридцать четвертый год «огненными чертами записан в летописях Москвы; два месяца пожары истребляли город; ...пожары были по нескольку раз в день, команда обессилела, лошади измучились. Ясно было видно, что это не случайность, что тут злоумышленность. Народ волновался, обвинял внешних врагов, во всех видел поджигателей, и стало опасно ходить по улицам».

И вот в самом разгаре непонятных пожаров явился в городскую полицию давний добровольный осведомитель (доносил охотно и часто, но все больше по мелочи) — некий «вольный механик», как было записано в последующем рапорте о срочной ссуде ему казенных денег. Он сообщил, что «несколько молодых людей собираются по ночам в разных местах и там, под видом препровождения

времени, напиваются доньяна и поют песни, наполненные гнусными и злоумышленными выражениями против верноподданнической присяги». Он взялся поймать собутыльников с поличным, испросив денег на угощение и точно обозначив день, когда пригласит их к себе. А чтоб ошибки не было, нарисовал план, как пройти в его квартиру с черной лестницы, где крючок на двери предусмотрительно будет откинут.

В подобных случаях, господин Огарев, уважаемый Николай Платонович, а всего чаще — Ник, как называет вас большинство приятелей,— в подобных случаях важно ведь не только то, что вы пели бесшабашно и радостно наказуемые песни в малознакомой и не слишком симпатичной компании. Это, конечно, само по себе неосторожно, легкомысленно и неосмотрительно. Только не это главное. Главное, Николай Платонович, что вы уже давно пишете, переводите и записываете все, как на подбор, что услышали интересное, а это совершенно с российским законоположением несообразно. Не положено российскому подданному ни дневник вести, ни личные записи делать, и вообще ничего заветного доверять бумаге в собственных четырех стенах не дозволено, потому что он неустанно должен помнить, что в любой момент доступен бдительному отеческому досмотру властей предержащих. Собственно говоря, он, российский подданный, даже и в мыслях ничего такого иметь не должен. Но покуда в умах досмотр затруднителен, остаются поднадзорными все до единой бумаги в квартире российского обывателя, кем бы он ни являлся по происхождению и как бы ни был нужен отечеству. Потому что благомыслие важнее возможной пользы. Польза может и не состояться, а от крамолы вред заведомый. Так что крайне, крайне опасно заносить свои мысли на бумагу. И чужие — тоже, и конспекты с прочитанного, и с друзьями переписка — все опасно.

Много позже Герцен напишет сокрушенно и полуосуж-

дающе: «Всегда глубокий в деле мысли и искусства, Огарев никогда не умел судить о людях. Для него все не скучные и не пошлые люди были прекрасными...»

С такими как раз прекрасными людьми и пел Огарев летом тридцать четвертого года прекрасные, но недозволенные песни. А один из этих людей вскоре позвал его к себе в гости. Правда, Огарев вторично не пошел, но это уже было неважно.

2

«Дело о лицах, певших в Москве пасквильные стихи», началось, как и прочие многие, с добровольного подлого доноса. А потом рассматривала его, долго разбирая, высокая, специально назначенная комиссия из людей в чинах, летах и орденах. Но подлинной сути дела — смешного и пустячного — не могут скрыть пухлые и внушительные папки следственного дознания. Конечно, приятно и завлекательно, когда первые же столкновения героя с властями предержащими обнаруживают и обнажают его взрослость, зрелость и умудренность. Тогда к чему раздумывать, как менялся он на протяжении жизни? Но если подлинные заслуги, да и самая зрелость далеко впереди, и забудешь о них, листая толстое следственное дело, все становится на свои места, смешное и глупое выплывает наружу: чисто охранительное мероприятие! А сам герой, как и все его приятели,— зеленый, как апрельский листок, веселый, загульный и проказливый мальчишка. Пусть он уже занимается несколько лет историей и философией и находят у него при обыске переводы и планы статей и всяческие заметки и конспекты. А переписка с друзьями до того глубокомысленна, что пугает следователей, и они просят темные места ее пояснить. На самом деле причина всех бед — бесшабашная юношеская вечеринка,

за которой последовали провокация и донос. И естественно, что на вечеринке пелись песни, коим легкая непристойность придавала дополнительную привлекательность, а крамола вся-то и состояла в том, что касались непристойности эти (привлекательность увеличивая) особ настолько высоких, что о них в таком тоне даже и помышлять не полагалось.

Один из авторов фривольных и отчасти дерзновенных песен (списки их по рукам широко ходили) — некий загульный весельчак Соколовский — был уже на примете. В частности, когда началось дело, в папку следствия был положен рапорт, что еще полгода назад неких Соколовского и Огарева видели у подъезда Малого театра — они стояли, обнявшись, и горланили «Марсельезу». Это в Москве-то тридцать третьего года! И вот снова в доносе имя Огарева...

Огарев был арестован в ночь на девятое июля, после обыска очень длительного с изъятием огромного множества бумаг и писем. Через три дня, правда, его выпустили на поруки родственников, но бумаги и письма постепенно читались и разбирались, и двадцатого он был взят снова, а на следующий день арестовали и Герцена.

Около полугода провели они в одиночном заключении. Огарев — в Петровских казармах, в самом центре Москвы, под неумолчный шум ее дневной и ночной жизни. Герцен — на окраине, в Крутицах. Изредка вывозили на допросы. Вопросы предъявлялись письменно, замечательно прозрачного содержания. Вслед за вопросами обычного ознакомительно-осведомительного порядка (кто такой, где служите, были ли под присягой, с кем в родстве и знакомстве, с кем в общении и переписке и о чем, кстати, эта переписка, в штрафах, под судом или следствием не бывали ли) шли вопросы точные и конкретные:

«*Пункт десятый*. Не принадлежите ли, или прежде не принадлежали ли к каким-либо тайным обществам; не

знаете ли существования где-либо подобных обществ, где они, под каким наименованием, кто начальствующие в оных и члены, в чем заключается цель их и какие предположены средства к достижению ее?»

«*Пункт одиннадцатый.* Не занимаетесь ли вы сочинениями и переводами с иностранных языков, каких авторов, не переводили ли чего-либо запрещенного; равно и в сочинениях своих не излагали ли чего противного правилам христианской религии и государственным постановлениям? Кто внушал вам подобные мысли и с кем разделяли оные?»

«*Пункт тринадцатый.* Не получали ли сами от кого подобных сочинений или переводов?»

Вопросы составлены с прелестной обнаженностью: члены высокой комиссии убеждены, что нельзя человеку думающему не быть членом одного из тайных обществ, коих в России, вероятно, множество. Но какого именно? — вот что, собственно, их интересует. Не сочинять или по крайности не переводить крамолу — невозможно. Так же как невозможно не получать ее для чтения, а оттого важно, кто внушил и разделил столь дерзкие и опасные мысли. В дознании молодого образованного дворянина той поры вопросы эти настолько сами собой разумелись, вытекая из психологического климата времени, что человеку, который был схвачен за пение двух-трех нехитрых песен, казались вполне естественными. А на самом деле неестественность их проявляется вполне и ярко, если сопоставить их, к примеру, с допросом какого-нибудь мастерового, тоже певшего вполпьяна непристойные песни воровского содержания. Тот — другое дело, тому просто по шее надавал бы ближайший будочник или на худой конец первый же квартальный. Но если все-таки представить себе тщательное его допрашивание? Как бы он сам отнесся к вопросам, не имеет ли намерений ограбить дом генерал-губернатора столицы или не собрана ли им компания для

разбоя на дорогах губернского значения и убийства правительственных фельдъегерей? И кто, кстати, члены этой шайки? Где проживают и кто сего зачинщики?

Можно не продолжать вопросы, никому бы в голову не пришедшие. Потому что всегда негласная обусловленность есть и в задаваемых преступнику вопросах, и в его ответах. Самая вероятность выясняемых событий или поступков обусловливает вопросы и ответы. Из вопросных пунктов очевидно, что вероятность выясняемого была достаточно высокой — и для спрашивающих, и для отвечающих. Это просвечивает с наглядностью и в следующих прекрасных вопросах:

«*Пункт четырнадцатый.* Не случалось ли вам в Москве или вне оной быть у кого-либо в таких беседах или сообществах, где бы происходили вольные и даже дерзкие против правительства разговоры; в чем они заключались, кто в них участвовал, не было ли кем вслух читано подобных сочинений или пето таких же песен?»

«*Пункт пятнадцатый.* Не случалось ли вам письменно выражать мысли свои, или изустно с кем-либо рассуждать об образе правления в Российском государстве, сравнивать его с правлениями других государств, и как вы в сем случае изъяснялись, и какие слышали от других о том суждения?»

Это пункт предельно больной. Общеизвестно, что после походов четырнадцатого года, после Сенатской площади и всего, что последовало за этим, после подавленной Польши и страшного бунта в Новгородских военных поселениях — повсюду только и говорили что о российском неблагоустройстве. Потому еще два вопроса аккуратно уточняют предыдущий.

«*Пункт шестнадцатый.* Ежели вы касались суждениями своими государственного порядка, в России существующего, то как изъяснялись об оном, и в особенности о неравенстве состояний?»

«*Пункт семнадцатый.* Не выходили ли в состав суждений ваших изъяснения о сделании каких-либо перемен в порядке государственном и как о том было между вами говорено, или не было ли даже кем из известных вам лиц о предмете сем писано?»

Тяжеловесный, неуклюжий слог. А в вопросах что-то хватающее за шиворот. Ответы двадцатилетнего Огарева — это те же заданные ему вопросы, только изложенные в форме отрицательной. Оттого-то в записке о результатах расследования мягкий, меланхолический, всем навстречу распахнутый и ни в чем покуда не твердый Огарев будет характеризован неожиданно и зловеще: «В показаниях своих замечен упорным и скрытным фанатиком».

Состав следственной комиссии переменился в августе — посетивший Москву царь выразил недовольство медленностью ее работы. Сразу меняются и вопросы: уже не столько о пасквильных стишках идет речь, сколько о переписке двух друзей.

Их и выделили вне разрядов, на которые разделили остальных по убывающей степени вины. (Кара первым трем была достойной времени — более всего боялись сочинителей песен: в Шлиссельбург на неопределенный срок. Один из них через три года умер там, тогда двух других помиловали ссылкой. Жизни обоих, впрочем, оборвались почти немедленно.) О внеразрядных же, подлинная вина которых выяснилась лишь в процессе следствия, глубокомысленно и прекрасно написал председатель комиссии князь Голицын (неизвестно только, сам ли писал, ибо русскому предпочитал французский). И слова эти нельзя не привести, ибо логика проявлена изумительная: «Двое этих юношей вредоносны, ибо... образованны и способны». Впрочем, превосходен и стиль:

«Хотя не видно в них настоящего замысла к изменению государственного порядка и суждения их, не имею-

щие еще существенно никаких вредных последствий, в прямом значении не что иное суть, как одни мечты пылкого воображения, возбужденные при незрелости рассудка чтением новейших книг, которыми молодые люди нередко завлекаются в заблуждения, но за всем тем имеют вид умствований непозволительных как потому, что укоренясь временем, могут образовать расположение ума, готового к противным порядку предприятиям, так и потому, что люди с такими способностями и образованием, какие имеют означенные в сем разряде лица, удобно могут обольщать ими других».

Голицын полагал далее, что полугода ареста и последующей ссылки в отдаленную северную губернию вполне достаточно для охлаждения сих пылких умов.

Огарев тем временем сидит в заточении, где немыслимо и несообразно счастлив: он — мученик за свободное слово, непрерывно сочиняются стихи, а от родственников еда и табак поступают в таких количествах, что хватает на всех караульных.

3

Так случилось в судьбе нашего героя, что спустя ровно двадцать лет после времени, о котором мы только что говорили, он подробно обсуждал свою жизнь с человеком, знакомство с которым было довольно давним, однако прервавшимся столь же внезапно, как и началось. А вот вдруг они встретились опять, в пятьдесят пятом году, когда Огарев приехал в Петербург ненадолго и пропадал все вечера у знакомых и полузнакомых людей, с наслаждением окунувшись в толки, разговоры и пересуды, шедшие той зимой по всем гостиным в связи с восшествием на престол нового самодержца.

К пожилому кутиле Кущинскому, некогда еще по Мо-

скве знакомому, Огарев приехал в тот вечер очень поздно. Часть гостей уже сидела за картами, дамы в гостиной кого-то негромко и явно затаенно обсуждали,— во всяком случае, замолчали все, пока Огарев целовал руку хозяйке и приветливо улыбался остальным. Некоторые мужчины курили в кабинете хозяина, и Огарев, остановившись в дверях, услышал лишь конец общего разговора — конец, положенный энергичным и насмешливым монологом неизвестного ему, до некрасивости высоколобого мужчины его лет. Бледность лица выдавала в ораторе затворника и подчеркивала совершенно самостоятельную жизнь глаз — ярких, зеленовато-серых, стремительных, меняющих выражение и оттенок.

Очевидно, перед тем, как Огарев появился в кабинете хозяина, Кущинский посетовал на какие-то невысокие качества русского человека. Бледный, зеленоглазый человек с густой шапкой спутанных волос, быстрый и энергичный, заговорил негромко и с едва ощутимым сарказмом.

— Русского человека надо всенепременно сечь,— начал он, усмешливо кривя рот.— Уже потому хотя бы, что за всю свою историю русский человек просто не знает времени, когда бы отсутствовали побои и наказания. Всегда и при любом правлении, было ли это время татарского нашествия или собирания земли русской, Алексея ли Михайловича, тишайшего царя, или период смуты, о Грозном я уж не говорю, Петровские ли преобразования, или бироновщина, или Екатерининские блестящие времена, русского человека нещадно драли. Если виноват — в наказание, чтобы впредь неповадно было. Если невиновен — в назидание, чтобы знал, что ожидает, если преступишь. А ежели и вовсе чист, как голубь,— в поощрение, чтобы скромность свою соблюдал и повинность порядку. Что же мы теперь наблюдаем, господа? Собираются вроде бы отменить телесные наказания. Шатается, значит, извечный порядок и с непременностью влечет за собой шатание нравов. Кому

это шатание в поведении своем воплотить? Уж конечно же не старшему поколению. Старшие, они поротой своей задницей умны и памятливы. А молодые, сопляки несеченые,— те, естественно, голову поднимают и хорохорятся — не для них, мол, российская обычайность. Вот тут-то и должна высунуться и оказать себя рука порядка. А в руке этой что ж — пряник прикажете держать или, упаси господи, конституцию на английский манер? Розга в ней должна быть, свежая и аккуратная лоза, заботливой рукой в пучок увязанная. И все прекратится сразу — брожение в умах и зуд сердечный! Согласитесь?!

В комнате после издевательского монолога воцарилось неловкое молчание, с легкой примесью обиды за симпатичного всем, недалекого, однако незлого и доброжелательного хозяина дома. Но он сам, добряк и миротворец, пробурчал примирительно и без обиды:

— Эк вы меня исхлестали, Иван Петрович, парадоксами своими и красноречием. Провокируете, не щадите старика.

— Извините, ради бога, погорячился,— широко и очень добро улыбаясь, ответил Иван Петрович. Огареву от двери он был виден в анфас, так что сразу заметил он широту и подкупающую искренность его улыбки.— Плохое сегодня настроение, скиньте на него, батенька, ладно? Вчера просадил довольно много в карты, а послезавтра — срок, и нечем, признаться, отдавать. Кто мне даст, господа, тысячу на два месяца? — обратился он к присутствующим.

— Ну вот я-то вам теперь не дам в отместку,— сказал старик Кущинский тоном, не оставлявшим сомнений в том, что конечно же даст, и притом с живейшим удовольствием.

— Возьмите у меня, пожалуйста,— сказал от двери Огарев.

Все оглянулись на него, приветливо закивав. Он со всеми уже виделся сегодня днем, так что с места никто не

двинулся. Незнакомец очень прямо посмотрел на него и чуть надменно откликнулся:

— Сердечно благодарю, только я ведь не имею чести знать вас?

— Разве это помешает вам вернуть долг вовремя? — поинтересовался Огарев.

Все засмеялись.

— Вы — Огарев! — сказал вдруг человек радостно.

— Да, но...

— Грязная гостиница в центре Берлина, название не помню, весна сорок шестого, — продолжал высоколобый человек.

— Хворостин! — воскликнул Огарев. — Я вас так хотел разыскать!

— Ну, мне в этой ситуации уже неудобно говорить, что и я очень рад вас видеть, — сдержанно засмеялся Хворостин.

Так они встретились вторично, и несколько бесед с этим человеком запомнились Огареву на всю жизнь. Ибо так же, как тогда в берлинской гостинице, он почувствовал такое к себе участие и такую доброжелательную заинтересованность, что готовно и с любовью раскрылся, как бывало у него только с Герценом. Хворостин, впрочем, ответил ему тем же. О том случае речь еще зайдет, ибо мы постараемся и впредь следовать хронологическому порядку, от которого отвлеклись сейчас из-за необходимости рассмотреть кое-что в судьбе героя спустя двадцать лет после событий, описанных нами ранее.

4

Холостяцкая квартира поручика в отставке Ивана Петровича Хворостина явно носила следы любви хозяина к пребыванию либо вне дома, либо исключительно в каби-

нете. Множество книг стояло и валялось всюду, и видно было, что читались они часто и постоянно; просторный, большой диван пролежан так, что садиться на него было чуть неудобно,— казалось, хозяин только-только встал с него и вот-вот опять уляжется прочно и надолго. Кабинет прокурен был насквозь, сами книги, кажется, источали сизоватый дым. Два старинных портрета висели в узком простенке между дверью и сплошной линией книжных шкафов, прерывающейся лишь двумя окнами и резным высоким шкафчиком-поставцом. Бюро, стоявшее к окну боком, уступало полтора окна дивану, глубокое мягкое кресло одиноко стояло посреди комнаты, и Хворостин, среднего роста и возраста, быстрый, поджарый шатен, то беседовал с гостем, сидя за бюро, то ходил по комнате, неторопливо огибая кресло и наклоняясь к самому лицу собеседника, чтобы подчеркнуть сказанное. От него попахивало табаком и веяло бешеной бесплодной энергией, подавляемой обдуманно и старательно. Собеседнику его было чуть за сорок, но он уже полноват по природе своей, явно медлителен, меланхоличен по характеру, держался спокойно — особенно это заметно становилось рядом с Хворостиным, для которого меланхолия и флегма — желанная маска и любимая роль, однако вполне обуздать себя ему явно не удавалось.

На дворе стояла ранняя весна, но широкий сноп солнечного света с плясавшими в нем бесчисленными пылинками казался совершенно неуместным в этой комнате, наглухо и нарочито отгороженной и укрытой от всего, что совершалось во внешнем мире. Впрочем, слои дыма одомашнивали и укрощали этот солнечный пляшущий поток.

— Посмотрите,— говорил Хворостин,— вся российская гниль вылезла сейчас наружу, и та кровь, что пролилась во время Крымской кампании, несомненной причиной имеет царствование неудобозабываемого...

— Поговаривают, что он отравился,— полувопросительно перебил собеседник.

— Это нам сейчас неважно,— отмахнулся Хворостин пренебрежительно.— Я ведь о другом говорю. Я — о том, что при всей своей любви к России мы с вами вот уже битый час разговариваем о собственных судьбах, чрезвычайно собственными личностями увлеклись и в собственные переживания погружены с головой. Это вам не кажется странным?.. Нет, погодите, не перебивайте,— продолжал он, ответа от собеседника, уже раскрывшего было рот, не ожидая.— Это совершенно естественно и нормально. Во-первых, потому, что на Россию, погибающую сейчас под Севастополем, мы уже давно махнули рукой.

— Полноте,— недоуменно возразил собеседник.

— Я преувеличиваю, согласен,— быстро заговорил Хворостин.— Ладно, не буду заострять ситуацию и согласен оставить за вами ту боль и то унижение, что вы разделяете сейчас со всеми, кто мыслит и России искренне предан.

— О чем вы все-таки? — спросил собеседник, хмурясь.— Я действительно вас не понимаю.

— Хорошо, я прелюдии брошу и обозначу все прямо — более, скажем, прямо, чем хотел бы. Извольте, вот вам констатация простая и анатомически ясная: вы в России человек чужой и лишний, России вы не только не нужны, но в каком-то смысле вредоносны. Я хотел издалека, вы возражали. Так вот, получите голую истину, а я продолжу далее.

— Это совершенно очевидно, только что из этого?

— Не нужны потому, друг мой, и уж это позвольте зафиксировать невзирая на банальность факта, именно потому, что родились человеком одаренным и развились, естественно, в личность.

— Это уже Пушкин сказал,— вяло усмехнулся собеседник,— что догадал его черт родиться в России с умом и талантом. Уж простите мою нескромность в ассоциациях.

— Русский человек, родившийся и ставший личностью,— назидательно сказал Хворостин,— может ею невозбранно оставаться, если научается этим свойством не злоупотреблять. Согласны?

— Полностью,— сказал Огарев.— Прекрасно сказано.

— А вы свою личность с настойчивостью и упорством хотите обязательно воплотить и выявить. Только тут-то вас и поджидают проблемы куда более тяжкие по сравнению... ну хотя бы с моими.

Огарев недоуменно поднял брови. Хворостин был возбужден и, говоря, смотрел чуть в сторону.

— Вырастая и оборачиваясь личностью, человек всегда и неизменно, соразмерив себя с окружающим его человечеством, прежде всего приходит в ужас и задает себе — в формах разных и сугубо личных — гамлетовский вопрос: быть или не быть?

Хворостин встал и прошелся вдоль дивана медленно, после чего, скользнув по нему взглядом, сел и огладил пальцами узорчатую ковровую обивку.

— В России,— продолжал он вкрадчиво,— силою обстоятельств исторических многие люди позволили себе ответить на этот вопрос отрицательно. В частности, ваш покорный слуга.

Тут он полуприлег на диван, бережно себе под локоть подсунув пухлую вышитую подушку, и Огарев вдруг сообразил, что это уже не монолог, а представление и что все действия веселого от мудрости, а внутренне печального и изломанного человека обдуманны и нарочиты.

— Ибо гамлетовское «не быть» вовсе не означает нежелание жить и желание смерти в тесном смысле этого точного слова. Означает оно просто нежелание существовать среди сброда, в котором волею судьбы оказался. Нежелание участвовать в жизни этого сброда, в его суете, в его помыслах и его взаимоотношениях. То есть реши-

мость устраниться и уйти в жизнь замкнутую, сугубо частную или вообще вышнему служению посвященную. Разве отъезд в деревню молодого человека, полного сил и разума, отъезд на прозябание и гниение медленное наедине с самим собой не реализация этого «не быть» на российский манер?

Огарев уже все понял и просиял — необычные трактовки привычного были ему всегда привлекательны. И, воспользовавшись паузой, он спросил быстро:

— Значит, отставка сравнительно молодого и надежды подающего поручика с последующим возлежанием на диване, чтением, картами и одиночеством — такая же решимость не быть?

Хворостин сказал медленно и удовлетворенно, с подушки не привставая, но голову чуть приподняв:

— Несомненно. Только речь сейчас не обо мне, а о вас. Обо мне единственная только прибавка, чтобы вам яспей было и положение наше несколько уравнялось,— «не быть» иногда довольно мучительно. И примиряет с этим ощутимым, надо вам признаться, гниением только живое представление себе того, каковы муки решившегося все же быть.

— А у Данта — помните? — медленно протянул Огарев.— Мучаются те, кто ни добра, ни зла не делал и ни во что свои силы не обращал.

— Плевать мне на пиитические пророчества,— недовольно возразил Хворостин.— Вас философствовать тянет, в абстракции и готовые формы, а я вам конкретности обсуждать предлагаю. Дант ваш, если хотите, живи он в России, иначе бы расписал свою атеистическую комедию. Атеистическую — потому что нет сугубее материализма, чем царство божие и ад представлять себе на бытовой манер. А не делать ни добра, ни зла — в России, быть может, более героическая позиция, чем любая из этих двух. Не всегда, разумеется.

— Рад вашей умственной независимости и своеобразию суждений ваших,— Огарев добродушно улыбался, обращаясь к Хворостину.— Превосходную и необычную мысль вы мне сообщили, признаться. Никогда не задумывался над возможностями такой трактовки.

— Благодарю вас,— Хворостин иронически поклонился. Он сидел боком, и только один глаз его был сейчас виден Огареву — смеющийся и хитро прищуренный.— Однако же я вам сейчас нагорожу картинку ситуации кошмарной и безвыходной. Да притом еще не умозрительную картинку, из убогого моего воображения изошедшую, а некую совершенно реальную — из жизни нашего общего знакомого, дворянина и поэта, философа и заводчика, гуляки и вольнодумца Николая Платоновича Огарева. Позволите?

— Забавно,— засмеялся Огарев негромким своим, но очень глубоким смехом, и сразу видно стало, что он не одним лицом смеется, не одними глазами или голосом, а весь сейчас во власти смеха. Тело его обмякло и все лицо излучало удовольствие и размягченность.— Валяйте, батенька. Разрешаю вам заведомо интимности, вольности и нескромность. Персона моя при мне обсуждается редко, так что не отказывайте себе ни в чем.

Хворостин сел прямо и подался вперед лобастой своей головой со спутанной, неухоженной шевелюрой. Глаза его посерьезнели и сошлись на переносице собеседника.

— Печальная это будет история,— медленно сказал он.— Вы уж извините меня.

5

Ранней весной тридцать пятого года Огареву был объявлен приговор, оказавшийся не только неожиданно мягким, но просто-таки мягчайшим и снисходительным — вро-

де легкого не то наказующего, не то упреждающего шлепка. Впредь до особого распоряжения он отправлялся в Пензу, в родной его город, где отец Огарева был уважаем и влиятелен до предела, а сам он знал с детства всех и каждого.

По апрельским то размытым, то тряским дорогам ехал он с сопровождающим жандармом и почти никакой радости не ощущал ни от свободы, ни от весны, ни от молодости. Целые дни отрешенно и молчаливо хмурился в углу казенной неудобной колымаги, и на душе его было так же хмуро — обескураженность чередовалась с недоумением. Он пострадать хотел, он мечтал о наказании суровом и грозном, он все восемь месяцев тюрьмы (пролетевшие легко и незаметно) писал стихи о мученическом венце, желая быть покаранным, что означало бы: свободолюбие принято и оценено всерьез. А его, как жалкого щенка, схватили за шиворот, потрясли и выслали под надзор отца. Двадцатидвухлетний ниспровергатель ощущал душащее негодование и унизительную бессмысленность существования.

Молодость, впрочем, брала свое, и к концу дороги он куда веселее стал глядеть на белый свет, прекрасный в своем весеннем великолепии. Снова зароились в его голове высокие и одухотворенные планы, и к Пензе он подъезжал уже с нетерпением засесть за некую всеобъемлющую и доселе невиданную философскую систему, которая выведет необходимость всеобщей свободы и равенства из самого устройства вселенной и человека. Кроме того, задуманы были несколько поэм, роман и музыкальные композиции, которые сочинял раньше, импровизируя, а теперь будет отделывать тщательно и углубленно. В Пензу въезжал уже снова тот меланхолически-веселый Огарев, которого обожали друзья за постоянное негромкое вдохновение, дававшее любой компании благородный и высокий настрой.

А между тем, покуда он ехал и обдумывал, как построить свою дальнейшую жизнь, отец его, человек очень умный и проницательный, а от давней болезни (несколько лет уже был полуразбит апоплексическим ударом) еще и с обострившимся желанием иметь возле себя горячо любимого сына, принимал собственные меры.

Огарев, рано лишившийся матери, которую не знал совсем (умерла она вскоре после его рождения), отца очень любил и был с ним близок. Но отец понимал прекрасно, что одного этого сыну недостаточно. Поэтому приехавшего юношу окружила немедленно целая толпа молодых родственников и родственниц, жаждавшая вовлечь его, и вполне в этом преуспевшая, в нехитрые свои, но непрерывные увеселения.

Тут пришла пора обратиться к письмам, ибо та эпистолярная эпоха в изобилии снабдила потомков материалами, щедро и глубоко осведомляющими о делах и переживаниях самых разных людей, которым вовсе невдомек было, что самые мелкие детали их жизни окажутся жгуче интересными последующим поколениям. Писали, чтобы поддержать отношения, чтобы осведомиться или сообщить, со скуки, по любви, родству или дружбе, писали, чтобы просто излиться на клочке бумаги, когда не было никого рядом, чтоб излиться ему устно. Почтовые ехали небыстро, но торопливость вовсе не была в духе времени. Порою с бо́льшим удовольствием доверяли медленной оказии, более надежной, если боялись прочтения писем чиновными глазами тех историков (по выражению Герцена), которые изучали самую новейшую историю по письмам, еще не дошедшим до адресата.

Огарев переписывался со многими, с Герценом же они написали друг другу несколько томов писем. Поверяли письмам все. Герцен писал другу о своей первой влюбленности (догадайся, кто из сестер, позавидуй, непременно одобри), Огарев только Герцену доверил ответ на са-

мый важный для него тогда, еще неясный самому вопрос: поэт ли он? Герцен отвечал восторженно: ты поэт, поэт истинный, и Огарев благодарил растроганно, добавляя: «Я не могу еще взять именно те звуки, которые слышатся душе моей». (А душе в это время слышались звуки, напоминающие любимого Шиллера.) Но однако: «...имею какое-то самоощущение, что я поэт; положим я еще пишу дрянно, но этот огонь в душе, эта полнота чувств дает мне надежду...», чуть было угасшую по приезде, ибо «меня закабалили обстоятельства. Вообрази, что я почти ничего не делаю по невозможности. Есть человек, которого я люблю, и этот человек урод в нравственном отношении... Я сказал ему: я поэт, а он назвал меня безумным, он назвал бреднями то, чем дышу я. Нет! сил недостает терпеть».

И в другом письме — опять и снова о том же самом: «Я не высвободился из-под опеки родительской... Но поди сюда сам и взгляни на этого старика, семь лет влачащего жалкое, болезненное существование, и если б я вздумал освободиться из-под опеки его *любви*, не забудь: *любви*, то ты скажешь мне: бессовестный!»

И продолжалось, тянулось, длилось это состояние обдуманной и осознанной обреченной покорности всем предписаниям любящего отца: веселиться, быть, как все, одуматься и пустые бредни оставить.

Затасканный новыми знакомыми (отец неустанно созывает гостей или отправляет сына на провинциальные увеселения под предлогом, что нельзя и неудобно обижать пренебрежением стародавних приятелей и дальнюю, но родню), погруженный в водоворот бессмысленного оживленного общения, Огарев снова и снова вспоминает в письмах — с любовью и нежностью — месяцы, проведенные в тюрьме. «Время ареста! счастливое время! Сколько мыслей толпилось в голове, как высок, благороден был я! А те-

перь все пустеет, ум тупеет, душа холодна, мысль хочет повидаться с умом, а ей говорят: дома нет».

Далее следуют строки, впервые в переписке друзей обнажающие стародавний сокровенный замысел: «Мое намерение неизменно. Едешь ты или нет? Неужели наши пути различны!»

Но проходит полгода после приезда, и Огарев уже горячо влюблен.

6

— Следует вам доверительно напомнить,— говорил Хворостин усмешливо,— что тогда, двадцать лет назад, был наш Николай Огарев упоительно, фантастически женолюбив.

Огарев засмеялся негромко, и лицо его все целиком расцвело и мягко засветилось от смеха. Он хотел сказать что-то, но промолчал и только плотнее вдавился в кресло.

— Отвечали ему всегда взаимностью,— продолжал между тем Хворостин, куда-то в пространство сквозь переносицу собеседника улыбаясь тому, что он видел там,— и это не удивительно вовсе, ибо красавец, поэт, романтик, умница, немыслимой доброты и отзывчивости, вечно восторжен и приподнят, но возбужденности мягкой, меланхолической, неназойливой, да еще тратится, не считая, хоть отец подачками не балует. Но и последнее отдавал с завидной легкостью. И притом с такой любовью ко всем встречным, с таким бескорыстным и распахнутым доброжелательством, которое женщины не могут не оценить. Да еще душевное изящество чрезвычайное, врожденный такт...

— Очень уж лестно, право, мне даже слушать неудобно,— снова засмеялся Огарев.

— Нет, нет, это правда, и это чрезвычайно важно,—

очень серьезно сказал Хворостин.— Потому что все дальнейшее вытекает из этих качеств ваших прямо и непосредственно.

— Слушаю вас,— негромко откликнулся Огарев.

— Избранница — красоты достаточной, молода, пылка, стройна, чрезвычайно сообразительна, что для женщины едва ли не главное достояние ума, нежна и романтически одинока в своем полусиротском положении в доме у дяди губернатора. Губернатор же Панчулидзев — фигура типичная для России — самодур, всевластный взяточник, казнокрад, ловок, умен и со связями и при всем при том меломан, обожает свой огромный и превосходный крепостной оркестр, не чужд и прочих духовных развлечений, что делам и расправам не только не мешает, но даже неким странным образом способствует. Все так, не правда ли?

— Совершенно так,— горячо подтвердил Огарев.— Превосходная и точная характеристика. У него, не помню, рассказывал ли вам, самым доверенным лицом по скользким делам был чиновник, записанный покойником.

Хворостин засмеялся вопросительно, лицо его порозовело и взгляд возвратился в комнату.

— Да, да, да,— сказал Огарев, тоже улыбнувшись,— чиновник этот крупно украл что-то, подлежал суду, спасти его не удавалось, и тогда Панчулидзев в справке показал его умершим. Даже вдове пенсию исхлопотал. И тот еще много лет служил преданно и послушно. С полуслова угадывали друг друга. Ну, каков подлец, а? Меня от омерзения поводило, когда я их видел вместе.

— Простите мне, что я не к месту,— сказал вдруг Хворостин назидательно,— но заметка моя нам еще пригодится. Обратите, пожалуйста, внимание, что негодование ваше против этой замечательной служебной хитрости свидетельствует о некой, что ли, незрелости вашей в отношении любезного отечества. Тут раскладка простая и логика математическая: сердимся мы и гневаемся, удивля-

емся и негодуем только в отношении тех, кому сочувствуем, с кем узами любви и близости связаны. В отношении же поступков лиц, совершенно нам чужих, мы только констатируем преспокойно: ах, сукин сын, подлец, снова свое лицо показал. С отстраненным, без волнения, пониманием, что поступок или действие — вполне в образе совершившего их...

— Я понял вас,— тон сейчас у Огарева был заинтересованно серьезен.— А вы, наблюдая российские мерзости, неколебимо спокойны, так вас надо понимать?

Хворостин пожал плечами, нахмурил лоб, сморщился. Потом улыбнулся одними губами, по-прежнему пристально глядя сквозь собеседника, отчего улыбка выглядела как мгновенно прошедшая волна запрятанной боли.

— Спокоен,— сказал он.— А иначе не получится — не быть. Иначе ввязываться надо...— Слишком я здесь все люблю,— глухо добавил он через секунду.

— Я не прошу прощенья, что сокровенную струну затронул,— сказал Огарев спокойно и внимательно.— Мы ведь с вами пытаемся докопаться до взаимной сути. Но вот вы решили не быть, пестуете в себе отчуждение некое, высокую отстраненность, стараетесь все понять, ничем не возмутиться и даже ничего не осуждать из своего прекрасного отчужденного далека. Бегство в своем роде замечательное, и, добра вам желая, желаю вам освободиться уж тогда и от той пуповины, коя вас еще с Россией крепко-накрепко вопреки вашим умозрениям связывает.

— Обязательно освобожусь,— твердо кивнул Хворостин лобастой головой,— потому что иначе здесь жить нельзя, иначе уезжать надо. Сенатская нескоро повторится, да и тогда на поражение обречена.

— А в ненасильственные перемены русской истории вы не верите? — спросил Огарев.

— С чего бы? Рабство у всех внутри, положение вещей

кажется столь же естественным, как факт, что сосны растут на земле, а кувшинки — в заводях,— возразил Хворостин уверенно.— Потому я и говорю, что в России человек, становящийся личностью, должен очень быстро выбирать, покуда идеалам своим привержен...

— Пока свободою горим,— сказал Огарев, подчеркивая пушкинское «пока».

— Разумеется, «пока»,— отмахнулся Хворостин.— Потому ведь я и заговорил о жизни вашей, что отчетливо вижу, как вы убежать пытались, делая промежуточные выборы.

— Ну, ну, ну,— сказал Огарев.

Огареву потом часто казалось, что несколько недель подряд — во все время их внезапно вспыхнувшей дружбы — шел один и тот же значительный, несвязный и жгуче важный для обоих разговор. Проницательный и печальный человек этот, неожиданно и ненадолго появившийся в его жизни на сорок третьем ее году, знал о его прошлом, казалось, все самое главное и существенное. Факты и случаи, самим же Огаревым наспех рассказанные, выстраивались в его изложении в стройную и печально закономерную цепь. Сам Огарев никогда над ними не задумывался, жил — и все тут. Но судьба его просматривалась, оказывается, явно и ярко, в случайном сочетании поступков.

7

Итак, он влюбился очень скоро. Полюбил неистово, самозабвенно, страстно. Сохранилось множество его писем к Марии Львовне Рославлевой — восторженных, аффектированных, упоенных. Она, впрочем, отвечала ему тем же. Странное и непонятное нам сегодня чувство, разделявшееся всем их кружком,— чувство своей исторической предназначенности, предопределенности и высокой посвящен-

ности всей жизни (для двоих — сбывшееся в полной мере чувство) — наполняет письма к любимой. И оно вовсе не казалось ей смешным в двадцатитрехлетнем поэте, так и не закончившем университет, ничем еще не проявившем и не заявившем себя.

Он сообщает о своей любви Герцену, заверяя, что преданность избраннице сердца ничуть и нисколько не повлияет на их дружбу. И Герцен, вечно ироничный и насмешливый — в устном, личном общении,— издалека пишет ему столь же восторженно и приподнято:

«Дружба наша — лестница к совершенству, и мы дойдем до него. Дружба и любовь — ограда душам нашим — ограда, постановленная самим Господом; ничто нечистое, ничто низкое не переступало ее — и пылинка да не коснется нас вовеки! О, сколько дано нам, сколько мы можем!»

Опять и везде это ощущение предназначенности своей, высокой предопределенности жребия. Откуда оно? От молодой восторженности? От талантливости, действительно присущей и подсказывающей, что рожден неспроста? Или от готовности к действиям значительным и высоким?

Наверно и от того, и от другого, и от третьего. Восторженная приподнятость и аффектация вообще присущи письмам той поры. У Огарева черты эти иногда доходят до предела, и тогда читать его письма становится неловко — словно влез ненароком в сокровенные чувства и мысли, и стыдно рациональности и холодности своей, чуждости его восторгам и сантиментам. Сдержанность нашего века, коей мы так гордимся, что несколько бравируем ею при чтении этих писем, представляется вялостью и анемией, а порой — и циничностью мерзковатой рассудочности.

Вот, впрочем, отрывки из них:

«Я знал блаженство на земле, которого не променяю даже на блаженство рая, за которое я могу забыть все

страдания моих ближних,— все, повторяю,— блаженство, за которое я был бы готов отдать будущность, если бы она была несовместима с ним; это блаженство, Мария,— наша любовь... Будем бережно лелеять этот цветок, нездешний цветок, чья родина — небо. Мария, у меня навертываются слезы на глазах...»

«Наша любовь, Мария, заключает в себе зерно освобождения человечества. Гордись ею! Наша любовь, Мария, это страж нашей добродетели на всю жизнь. Наша любовь, Мария, это залог нашего счастья. Наша любовь, Мария, это самоотречение, истина, вера в наших душах. Наша любовь, Мария, будет пересказываться из рода в род, и все грядущие поколения будут хранить нашу память, как святыню. Я предрекаю тебе это, Мария, ибо я пророк, ибо чувствую, что Бог, живущий во мне, предначертывает мне мою участь и радуется моей любви к тебе...»

Он вспоминает в этих письмах свою еще вчерашнюю романтическую решимость быть аскетом, чтобы в полную силу «послужить обновлению человечества». Далеки теперь эти юношеские мечты. Ныне ему столь же искренне представляется возможность совместить любовь и служение:

«Тогда во мне жила тысяча противоречий: леность и деятельность, жажда наслаждений и моральная сила; я хотел любить и боялся любить. В это время мы встретились. Я полюбил тебя, и я хотел удалиться, чтобы мое присутствие не повлекло несчастья на твою голову. Я хотел этим наложить на себя двойное отречение: остаться на предначертанной дороге и никогда не смущать твоего покоя своей любовью. Но эгоизм любви одержал победу — я не мог устоять. О, как я тебя люблю, мой друг! Знаешь ли ты, что моя любовь к тебе безгранична?.. Чем более я узнавал тебя, тем сильнее любил. Наконец,— была ли то сделка с совестью или искренний крик души,— я ска-

вал себе: столь прекрасная душа должна быть соучастницей великого назначения,— она будет моей женой!

Но однажды я сказал тебе: моя жизнь будет бурна, хотите ли сопутствовать мне? И ты ответила мне: «Думаете ли вы, что у меня не хватит силы выдержать?»

О, Мария, что я почувствовал в ту минуту, невозможно передать; это было счастие благодарности, любовь, доходящая до религиозности; я чувствовал, как вздымается моя грудь, и я мог только сказать тебе: «Благодарю!» Если б можно было, я бросился бы тебе на шею и плакал бы, как ребенок, и был бы счастлив, как бог. Мне казалось, что ты примкнула ко мне, что и ты посвящаешь себя святому делу...»

Экзальтированность писем этих (а ответные — ничуть не ниже по накалу) затруднительна для человека. Непременно она должна смениться либо обыденностью мирной привычки, либо разрывом, тем более мучительным, чем нерасторжимей казалась близость и слиянность душ.

К первому — приземленной будничной близости — заведомо не способны ни Огарев, ни Мария Львовна (отчего-то всюду в мемуарах и письмах так и пишется она с отчеством — не потому ли, что держалась так, словно была старше мужа?). Впереди несколько лет мучительных ссор и разногласий, попытки отнять его у друзей, легкомысленная измена, безжалостное долгое злоупотребление его добротой, щедростью и чувством ответственности, развитым до болезненности. Это, впрочем, будет потом, не сразу, а пока — восторг и полное единство душ и плоти.

Только все, что совершится далее,— вовсе не развитие банальнейшего сюжета: пылкий наивный юноша пригрел у сердца холодную, расчетливую змею — вовсе нет. Мария Львовна Рославлева — девица столь же восторженная, столь же увлеченная, романтическая. Она искренне верит в свою страсть и в свое желание выйти замуж за мо-

лодого ссыльного поэта, сына миллионера, кстати — не только по безграничной любви, но и во имя полной разделенности взглядов и устремлений. Потом она с тем же пылом и экзальтацией ударится сначала в светскую жизнь, потом в роман с художником, в быт богемы и, наконец, в запой. И еще много лет после разрыва будет ей Огарев писать письма — заботливые, нежные, вразумляющие.

И отца ее, почтенного обнищавшего саратовского помещика Рославлева, будет Огарев безропотно содержать — кстати, не по наследству ли от отца получила характер Мария Львовна? Промотался и протратился Рославлев на безумной страсти к охоте, весь азарт безудержной натуры вложив в нее. Содержал лучшую в губернии свору собак, псарей, егерей и доезжачих в таком количестве, что любой выезд его на охоту напоминал более всего, как писал один знакомый, «средневековое переселение городов». Пропадал по нескольку месяцев, забирался далеко в чужие губернии. Покуда хватило состояния — трех тысяч крепостных душ.

А потом, живя на пенсию зятя, проводил он время тоже вполне примечательно: запивал недели на две. Уходил в каретный сарай, изобильно запасшись водкой, садился в поломанный тарантас, выпивал первую подорожную, кричал воображаемому кучеру: «Пошел в Пензу, сукин сын!» — и засыпал хмельным блаженным сном. Пробудившись, называл безошибочно следующую перекладную станцию по дороге в Пензу и беседовал вслух с ее смотрителем — знал он их всех поименно, так что явственно представлял себе каждого собеседника. Расспрашивал о семье, о делах, о детях, сам себе отвечал, выпивал понемногу с воображаемым очередным смотрителем и ехал дальше. С холостыми знакомыми беседовал о своих любимых борзых Порхае и Залетае, давным-давно проданных. Так в каретном сарае проводил он недели две,

после чего возвращался в дом, чрезвычайно освеженный путешествием.

Словом, вполне идиллически доживал остаток дней — со вкусом и бескорыстием. Бескорыстие запойного старичка было столь велико, что он и минуты не колебался, когда его попросили сделать донос на единственного кормильца, бывшего зятя — Огарева.

Впрочем, это все потом, потом, а пока — друзьям идут восторженные письма: «Эта уверенность, что есть человек, который никогда не усомнится во мне, в каких бы обстоятельствах я ни был, эта уверенность — мое сокровище».

О своей вере в мужа (ощущение предназначенности заразительно и передалось ей) поспешила Мария Львовна сообщить и его ближайшему другу. Разговоров о Герцене и их дружбе было столько, что она торопится до очного знакомства заручиться полным его расположением. Она пишет Герцену письмо, где с легкостью и, как бы невзначай, переходя с русского на немецкий и французский, заверяет, что идеалы и привязанности любимого мужа — святы, неприкосновенны и полностью разделяются ею. Письмо взбалмошное, кокетливое, экзальтированное, выспренное, но Мария Львовна — подлинная женщина по способности проникаться чувствами и настроем близких:

«Будь я красива, тогда был бы обман, тогда еще могла бы быть опасность. Но жена вашего друга безобразна. Теперь вы спокойнее, друг? Что же могло свести и связать нас? Он был дик, я с мужчиной всегда горда. Почти нечаянно вырвавшиеся истины. Правда, Любовь, Вера, самоотвержение, вечность были стихии, в коих я жила с тех пор, что люди и привычка стали задувать во мне огонь воображения и охлаждать несносную резвость. Но простодушие во мне осталось, и она, и сердце доброе и неутомимое...— принесены мною общему другу в прида-

ное; прибавьте еще любовь беспредельную... Выходя замуж, я понимала, какая мне предстоит будущность, но когда однажды постигнешь *эту чистую душу*, которая только и радуется, что радостями ближнего, то вами овладевает любовь, и чувствуешь в себе способности врачевать ее тоску. Я вообще нетерпеливого характера, а ныне я соперничаю с *ним* в терпении и ухаживании за его отцом... Успокойтесь же насчет его спутницы, которая нисколько не тщеславна, не легкомысленна, любит добродетель для нее самой, уважает ваши характеры, господа, и не уступит вам никогда в твердости, доброте, человеколюбии... Вот почему я была в состоянии скоро угадать моего друга и теперь принадлежу вам. Жизнь для меня привлекательна только с этой точки зрения — все прочее есть ничто. Если я вас несколько успокоила, то письмо мое было не напрасно. Еще одно слово. Огарев принадлежит великому делу еще более, чем мне, а своим друзьям столько же, сколько и своей возлюбленной. После всего этого не протянете ли вы мне свою руку?»

Разумеется! Двадцатичетырехлетний Герцен приходит в полный восторг и более не беспокоится, что потерял друга и соратника ради неведомой уездной жеманницы. Он пересылает это письмо своей невесте и удовлетворенно пишет, что наконец «решилось ужасное сомнение, *кто она*, избранная им. Нет, обыкновенная женщина не может написать *так* к незнакомому, она достойна его».

Но как же дело, предназначение, призвание? Покуда о нем напоминает лишь сменившая первые восторги близости неодолимая и смутная тоска — и впоследствии частый спутник Огарева, предвестие и побудитель многих перемен в его жизни. Это было ощущение напрасности своего до сих пор бесплодного существования, это была «тоска темного сознания, что я свою жизнь пускаю по ошибочной колее».

Умирает отец, осчастливленный и успокоенный же-

нитьбой сына, и приходит пора решаться на какие-то поступки. Еще год назад элегантно и просто губернатор принял от него взятку в пять тысяч рублей. Неотложная надобность, на короткий срок, взаймы и, само собой разумеется, без отдачи. В благодарность рапорт на высочайшее имя о безупречном поведении и ревностной службе (числился он с самого приезда по какому-то неведомому присутствию), ходатайство о разрешении съездить ссыльному Огареву на Кавказ в целях лечения больной супруги. Разрешение получено, они едут вместе на Кавказ, но там на водах Огарев встречает ссыльного декабриста Одоевского и под влиянием многочасовых бесед с ним впадает в религиозный экстаз. Он ничем, ничуть не поступился тогда из своих былых устремлений, просто форма их изменилась несколько: «С умилением читал Фому Кемпийского, стоял часы на коленях перед распятием и молился о ниспослании страдальческого венца» — но за что же? во имя чего? — «за русскую свободу». Вот тогда и возникает, очевидно, прошедшая сквозь всю его жизнь легенда, что характера он был крайне слабого (сам он эту версию поддерживал), что внушаем был до невероятия и что первый встречный неодолимое на него оказывал влияние, формируя образ мыслей его на любой и всяческий лад. А написав или высказав такое об Огареве, немедленно лишь одним вопросом задавались — отчего же он так влиял тогда сам — на того же, к примеру, твердого и целеустремленного Герцена? Впрочем, эта кажущаяся чисто женственная податливость его натуры обсуждена будет еще не раз. А пока важна событийная канва: на Кавказе он узнал, что отец при смерти, тут же бросил все и помчался в Пензу. Отец умер у него на руках, и появился в России странный и небывалый, кажется, до сих пор миллионер: поэт, философ, ссыльный вольнодумец, чуть растерянный, добрейший человек двадцати пяти лет от роду.

Пензенский губернатор, горячо выразив свое сочувст-

вие, намекнул сдержанно и деловито, что пришло, кажется, самое время ходатайствовать о полном прощении и о служебном переводе в Москву. Лично он, губернатор Панчулидзев, хоть сейчас готов послать столь убедительное ходатайство, что конечно же отказа не будет. Но пока, к несчастью, нету досуга, ибо занят неотложнейшим личным делом по уплате срочного долга за новые музыкальные инструменты для всего оркестра и еще иные траты. Долг сравнительно небольшой, каких-то несчастных пять тысяч рублей, столько же, кстати, сколько я вам уже должен, милейший Николай Платонович. Не забыл, уж будьте уверены, просто обстоятельства покуда к лучшему не поворачивают. Можете выручить? Великодушие ваше просто-таки вне всякой похвалы. В таком случае я могу оставить это попечение и заняться исключительно изготовлением вашего документа. Уверен, что, к великому сожалению, вы недолго уже будете с супругой украшать наши музыкальные вечера.

Но на всякий случай отправилась и Мария Львовна хлопотать в столице через влиятельных знакомых. Огарев на короткое время один остался, оглушенный смертью отца, ошарашенный свалившейся свободой, придавленный неотложной уже необходимостью решать и выбирать самому.

Что же вы сделаете перво-наперво, Николай Платонович Огарев? Это ведь очень показательно для человека — что он делает перво-наперво, когда ему вдруг выпадает выбирать. Может быть, это даже важнее того, что он в это время думает.

Николай Платонович Огарев прежде всего напрочь и вполне осознанно подрезал корни своего пожизненного материального благополучия. Он немедленно принялся за оформление отпуска на безоговорочную волю (да притом еще с отдачей им всей земли) почти двух тысяч крепостных.

Увенчались между тем успехом и хлопоты Марии

Львовны в Петербурге, и предстательство многочисленной родни. С Огарева сняли наказание за юношеские грехи, и оба они переехали в столицу. Мария Львовна очарована суетой и блеском, заводит роскошную квартиру, выезд, дает обеды и музыкальные вечера. Между ними впервые пролегает трещинка, вот-вот готовая расползтись, ибо Огареву претит суета жены. Но тут они получают разрешение выехать вдвоем на лечение за границу, и их совместная жизнь быстро-быстро прекращается на модном итальянском курорте, где Мария Львовна столь же аффектированно и страстно, как полюбила Огарева, теперь бросает его, сойдясь с русским художником Сократом Воробьевым. В жизни героя нашего наступает новый этап: странствий, мучительного мужания, поисков себя и судьбы и обсуждения в переписке с другом одной очень их давней мысли.

8

То в одиночку, то с приятелями-попутчиками ездит по Европе Огарев: Италия, Франция, Германия. Пишет стихи, слушает лекции по философии, изучает анатомию, заводит знакомства (непродолжительные), увлекается связями (легкими), проматывает, не считая, остатки отцовского наследства. Наперсники в этом несложном и приятном занятии находятся с легкостью. Давний приятель его, музыкант Иоганис, вспоминал впоследствии, что у Огарева постоянно стояла открытою небольшая шкатулка с деньгами — любой мог брать из нее по мере надобности, не всегда даже спрашивая хозяина.

Аккуратно посылает он деньги — и немалые — Марии Львовне, пишет ей заботливые, нежные, ни в чем не упрекающие письма. Он будто разом и навсегда простил ей все: и вздорные ссоры по пустякам с его давними друзь-

ями, и попытки развести и рассорить их, и смешное пристрастие к салонной суете, и несмешную скоропалительную измену, и дальнейшие после этого мучительства, ибо она, бросив мужа, с ним же обсуждала все свои печали, затруднения и обиды. А он все еще — не любил уже, нет, к счастью,— жалел ее, сострадал и болел всерьез мелкими ее истеричными горестями. Он не в силах был порвать с ней окончательно и отзывался на ее внезапные просьбы приехать и соболезновал душевным недомоганиям (скука, раздражительность, приступы беспричинной тоски), с ужасом наблюдая развивающуюся склонность к пьянству, отчаиваясь в попытках помочь, успокоить, переубедить. Уезжал, снова писал письма, полные участия.

Что это — слабоволие и бесхарактерность? Или наоборот — ответственность и твердость в исполнении долга, однажды принятого на себя?

Ибо еще в сорок первом, почти сразу же после того, как она покинула его, не оглянувшись (и почти немедленно к нему же обратилась с печалями своими о неуверенности в чувствах любовника — Огарев не отвернулся и тут), было написано Огаревым твердое и ответственное письмо. Оно не сводило счеты, а являлось, наоборот, некой долговой распиской. Вот главнейший из него отрывок, знаменующий разрыв — и добровольные обязательства:

«Ты пренебрегла моими друзьями, мне антипатичны те, которых ты любишь. А все же ты иногда стремишься ко мне и требуешь меня — иначе тебе горько. Зови, Маша, когда хочешь, я твой. Нужен — явлюсь. Надо тебя успокоить — успокою с любовью, как умею, но всегда с любовью. Не нужен — стремись, куда влечет тебя желание. Издали буду смотреть на тебя и прибегу, как скоро ты закричишь: нужен!»

Даже ближайшие его друзья пожимали плечами, удивлялись, негодовали, сожалели. Даже Герцен — уж тот мог бы, кажется, понимать, в какую западню собственного

благородства попал Огарев по неспособности махнуть рукой на когда-то близкого человека,— но и тот принимал за слабоволие жесткую твердость друга в исполнении добровольного долга. Герцен — из дневника: «На днях получил прекрасное письмо от Огарева; несмотря на все странности, на все слабые стороны его характера, я решительно не знаю человека, который бы так поэтически, так глубоко и верно отзывался на все человеческое. Я совершенно примирился с ним, а то были минуты, в которые я негодовал, и очень. Женщина эта мучит его, преследует и не выпускает из рук добычи. Он ее не любит, и между тем не может отвязаться от нее — психологическая задача».

Многие годы прошли с тех пор, стала известной вся жизнь Огарева, и не оказалось никакой «психологической задачи» в той безупречной моральной чистоплотности, которая последовательно пронизала все его поступки, объяснив сполна и те давние, принимавшиеся современниками за слабоволие.

Вздорность Марии Львовны заставляла ее порою взбрыкивать даже по поводу присылаемых им денег (хотя подавляющее большинство писем — это скорей записки, счета и напоминания). Но порой характер брал свое, и она его же упрекала за расточительную к ней щедрость, которая вдруг на секунду казалась ей унизительной. Он отвечал со спокойствием великодушия, академической отстраненностью тона снимая даже не ее истерику, а самую тему, недостойную их:

«Ради Бога, не оскорбляй меня сомнением в своем праве брать эти деньги. Повторяю тебе — надо стать выше этого, и когда дающий дает их так чистосердечно и с искренним желанием устранить все мелкие материальные заботы жизни,— их надо брать без угрызений совести и без благодарности, а с нежностью. Такова моя теория денежных отношений между людьми, основанная на сознании

неравномерного распределения собственности в современном обществе».

Он снова пишет стихи, переезжает с места на место, ищет и не может найти себе истинного, настоящего применения. Хочет и не хочет в Россию, очень тоскует по оставшимся там, просит в письмах, чтобы ни в коем случае не убирали его стакан с дружеского стола. В это время Герцен пишет статьи и книги, входит в славу, тешится краткой иллюзией, что и в России можно послужить своей стране. Историк Грановский собирается издавать журнал, два отдела в котором непременно должен вести Огарев. На просьбу о разрешении журнала ответа долго нет, потом на прошении следует лаконическое «не нужно». А если бы он и состоялся, журнал, многое бы им удалось при их образе мыслей, при их понимании российских проблем и неотложностей?

Параграф сто шестьдесят шестой цензурного устава: «Запрещается всякое произведение словесности не только возмутительное против правительства и постановленных от него властей, но и ослабляющее должное к ним почтение».

Следующий параграф:

«А потому цензоры, при рассматривании всякого рода произведений, обязаны всевозможное обращать внимание, чтобы в них отнюдь не вкрадывалось ничего могущего ослабить чувства преданности, верности и добровольного повиновения постановлениям высочайшей власти и законам отечественным».

Еще один:

«Запрещается к печатанию всякие частных людей предположения о преобразовании каких-либо частей государственного управления или изменении прав и преимуществ... если предположения сии не одобрены еще правительством».

В прежнем, стародавнем уже уставе начала века

(«дней александровых прекрасное начало») была сделана знаменательная оговорка, согласно которой «скромное и благоразумное исследование всякой истины пользуется совершенною свободою». Теперь, в царствование Николая, эта оговорка касается только иностранных держав, устройство и быт которых можно все-таки, хоть и с оглядкой, обсуждать.

Ранее цензору специально и особо предписывалось толковать сомнительные места выгоднейшим для сочинителя образом (язык российский и эзопов для словесности российской — синонимы), теперь же цензору «не позволяется пропускать к напечатанию места... имеющие двоякий смысл, если один из них противен цензурным правилам».

При всем при этом цензуры в России как бы нет, она — невидимка, мистика, досужий вымысел клеветников. А для того и запрещение адмирала Шишкова ставить точки или другие знаки вместо изъятых цензурой мест.

Газетам же и журналам предписывается ясно и точно: «Рассказывать события просто, избегая, елико возможно, всяких рассуждений».

И, наконец, будто специально для историка, задумавшего журнал о российской былой и настоящей жизни, а также для друзей его, одержимых размышлениями над историей российской, щедро растолкованный запрет:

«Сочинения и статьи, относящиеся к смутным явлениям нашей истории, как-то: ко временам Пугачева, Стеньки Разина и т. п., и напоминающие общественные бедствия и внутренние страдания нашего отечества, ознаменованные буйством, восстанием и всякого рода нарушениями государственного порядка, при всей благонамеренности авторов и самих статей их, неуместны и оскорбительны для народного чувства, и оттого должны быть подвергаемы строжайшему цензурному рассмотрению и не иначе быть допускаемы в печать, как с величайшею осмотрительно-

стью, избегая печатания оных в периодических изданиях».

Вот вам и все, господа! А в остальном — пишите по разумению, лучше всего — в ключе, уже однажды заданном классиком: гром победы, раздавайся, веселися, храбрый Росс.

Было всюду тихо-тихо, сдержанно-сдержанно, затаенно и придушено как бы. И, ненадолго вернувшись из-за границы, чтоб официально путешествие свое продлить, писал Огарев в сорок первом: «Странное дело: я не вижу довольных лиц. Всем скучно, грустно, кому от чего; кто мучим думою, кто — обстоятельствами».

И еще одно есть его письмо приблизительно того же времени, удивительное тем, что в нем подряд названы имена, кои мы сегодня читаем с трепетом уважения и интереса. Огарев приятелей этих навестил в то смутное, неясное, заторможенное и созревающее время, о котором Герцен замечательно скажет, что было оно поразительное, полное «внешнего рабства и внутреннего освобождения». Вот это письмо об одном из вечеров в Москве:

«Что ж еще тебе сказать? Чаадаев был у меня, я был у него в понедельник... У Чаадаева никого не было, кроме Грановского, который очень грустен с тех пор, как умер Станкевич. У Чаадаева была скука невыносимая. Нет! На нашей почве не растет ни одного интереса, оттого везде скучно. Был у Боткина; не нашел я его. И хорошо! Что бы я ему сказал нового и утешительного? Все мы знаем одно и то же, то есть ничего, и болтаемся в пустоте. Об чем же говорить друг с другом? ...Знаешь ли, отчего так скучно почти со всеми? Оттого, что все готовят в своей маленькой кухне и говорят про свой именно картофель, который никого не интересует».

Вот и ездит Огарев по Европе, мучительно размышляя. Наблюдаемое мало радует его, а порою просто раздражает. Несколько лет спустя, впервые выехав за границу,

Герцен придет в ужас от обилия спокойного, сытого, равнодушного и хладнокровного мещанства. Огарев с омерзением разглядел встреченного им обывателя высшего разряда — среди развитого, интеллектуального сословия. Познакомившись с неким достоночтенным профессором логики, с неприязнью описал он основную его душевную забаву: «Следит па себе, может ли он в какую-нибудь минуту своей жизни обойтись без какого-нибудь логического момента — и рад, что не может. Экое занятие! Факирство! Скучно, Герцен! Все фарисеи да факиры. Неужели они счастливы?»

Россиянину такие забавы, разумеется, чужды. Но найти себе служение не удается. И, мучимый тоской и неудовлетворенным чувством долга, Огарев скитается и пишет. Страдания Огарева-человека скоро составят славу Огареву-поэту, но его-то поэзия целиком захватить не может, хотя внутри непрерывно играет и переливается не слышимая никому музыка, побуждающая его время от времени даже письма писать стихами. Среди строк деловых, печальных, смутных, философских вдруг нет-нет и прорываются абзацы, зарифмованные почти машинально: «Я просто скиф: потомок дальний златой орды — скуластых рож я образ сохранил печальный, ленивый нрав и дикий вкус, взяв от славян лишь рыжий ус». Или начинает излагать свое меланхолическое состояние, но сбивается опять на стихи, и настроение — видно на глазах — меняется мгновенно к лучшему от игры этой, нехитрой, но ободряющей: «Тревожна мысль, душа в тоске, в душе какой-то жар и трепет, и смутно, будто вдалеке мне слышен рифмы тайный лепет... Хочу писать... (но в языке у нас нет больше рифм на слово эпет. Гм? Разве стрепет?.. Стрепет? Да! Да он никак нейдет сюда)».

Если несколько выше в задоре несогласия с былыми биографами Огарева преувеличена нами несколько твердокаменная спокойная его стойкость, то вполне пора бы

сейчас привести и иные его письма, писанные в минуты слабости, сомнений, в поисках и жажде сочувствия. К той же Марии Львовне писано это стародавнее письмо, времени самого начала их разлада, когда не оскудела еще и не прервалась былая душевная связь. Своей слабости он не стыдится перед ней:

«Туманное небо, и на душе туманно. Куда деваться с жизнию? Куда убежать от страдания? Где спокойствие? Где блаженство? Там! в том мире! Но в том мире хорошо настолько, насколько создала его наша фантазия. Отвращение от смерти, желание жить индивидуально заставили людей выстроить себе другой мир и на него возложить всю надежду. А существует ли тот мир — не знаю... Знаю, что ум сомневается, что сердце страдает. Знаю, что от сомнений ума голова горит, как в огне; знаю, что от страданий сердца льются слезы, и все слезы, и вечные слезы. Ребенком я верил в бога и черта; уповал и боялся. Вырос — разуверился в черте, а вместе с чертом, олицетворением идеи зла — исчез и бог, олицетворение идеи добра; остались два абстракта — зло и добро. А я больше человек сердца, чем человек ума. Мне нужен был бог личный. С отчаянием я бросился в мистицизм, но не выдержал. Разум взял свое, мистицизм растаял, как воск на свечке. И вот я остался жертвой разума, страдая горькой истиной, но все же лучше любя страдать истиной, чем блаженствовать с ложью. Ребенком я ненавидел дядьку; вырос — любил свободу, бросился в развитие гражданственности — и видел угнетение и не мог помочь людям. Ребенком я любил мою мертвую мать; вырос — любил тебя; мне надо было любить женщину. Но мать моя мертвая. А где любовь наша? Судьба не отдает матери, а ты не отдаешь любви. Боже! как горько жить на свете. Дружба! Да кто ж из нас не страдает равно всеми вопросами? Где утешение? Маша! где утешение? где вера? где любовь? Я плачу — ты это чувствуешь».

А в России его ждут и верят. Не говоря уже о Герцене, для которого Огарев издавна — неотрывная часть души. Историк Грановский пишет общему их другу: «Знаю только одно: в тяжелые и радостные минуты моей жизни образ Огарева — мой постоянный спутник».

Один из членов их кружка Огареву:

«Никто из нас так не любим, как ты, ни в кого так безотчетно не верят, как в тебя, несмотря на твои усилия поколебать эту веру».

А пришло между тем время, и он еще более всех огорошил, уже окончательно было собравшись вернуться. В августе сорок четвертого Мария Львовна сообщила ему, что ожидает от художника Воробьева ребенка и хочет приехать к Огареву в Берлин, ибо замужем она формально за ним и ему единственному в своем тяжелом состоянии доверяет. Огарев ответил безоговорочным согласием принять не только ее, но и ребенка считать своим. Уже после ее приезда, после возмущенных, недоуменных, оскорбительных и негодующих откликов из России, он писал Герцену:

«Я знаю, что я прав, хотя бы тысяча голосов поднялась против меня. Я прав по убеждению и по чувству. Надеюсь, что ты в этом случае симпатически дашь мне руку... А если нет, то это будет для меня тяжело, оскорбительно, но не переменит моей точки зрения на мои поступки».

И два дня спустя, взяв со стола неотправленное это письмо, лаконично в него вписал, проставив новую дату:

«Приписываю несколько строк. Вчера жена родила мертвого мальчика. У него не было ни глаз, ни мозга. Лицо такое жалкое и печальное, что я не могу забыть его. Больше приписывать ничего и не хочется».

Здесь не место каким-либо комментариям, отчего перенестись нам лучше сразу же на месяц позже. Надо только непременно добавить, что даже один из близких друзей

Огарева еще по университету (а впоследствии — родственник, свояк), спутник в нескольких вояжах — Николай Сатин,— достаточно хорошо его знавший, отдавая должное душевным качествам, явленным Огаревым, все-таки пожимал плечами. Это было выше среднечеловеческого разумения. И в письме на родину Сатин сообщал свое мнение об Огареве: «В самом этом унижении, перенесенном им добровольно для восстановления женщины, он явил силу огромную, но только некстати употребленную».

Мария Львовна очень быстро оправилась от слабости и переживаний — может быть, оттого, что давно так много не плакала и давно уже ее не утешали без раздражения. А оправившись, похудевшая и бледная, послонялась около месяца по комнатам и сказала, отводя глаза, что в Италии ей скорее станет лучше.

Наступил разрыв уже окончательный — обоим было ясно, и потому прощание вышло оживленным, с уговором скоро повидаться, без единого упрека или объяснения.

Огарев по-прежнему аккуратнейшим образом высылал ей деньги, изредка писал, отвечая на короткие весточки-напоминания о том, что деньги задерживаются. Письма эти читать, признаться, несколько жутковато, потому что есть же, есть предел долготерпению, сочувствию, доброте, а когда понимаешь, что существуют люди, далеко этот предел оставившие, ощущаешь смутное недовольство, будто оно в укор лично тебе — это непостижимое доброжелательство без границ, душевная неисчерпаемая щедрость.

Письмо четыре года спустя после окончательного разрыва:

«Я читал очень внимательно твое письмо и нашел там всю тебя, то есть доброе сердце и фантастические идеи. Я желал бы, чтоб страдания, которые ты испытала в жизни, были уравновешены ощущениями счастья,— вещь, которой для себя и не ищу и не жду... Верь мне, милый

друг, что во всех наших отношениях я буду справедлив, честен и предан, ибо я думаю, что ни ты, ни я — мы не можем поступать иначе. Прощай».

Тут он ошибался круто, ибо Мария Львовна, как выяснилось очень скоро, вполне, оказывается, могла «поступать иначе». Два предательства одно за другим совершит она вскоре в отношении своего бывшего мужа. И тем, кто любит в конце историй мораль, ничего не останется делать, как только развести руками, вспоминая пошловатую древнюю констатацию, что ни одно на свете доброе дело никогда не остается безнаказанным. А пока он пишет стихи:

Закрыта книга — наша повесть
прочлась до крайнего листа;
но не смутят укором совесть
тебе отнюдь мои уста.

Конец того года, когда окончательно и навсегда они разошлись и Огарев с облегчением почувствовал, что от многих своих моральных обязательств он теперь отчасти свободен, конец года того он помнил впоследствии смутно и неуверенно. Как, впрочем, и начало следующего. С кем-то встречался нехотя и случайно, кому-то жаловался, а кого-то сам выслушивал. Время остановило для него свое течение, а когда он пришел в себя — весна стояла на дворе. Кинулся он было, наверстывая канувшие куда-то месяцы, снова учиться понемногу всему, но скоро снова сорвался. И, друзьям все сообщая честно, в марте писал в Россию письмо уже довольно бодрое:

«Я немного сбился, то есть перешел из науки в жизнь и увлекся без меры... глупо, но хорошо».

А однажды вдруг случился очень долгий суматошный вечер в грязноватом и душном гостиничном номере с приехавшими соотечественниками, и Огарев зачем-то вышел в коридор с одним из новых знакомых, с которым друже-

ственно переглядывался через стол. Под развесистой полумертвой пальмой, прямо над кадкой устроен был низкий столик, даже здесь аккуратно покрытый плюшевой скатертью. Поставили они на него свои кружки с пивом, и неожиданно для самого себя Огарев рассказал случайному встречному всю историю незадачливой своей женитьбы. Очень уж пристально и внимательно слушал этот человек его же лет — немного за тридцать — с асимметричным, бледным лицом, на котором большие зеленоватые глаза и высоченный выпуклый лоб были очень хороши, а лицо бледное, небольшое, будто сморщившееся, хотя гладкое, просто небольшое по сравнению с глазами, лбом и шапкой непослушных волос. Отставной поручик Хворостин, приехавший, как он сам сказал, покутить и поразмяться, слушал Огарева с час, если не более, не перебивая и не отводя прямого взгляда. Наконец отхлебнул жадно пива и в совершенно неожиданном повороте вопрос Огареву задал:

— А не кажется ли вам, батенька, что во многом в искривлениях женщины этой виноваты вы единственный?

И развил неторопливо свою мысль, объясняясь точно и вразумительно. Сказал, что мягкость и попустительство действуют вообще растлевающе, а человек — хоть и божья тварь, но скотина порядочная: от доброты разлагается стремительно. И что поэтому пестовать и лелеять связь, внутренне давно расторгнутую, очень и весьма безнравственно. Благородство, здесь проявляемое, оборотную сторону имеет, уходя корнями в свою не то чтобы противоположность, но, во всяком случае, черту несимпатичную — обыкновеннейшую душевную лень и боязнь спасительно быстрых, хирургически бесповоротных решений.

Что-то он еще говорил, разговор их длился долго. Помнилось, что еще пива, а потом еще еду какую-то они прямо под несчастную пальму заказывали, благо в гостинице к русским путешественникам попривыкли. Но, возражая

новому своему знакомому, не переставал ощущать Огарев, что тот прав, пожалуй, в безжалостном своем приговоре. Что главное — самая мысль о безнравственности продления и сохранения внутренне умершей связи разрешает неожиданно и радикально еще одну его стародавнюю проблему. До того неожиданно и радикально, что, захваченный новым поворотом мыслей, встал он вдруг посреди разговора и ушел, не простившись и не оглянувшись. Десять лет после этой шалой встречи Огарев не видел его.

К землякам же тем он не вернулся более. Ибо на следующий день, лишь во второй половине дня окончательно в себя придя, Огарев ни с кем уже встречаться не хотел. Неотступно думал он теперь о неизбежности новых перемен. Потому что давняя их с Герценом договоренность, попеременно обоими нарушаемая и часто обсуждаемая в письмах, теперь, освещенная этой вчерашней идеей об аморальности продолжения иссохшей связи, принимала новый, совершенно отчетливый вид.

9

Самое подробное из писем на эту тему, исчерпывающе полное и ясное, получено было Герценом в сорок пятом году, очень скоро, сразу почти после описанного выше разговора. Приводим его здесь, удивительное огаревское письмо:

«Герцен! А ведь дома жить нельзя. Подумай об этом. Я убежден, что нельзя. Человек, чуждый в своем семействе, обязан разорваться с семейством. Он должен сказать своему семейству, что он ему чужой. И если б мы были чужды в целом мире, мы обязаны сказать это. Только выговоренное убеждение свято. Жить не сообразно со своим принципом есть умирание. Прятать истину есть подлость. Лгать из боязни есть трусость. Жертвовать

истиной — преступление. Польза! Да какая ж польза в прятаньи? Все скрытое да будет проклято. В темноте бродят разбойники, а люди истины не боятся дня. Наконец, есть святая обязанность быть свободным. Мне надоело все носить внутри. Мне нужен поступок. Мне — слабому, нерешительному, непрактичному, мечтательному — нужен поступок! Что ж после этого вам, более меня сильным? Или мы амфибии нравственного мира и можем жить попеременно во лжи и в истине?..

Мне только одного жаль — степей и тройки, березы, соловья и снеговой поляны, жаль этого романтизма, которого я нигде не находил и не найду. Это привязанность к детству, к прошлому, к могилам. Мир вам, деды! Я перехожу к детям. Вас, друзья, мне не придется жалеть. Я не могу представить, чтоб мы были не вместе».

Они давным-давно порешили из России уехать, после чего много лет взаимно друг друга уговаривали, попеременно меняя точки зрения. Внутренняя полемика их то неявно, то отчетливо проступает в письмах разных лет. Еще из ссылки своей, из Пензы («Вот уже две недели беспрерывно я гляжу на скотов и нахожусь в совершенной апатии»), пишет Огарев решительно и настойчиво: «Мое намерение неизменно. Едешь ты или нет? Неужели наши пути различны!»

Даже в письме, где сообщает он о своем семейном счастье, о том, что не просто любим, а что в него верят и не сомневаются в возможностях и призвании его, сразу добавляет: «С каждым днем я более и более уверяюсь, что необходимо ехать».

Однако же, когда об отъезде заговаривает Герцен, Огарев резко ему противоречит: «Ты написал систему и хочешь идти в чужь рассказать ее людям, потому что в отчизне тебе не дают говорить. Полно — ведь мы не в первом веке христианства живем. Есть книгопечатание. Если ты полагаешь, что твоя мысль истина и что на тебе лежит

обязанность высказать ее — напечатай на французском языке в Париже без имени. Никто не узнает, что ты писал, а сочинение будет известно, и ты можешь таким родом, сделав для человечества, делать для родины... Чему же ты кроме некоторых истин, которые возможно в Париже напечатать, будешь учить еще? Ничему. Что ж подстрекает ехать? Самолюбие».

Но кончается охлаждающее это письмо по-огаревски естественно: высказав точку зрения честно и нелицеприятно, преданность и мягкость свои все же не одолев, пишет он в конце почти обратное: «В заключение скажу: куда ты — туда и я; куда я — туда и ты; а где истина — туда мы оба. Аминь!»

А потом Герцен отмалчивается — не до того ему. Он мечтает о возвращении из ссылки, мучается на службе в Вятке, не знает, как порвать с женщиной, которую разлюбил очень быстро. Его переводят во Владимир, жизнь опять обретает все краски, он женится, романтически тайно похитив невесту, счастлив (назовет потом этот год счастливейшим в своей жизни), переезжает, прощенный, в Петербург, ждет второго ребенка, много пишет — полон иллюзий и надежд, что жизнь наладится и здесь.

Только жизнь (судьба, если угодно) резким и могучим щелчком отрезвляет Герцена сразу и надолго. Жуткое событие происходит в Петербурге: будочник, полицейский возле Синего моста (центр города, самый центр), убил и ограбил прохожего. Город весь говорит об этом, а Герцен сообщает в письме отцу. Письмо прочитывается, включается в рапорт на высочайшее имя (распространение порочащих порядки сведений), следует распоряжение: написавшего сии строки вернуть в ссылку. Первый раз сосланный за празднество, на котором не присутствовал, теперь он карается за распространение слухов о событии, которое стало реальностью, но не должно было произойти, а значит, сообщение о нем — клевета.

«И я любил Москву и жил год в Петербурге, да еду в Новгород! Попробуем полюбить земной шар — оно лучше. Куда ни поезжай тогда — все будешь в любимом месте», — пишет он Огареву.

А договоренность устная куда конкретней и определенней: в сорок пятом встретятся они в Париже. Огарев уезжает пока один, в письмах его то и дело мелькают лаконичные признания — следы раздумий об исполнении уговора:

«Сказать, где мне в Европе лучше, не умею. Везде нехорошо. Я слишком слит с родным воздухом, чтоб вырваться из него без боли».

Как порвать со всем, что дорого с детства и не снаружи тебя, а давно уже внутри находится, тесно с самой душою сросшись? Значит, вернуться?

И сломя голову помчался Огарев покупать билеты на любой, любой, любой, самый неудобный, лишь бы поскорее и побыстрей, поезд или экипаж в сторону России.

Шла весна сорок шестого года, и в один из мартовских дней Огарев пересек границу.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Весь этот день генерал-майор в отставке, действительный статский советник Иван Петрович Липранди провел, не вставая из-за стола. Даже обед распорядился подать в кабинет на подносе и поел наскоро, как бывало много лет назад в походе. Ибо день сей должен был явиться вершиной его деятельного и вдумчивого служения России в течение вон уже скольких лет. Идея, которую он разрабатывал сейчас, давно бродила в его голове, а сегодня утром явилась окончательно, во всем блеске, глубине и значи-

тельности. Последствия от воплощения ее должны были благодетельно и стремительно сказаться на всей жизни империи и покрыть неувядаемой славой имя автора. Впрочем, предвкушения его были вовсе не карьерного свойства, а скорее носили предощущение гордого и высокого довольства своим разумом, полно и государственно выраженным в набросках, раскиданных по огромному столу. А награды и чины — приятное, разумеется, но не более все же чем обрамление чувства удовлетворения и довольства собой. Тем более что не обидели его ни судьба, ни начальство чинами, наградами и уважением. За царем и впрямь не пропала многолетняя служба Липранди.

Хоть и началась она когда-то с неприятности, что могло бы показаться дурным предзнаменованием: горечь первой служебной отставки суждена была Ивану Липранди в нежном семилетнем возрасте. В уважение к заслугам отца зачисленный с младенчества в гвардейский полк, получил он внезапно распоряжение императора Павла явиться на действительную службу и ввиду естественной неявки был исключен из воинских списков. Но в шестнадцать — он уже снова на службе. А в тысяча восемьсот девятом году подпоручик Иван Липранди участвовал во второй своей военной кампании, воюя в успешных сражениях со шведами (последняя русско-шведская война, результат — присоединение Финляндии). В сражениях он был хорош, ибо в характеристике того времени сказано, что начальственное «внимание на себя обратил примерною своей расторопностью и усердием». И еще: «Был посылан в самые опасные места и исполнял все даванные ему препорученности с неустрашимостью и благоразумием». За что — следующий чин, орден святого Георгия, шпага, потом золотая шпага с надписью «за храбрость». Бравым поручиком начал он свою третью кампанию в Отечественной войне двенадцатого года. Дрался под Смоленском и Бородином, дрался под Тарутином и Малоярославцем, отсту-

пал и наступал с армией. Был смел, находчив, исполнителен и безупречен. Орден святой Анны с алмазом, очередные звания, прекрасное ощущение прекрасно совершаемой жизни. Был он красив, сказывалась испанская кровь, предки — выходцы из Испании. Отец навсегда переехал в Россию, где женился на девице старинных русских кровей, так что родословная Ивана Липранди великолепная. А состояния у него вовсе не было, ибо отец умер, находясь в третьем браке, и оставил все нажитое последней семье. Хорошая наследственность, шпага и уверенность, что нигде не пропадет,— вот все, чем обладал Липранди, что, впрочем, не так уж мало.

Продолжалась между тем война. Липранди был уже подполковником. Победоносный исход кампании, однако, не вернул его на родину. Еще на четыре года остается он во Франции, в русской оккупационной армии. Участвует в кутежах и попойках и словно играючи составляет пространное историческое, и статистическое, и прочее описание Арденнского департамента. Французы в восторге и просят командование оставить им копию добросовестного и подробного труда.

Что же до кутежей, которые сплошь и рядом происходили с участием французов, отчего разговоры были полны взаимных любезностей и тонких колкостей, то в результате очень часты дуэли, официально запрещенные, а негласно поощряемые: смелость и честь — два узловых понятия времени. Дрались часто со смертельным исходом. Одна из таких дуэлей пресекла внезапно блистательную карьеру Липранди: прострелив насквозь кого-то, с кем не следовало драться столь опрометчиво и жестоко, он внезапно из гвардии был переведен в армию. Да еще в такую глушь, что надежды на возобновление карьеры следовало оставить навсегда: на границу с Турцией, в Бессарабию.

Сопьется? Кинется играть в карты? Опустится до уровня замшелых гарнизонных воителей? Нет, закваска не та.

Ведь в нем те же самые бродят дрожжи, которые выплеснут спустя пять лет на Сенатскую площадь лучшую часть русского офицерства...

Липранди изучает край и нравы на тогдашней границе европейских владений Турции. Его посылают в различные турецкие крепости с самыми различными поручениями. Он заводит множество знакомств, часть из которых никому пока не известна. Польза выяснится впоследствии, когда во время войны турецкие запорожцы перейдут на сторону русской армии. Он успевает всюду, в расцвете сил тридцатилетний Липранди. С ним знакомится Пушкин, попавший в свою первую ссылку. Пушкин пишет о нем в одном из писем: «Он мне добрый приятель и (верная порука за честь и ум) нелюбим нашим правительством и в свою очередь не любит его». И потом напишет Пушкин из Одессы: «Где и что Липранди? Мне брюхом хочется видеть его». Дружбой и доверием будущих декабристов тоже не обойден этот яркий человек: он принят в тайное общество. В январе двадцать шестого вывезен в Петербург, содержится под стражей вместе с остальными. Впрочем, показания на него дает только один человек, двое других отрицают его участие. В феврале Липранди уже выпущен, награжден годовым жалованьем (за моральные издержки), подозрения сняты с него, он по-прежнему самое доверенное лицо в подготовке неминуемо зреющей войны с Турцией.

Тут-то и разворачиваются во всем блеске его талант и многолетние навыки. Да, а что же насчет неприязни к правительству, подмеченной Пушкиным у Липранди? Неужели ошибался Пушкин, этот умнейший человек в России (по тогдашней же, кстати, аттестации самого царя)? Нет, наверно, вовсе не ошибался. Только ведь нелюбовь к властям вовсе не обязательно подразумевает фрондирующее безделье. Сразу после декабря шампанское, что бурлило в крови сотен, так и не попавших на пло-

щадь, но немедленно затем попавших под следствие, претерпело разные изменения. У одних обернулось уксусом и желчью, у иных выветрилось от страха, у третьих побудило яростное рвение к поискам иных путей принесения пользы России. Вот и Липранди работал увлеченно и самозабвенно. Под предлогом лечения у врача, некогда проживавшего в Кишиневе, он вскоре открыто переезжает на турецкую территорию. Казалось бы, все знают, чем занимается этот обворожительный, экспансивный мужчина с военной выправкой, и никто не может схватить его за руку. Трижды в него стреляют. Убиты несколько его агентов, посланных с донесениями. Он настолько очевидно рискует, что дружеское (в те поры) австрийское правительство предупреждает российских коллег специальной бумагой о небезопасности дальнейшего пребывания Липранди в Бухаресте. Но Липранди лихо заверяет начальство, что в случае удачного на него покушения при нем не будет найдено ни одной уличающей и компрометирующей страну бумаги. И — продолжает свою игру. Он собирает сведения о дорогах и обычаях, о нравах и взаимоотношениях, о настроениях и состояниях.

С некоторых пор Липранди не просто армейский полковник, увлеченно занятый разведкой и шпионажем, ибо составленная им записка «О средствах учреждения высшей тайной заграничной полиции» получила высочайшее одобрение, и Липранди — начальник секретного агентства со значительными полномочиями.

Разражается война по освобождению занятых Турцией земель, для России — славная и победоносная война, и всюду на фронтах ее — Липранди во главе передового конного отряда. Но с окончанием войны, как рукою снятый, опадает с него воинский запал, и генерал-майор Липранди, сославшись на расстроенное здоровье, просится в заслуженную отставку с мундиром и пенсионом. Неужели

вы так рано собрались на покой, вам ведь чуть за сорок, вы полны еще сил и планов, Иван Петрович?

И его призывают служить. В Министерство внутренних дел чиновником по особым поручениям. Он переезжает в Петербург со всей своей библиотекой (это лучшее в мире собрание книг о Турции, две с половиной тысячи древних и старых книг), с коллекцией чубуков и оружия и с семьей, которая в значительной степени определяет желание генерала служить (трое сыновей, необходимость их вырастить и достойно пристроить).

Да, ну а как же насчет ветра, что все дует и дует по России с опустевшей Сенатской площади — кому в спину, кому в лицо, кому в душу?

Если бы кто-нибудь очень близкий (хоть и не было уже таковых у замкнутого и ушедшего в дела Липранди, да и с возрастом отсыхают сами по себе интимные дружеские связи) спросил у Липранди, как его былые воззрения, намекнув на те юные идеи, что привели его некогда в тайное общество декабристов, он бы нимало не сомневался в искренности и прямоте своего ответа. Он сказал бы нечто вроде того, что взрывом не возьмешь закоснелые вековые устои, что сейчас он служит России, как никогда, ибо борется со злоупотреблениями и воровством, и что мудрая постепенность, расчищение и просветление страны — вот единственная ныне благостная стезя.

Он трудился, как воевал,— самозабвенно, сил не жалея, выкладываясь, с полной отдачей. Позднее он подведет итоги: за десять лет работы не был ни разу в театре или в концерте, для родных оставлял в неделю один лишь вечер, выполнил за десять лет более семисот поручений, да так усердно и честно, что очень скоро приобрел могущественных врагов.

Много лет, например, выделялись ежегодно огромные деньги на ремонт и содержание петербургской городской мостовой, большей части которой вовсе не существовало.

После его проверки смету значительно урезали, часть виновных пошла под суд. Столько лет все жили тихо и спокойно, и такая вдруг напасть на голову! Деньги делились честно, обкрадывалась только казна, и никто поэтому не был обижаем. Пока не пришел Липранди. Ему пытались это втолковать, он остался глух к разумным доводам, разговаривая при этом так, что о взятке и думать не приходилось. Чтобы кто-нибудь защищал казну — это было такое вопиющее нарушение отечественных традиций, что подумать страшно, куда подобная линия могла вывести.

Впрочем, тут же и продлилась история с этой злосчастной мостовой. Некто подал блистательный проект о замощении Петербурга песчаником. Барыши проглядывались немалые. Чиновники были закуплены на корню, влиятельные лица заинтересованы в проекте бескорыстно, из соображений общественной пользы, ибо именно в их имениях находились огромные залежи песчаника, намеченного авторами проекта к закупке. Возражал один Липранди, с присущей ему неприятной дотошностью выяснив, что никак не годится песчаник для мостовой. Все дружно на него ополчились, но генерал-майор видывал и не такое. Проклиная закоснелое его упрямство, вынуждены были проделать опытное мощение песчаником одной Гороховой улицы. До конца мостить не стали, ибо прав оказался Липранди. Проект отклонили, а ведь многие под эти доходы уже в долги влезли. Такое не плодит приязненной популярности.

Странное, странное ощущение созревало постепенно у Липранди. Ощущение не то чтобы заговора, но всеобщей негласной договоренности. Трудно сформулировать эту общую круговую поруку, относилась она к морали, к традиции, к вековой, не обсуждаемой ныне привычке: можно и нужно красть, если это воровство никого конкретно не затрагивает. Это всеобщее обирание страны постепенно стало представляться генерал-майору Липранди чем-то

одушевленным, неким врагом, самым главным из всех, что угрожают России. С той поры, как он понял это, голова его работала в одном направлении, и идея о путях российского благополучия стала проясняться в его сознании. Идея была потрясающая, всеобъемлющая! Она решала не только узкую проблему всеобщего расхищения всеобщими усилиями, но и множество других острейших и вековечных проблем. Идея состояла в том, что в России можно быстро и глубоко укоренить всеобщее благо, если знать все и о каждом. Знать подробно и непрерывно, ибо, только зная все о человеке, можно пресекать зло и побуждать ко благу. Каждого в отдельности, а значит, и всех вместе. Для этого следовало завести гигантский осведомительный аппарат. Сообщающий и направляющий одновременно.

И в один из ясных дней марта сорок шестого года, отложив все дела, Липранди сел за проект вплотную. К счастью, он сохранился в архивах, этот головокружительный проект, носящий название лаконическое: «Об устройстве высшей тайной полиции при Министерстве Внутренних Дел».

Липранди писал так быстро, словно все эти годы вынашивал слово за словом, и теперь мысли его послушно и торопливо укладывались на бумагу, торопя и без того летящее быстрый почерк:

«Чтобы достигнуть вполне своей цели, высшая полиция должна содержать в себе две совершенно противоположные стороны: одну — важную, в собственном смысле государственную, подробно обнимающую весь современный гражданский и политический быт России с его недостатками и славою; другую — легкую, заключающую в себе происшествия частной жизни в столице и в губерниях, с их тайнами и комизмом, которые иногда находятся в самой тесной связи с важнейшими государственными событиями и нередко служат лучшим ключом к их объяснению».

Здесь он на мгновение остановился. Перечисляя задачи незримого и неслышимого аппарата русского благоденствия, он невольно перевьет их с теми, кои и сейчас стоят перед обычной полицией, а то и с теми, что решает Третье отделение личной канцелярии самодержца, корпус жандармов. Ну и пусть, это временное дублирование, лучшие агенты и мыслящие чиновники постепенно вольются в высшую тайную полицию.

Он обмакнул перо, капля соскользнула на оторванный и подложенный листок, и — счастливый образ, хорошее предзнаменование — вытянулась, напоминая своими очертаниями овальную рыцарскую кольчугу. Конечно же, это должен быть замкнутый клан посвященных, рыцарский орден, монашеское единство, нечто вроде ордена иезуитов, вездесущих и обо всем пекущихся. И не будет мелочей для них, ибо равно важно все — и семейные отношения всех и каждого, и заботы и трудности повсеместные, и пути преодоления их ради государственной пользы.

Он выводил слова торжественно, словно прислушиваясь к их внутреннему звучанию, твердо осознавая, что еще никто, никто не замышлял организации с подобной целью:

«Отыскание людей, заслуживающих внимание Правительства по каким бы то ни было отношениям. Высшая полиция обязана узнавать и следить людей достойных и способных приносить пользу Отечеству, испытывать и развивать их способности, проводить их через горнило опытности и искушений и потом указывать их правительству. Таким же образом должно иметь постоянную заботливость о людях, уже доказавших свои способности, усердие и честность, но по каким-либо неблагоприятным обстоятельствам вынужденных оставить службу. Та же заботливость должна быть постоянно обращена на честных, способных и усердных людей всех сословий, в особен-

ности семейных, которые несмотря на всю свою деятельность терпят крайнюю нужду и лишения, губительно действующие на их способности и самую жизнь».

Да, это выходило прекрасно и необыкновенно по новизне. Осведомление и пресечение извечно были функцией сыска, но еще никогда в истории не возникала и не создавалась сеть людей, отыскивающих и выхаживающих таланты. Не пропалывать и не расчищать, а культивировать государственную ниву, садовниками и селекционерами быть призывал Липранди тайных рыцарей высшего ордена! Острое ощущение, что нечто важное он пропустил в пункте о розыске и взлелеивании талантливых и полезных людей, вернуло его к отложенной странице. Ну конечно. Мало ведь разыскать людей и ненавязчиво подготовить их к поприщу. Надо при этом не упустить ничего, что полезно может быть России из их творчества, приносившего плоды и до того, как упал на них благодетельный тайный взгляд незримого всевидящего ока. Потому не забыть: «Проекты предложений, относящиеся до славы и пользы России. Этот предмет самый обширный, самый важный и самый занимательный в действиях высшей полиции. Сюда войдут различные предложения к развитию нравственной силы государства, к преобразованию управлений, к усилению государственного богатства, к славе Царствующего Государя».

Этим пунктом он остался все же недоволен, ибо понимал прекрасно, сколь разнообразны и непредсказуемы могут быть мысли, идеи и проекты, польза которых станет ясна, как только их сообщат наверх собиратели скороспелой и нехранимой мудрости. Однако развитие его пока отложил. Перечислил, как важно знать в подробностях быт и нравы, взгляды и отношения всех сословий, сверху донизу, во всех проявлениях.

Стекаться все повседневные сведения должны были в некий центр, который он еще вначале обозначил как вто-

рое отделение, вторую часть высшей полиции, занятую ежедневностью, частностями.

«Ко второму отделению высшей полиции принадлежит:

Частная жизнь общества и два главные ее двигателя — женщины и деньги. Из этих происшествий ежедневно должна составляться газета, в состав коей войдут:

Приехавшие и выехавшие из Петербурга лица почему-либо замечательные.

Новости столицы и губерний.

Отъезды министров и других известных лиц.

Происшествия в семейной жизни известных лиц с закулисными тайнами; причем не должны быть пренебрежены: любовницы известных лиц, женщины легкой нравственности с их любителями и тому подобное.

Важнейшие занятия художников, музыкантов и литераторов.

Ежедневные сделки у маклеров; денежные обороты; новые компании и тому подобное.

Маскарады, балы, вечера, пикники в городе и за городом.

Клубы, Собрания, Английский магазин; слухи, пасквили, карикатуры».

Липранди ухмыльнулся устало, чуть размял плечи и опять сгорбился над бумагой. Величественный, умудренный, вдохновенный, он приступал к самому существенному — людям, которые призваны будут реализовать его проект.

«Агенты ни в каком случае не должны составлять особого полицейского сословия. Они должны служить тайно, не зная даже о существовании друг друга. Имена их могут быть известны только главным лицам высшей полиции.

Наблюдения за ежедневными происшествиями и за частною жизнью высшая полиция возложит на людей верных и скромных, но совершенно иных способностей.

Агентов этих необходимо иметь по одному в каждом отдельном ведомстве...

Не менее того высшая полиция обязана иметь агента в каждой губернии, а при посредстве его и в каждом уезде».

Здесь он вспомнил свою работу в Молдавии давних лет, и ощущение свежести и силы пронизало его. Беззвучным старческим смехом смеялся, откинувшись в кресле, пятидесятишестилетний грузный Липранди. Он памятью сейчас находился в тех давних годах, когда сегодняшнее, такое редкостное теперь ощущение силы своей и бессмертия было у него ровным и постоянным. Сколько же минуло ему лет тогда? Девятнадцать, неполных двадцать. Поручик. До утра мог пить, не зная удержу и предела, а за три часа отсыпался так, что весь день работал как одержимый...

А сейчас ведь то же намерение у него, что и в былые годы. Благо России, слава и укрепление ее, преодоление зла, возникающего откуда-то и процветающего невозбранно. Только на иных путях теперь преследует он зло, на иное опирается теперь. А прав ли?

Вроде бы выходило, что прав. Вроде бы получалось, что ничем (или почти ничем) не поступился он от идеалов молодости. Или поступился все-таки? Нет, нет и нет. Потому что благо России — в постепенной перемене ее климата, в искоренении зла и бед по верховному помыслу и мановению, а для того чтобы действенным и благостным всегда было мановение это, ему нужны осведомленность, послушание и покой во всех уголках державы...

Липранди опять положил перо, чтобы сделать перерыв и продолжить, но вдруг застыл, глядя неподвижно на канделябр, уже с час как бесшумно внесенный в кабинет. Вдруг опало и растворилось упругое вдохновение, державшее его у стола, и он вяло сгорбился в своем твердом рабочем кресле. Мысли потекли темные, неуправляемые,

вечерние, старческие. И телом, и разумом, и душой ощутил он свои необратимые и набрякшие пятьдесят шесть. Как-то незаметно подсобрались они и скопились, ощутимо и угнетающе напоминая о себе в такие вот неожиданные моменты, когда самый, кажется, расцвет и обещание множества свершений. Оттого так и двигался сегодня проект, что весь день казалось, хватит еще огня самому его и осуществить. И вдруг мгновенно, непреложно стало ясно, что невозможно это. Раньше бы, лет на десять. Но тогда сидел за книгой. Тоже мечты терзали. Странно все устроено. Течение лет, надежды, упования. Мало в этом смысла, признаться. Но, однако же, долг есть долг. И, проект закончив, подать. А уж там как приведет господь.

2

Огарев возвратился из странствий неуловимо иным, словно все пережитое и передуманное опалило его изнутри. Та же мягкость осталась в обращении, та же доброта в поступках, та же отзывчивость, выглядевшая порой неестественной, казавшаяся чуть ли не позой, столь незамедлительной была и щедрой, та же улыбчивая меланхолия. Только изредка просматривалась, как неловко спрятанный стержень, ровная, спокойная твердость и, к сожалению, исчезла почти совсем щенячья способность взвеселиться вдруг без всякого повода.

Да и весь их кружок переменился. За пять лет стали жестче мнения и взгляды, споры юности — все те же споры — не одно уже словесное кипение порождали теперь, но все отчетливее и глубже разъедали внутреннюю трещину. Летом она выросла в пропасть. И не было тут ни правых, ни виноватых. Но Грановский потребовал не обсуждать больше при нем те сомнения в бессмертии души, что возникли порознь у Огарева и Герцена, постепенно

отвердев до атеизма. Кетчер, женившись на женщине простого происхождения (очень преданной, очень любящей его, очень темной), ревниво и подозрительно следил, чтобы ее не оскорбили ненароком, и вдруг учинил нелепый скандал, когда Огарев в ее присутствии выругался. Огарев и при других женщинах себя не очень-то сдерживал, если к месту приходилось точное словцо, но никто из них не думал ранее, что это можно расценить как намеренное пренебрежение к даме. А другие — других постигли неминуемые возрастные перемены, спасительной защитой служившие и другим всяким личностям с интеллектом. Везде натыкаясь на прутья клетки, многие довольно быстро обучились так соразмерять свои слова, шаги и даже устремления, что переставали доходить до ограды. И благодаря этому новому специфическому предощущению границы клетки они теперь даже волей некоторой наслаждались, осознав по необходимости пределы своей свободы. Сама жизнь, российская жизнь, безжалостно раскалывала их кружок. И только двое, ощущая отчетливо, что лишь они остаются слитно и нераздельно, обсуждали часто, уединившись, как построить им жизнь теперь. Герцен — тот на старом уговоре настаивал, а Огарев вернулся в Россию не оттого лишь, что соскучился. У него созрел и оформился план эксперимента, опыта, попытки переменить и перевоспитать самую натуру сельского российского человека. Он этими планами горел и обсуждал их с превеликой серьезностью, а позже, когда пошли они все прахом, вспоминал с горьковатою усмешкою. Когда же рассказывал о них десять лет спустя Хворостину, откровенно над собою прежним смеялся.

Но тогда, в конце сорок шестого, уезжал он к себе в Пензенскую губернию полный вожделенного нетерпения. Знал, что Герцены скоро уедут за границу, обещал присоединиться, говорил, что если и раньше был на подъем легок, то теперь-то уж, когда одинок, и вовсе, как птич-

ка. Дайте только попробовать здесь, потому что иначе будет меня там непрерывно грызть сожаление, что испытал не все пути воздействия на родимую природу. Рабскую, заскорузлую, страшную, любимую и привычную природу, в русского человека веками въевшуюся. Неискоренима если — уеду, а попробовать обязан, и баста!

И отправился, со всеми расцеловавшись, в свое с детства знакомое Старое Акшено, где когда-то, при жизни действительного статского советника Платона Богдановича Огарева, служило при господском одном дворе ни мало ни много — пятьсот человек прислуги. Были свои садоводы и повара, ремесленники и артисты, парикмахеры и художники. Оркестр в пятьдесят человек играл, когда Платон Богданович садился за обеденный стол. Теперь там было пусто, тихо. В огромном барском доме освещались только нижние комнаты, где живал, наезжая изредка, сосед и приятель, взявшийся временно за управление, милейший и честнейший Алексей Алексеевич Тучков.

И здесь же, в Пензенской губернии, как когда-то, неожиданно и врасплох вновь застигла Огарева любовь. Наталью Тучкову — дочь соседа по имению и близкого приятеля — знал он еще шестилетней девочкой, когда жил здесь в ссылке. Да и раньше видел, летом навещая отца, но тогда, должно быть, и вовсе не замечал. С маленькой Наташей играла его жена, когда они к соседям езживали. Но вот незаметно и стремительно пронеслись суматошные годы то ли странствий, то ли поисков себя, и теперь он встретил у Тучкова семнадцатилетнюю, развившуюся вполне девицу, очень бойкую, чуть угловатую, прелестную. Относиться к нему она сразу же стала, как к отцу: с почтением, чуть насмешливо, по-родственному. Свои тридцать три он ощущал в ее присутствии как шестьдесят: говорил солидно и рассудительно, советовал, что читать, со взрослым снисхождением выслушивал. Слушать, впрочем, было преинтересно. Темпераментная и живая речь ее,

болтливость молодости вкупе с женской наблюдательностью и явным, хоть и неразвитым умом, память великолепная (О, юность! Сам Огарев уже нередко вдруг спотыкался, забывая названия или имена) — да плюс еще полуосознанное желание нравиться — все это придавало разговорам их обаяние и прелесть невыразимую. Для Огарева — пагубную, что он быстро очень понял. А поняв, принял решительные меры. Нет, нет, ездить не перестал, это было свыше его сил, да и невозможно вдруг порвать стародавнюю дружбу. Но все время, все часы и дни, что проводил он у Тучковых в их имении, неотрывно и пристально принялся за собой следить, чтоб надежнее себя в руках держать и ничем, никак не выказать то сладостное и рвущееся томление, что вызывал в нем один звук ее речи, один вид ее чуть неряшливого светлого платьица, любая гримаска обильного мимикой лица.

Рассказывала она все подряд, ибо все, что помнила и знала, казалось ей чрезвычайно важным и занимательным. Искреннее чувство это и впрямь сообщало увлекательность всему, что она непрерывно повествовала внимательному и улыбчивому собеседнику. То об отце говорила — а он и правда был личностью замечательной. Огарев и сам постоянно расспрашивал его — члена Союза благоденствия, уцелевшего от наказания (месяца три продержали под следствием и отпустили) лишь благодаря тому, что во время бунта оказался в Москве. То рассказывала о соседе, высокообразованном чудаке, стране своей не понадобившемся несмотря ни на ум, ни на образование, ни на неподкупное благородство воззрений, воспитанное чтением энциклопедистов, а может, благодаря как раз этим качествам. С тех пор сосед, выйдя в отставку, только чтением да чудачествами и занимался. Выслушал Огарев и о другом их соседе, покойнике уже, писавшем некогда в изобилии стихи, восхвалявшие Екатерину Вторую, и исправно отправлявшем их императрице. (А государыня од-

пажды вдруг с нарочным прислала ему бриллиантовый перстень с собственной руки, присовокупив благодарственную просьбу никогда более стихов не сочинять.)

Обсуждались ими и все любительские спектакли. Огарев, побывавший всюду, был почетным и уважаемым ценителем. И малейшие движения души — собственные или героинь прочитанных романов — тоже не умалчивались.

А потом Натали с сестрой и отцом уехала путешествовать по Европе. Это была уже зима сорок восьмого, и в Италии съехались они с семьей Герцена, недавно покинувшего Россию. И в Италии, и во Франции потом, где обе семьи опять поселились вместе (там застала их и революция, и разгром ее, и массовые расстрелы), Натали часто казалось, что она будто и не расставалась с Огаревым, так часто упоминалось его имя у Герценов. И сам Искандер, и Наталья Александровна постоянно обращались к его стихам. Это была даже не привязанность к любимому ими поэту, а просто часть их существования.

Друг Огарева и Герцена (до поры до времени), эпизодический участник их кружка — писатель Анненков (в дружеских письмах его вместо Павла величали Полиной) написал впоследствии обширные воспоминания о том времени. Когда он писал их, отношение его к Герцену было уже отчужденно-уважительное, к Огареву же — нескрываемо отрицательное. Но — с аргументацией и старательной объективностью. Однако подлинные чувства прозрачно светятся сквозь все впечатления и домыслы очевидца, потому вспомнить нам это здесь необходимо:

«Всеми признанная и распрославленная слабость его характера не мешала ему упорно настаивать на принятых решениях и достигать своих целей... Он принадлежал к числу тех бессильных людей, которые способны управлять весьма крупными характерами, наделенными в значительной степени волей и решимостью, что доказывается и несомненным его влиянием на его друга Герцена. Как мно-

гие из этого типа слабых натур, одаренных качествами обаятельной личности, он был полным господином не только самого себя, но весьма часто и тех, кто вступал с ним в близкие сношения».

Парадокс? Но дальше следует очень подробное и очень правдоподобное описание самого механизма его влияния, увиденное глазами зоркими и (теперь-то мы знаем!) недоброжелательными. Но оттого еще более достоверности в наблюдениях Анненкова:

«Сосредоточенный, молчаливый, неспособный особенно к продолжительному ораторству, он говорил мало, неловко, спутанно, более афористически, чем с диалектической последовательностью, но за словом его светилась всегда или великодушная идея, или меткая догадка, или неожиданная правда, а это понимали хорошо как умные, так и неумные люди. Отсюда и безграничные симпатии, которые его окружали в таком обилии всю жизнь».

И вот, не пожалев красок и штрихов для создания портрета эдакого святого циника с поэтическим даром, Анненков сообщает, что как раз когда Тучковы путешествовали по Европе, он много времени провел с семьями Тучковых и Герценов. И в обеих семьях, пишет он, равно у мужчин и женщин, был развит культ Огарева. Он являлся для них (буквальная фраза) «чем-то вроде директора совести». То есть, иными словами, высшим и последним авторитетом во всех нравственных проблемах. Не он даже, а имя его, образ, одинаково сложившийся за годы общения у всех этих столь несхожих между собой людей...

3

Что же делал тем временем человек, нравственные суждения которого столь авторитетны, а стихи так жизненно необходимы близким? У него ведь были планы, как мы помним.

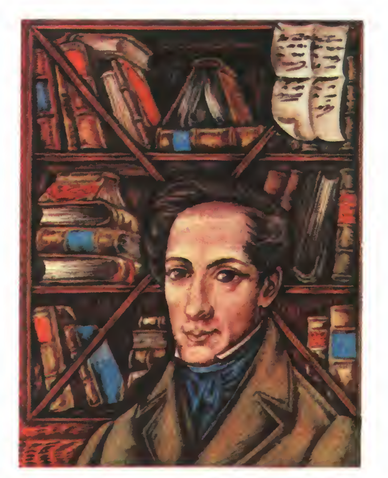
Да, и великолепные! Прежде всего он собирался устроить фабрику, работающую на вольнонаемном труде. Цели достигались при этом, как он мыслил, довольно разные и существенные. В человеке от вольного труда куда быстрее, полагал он, должна вырабатываться уважающая себя и, следовательно, вольнолюбивая личность. Кроме того, пример новых социальных отношений явится благостным для России экспериментом, по пути которого пойдут постепенно и другие владельцы крепостных душ. И еще — начитавшись обильно Сен-Симона и Фурье, в вольном труде видел Огарев обещание совершенно новой нравственности.

А тем временем — что для нашего повествования существенно — в имении у него жила женщина, роман с которой был столь краток, а вел себя Огарев (этот авторитет нравственности) столь безжалостно и решительно, что имя ее лучше не упоминать. Очень средняя — но писательница, без состояния — но графиня, увядающая — но красавица. Приехала к нему эта женщина вместе с детьми и гувернанткой, намереваясь, по всей видимости, обосноваться в Старом Акшене надолго.

Уже казалось Огареву, что позабыл он мучительно-сладкое стеснение сердца, с каким сиживал за столом у Тучковых, и хриплые песни, что пел, вскачь гоня от них лошадь, тоже забыл и не затруднясь выполнит решение: своей жизнью, пропащей и неудачливой, молодую жизнь не губить. Только ноты напоминали, да так напоминали, что к осени он убрал их. Но, к сожалению, пьесы, игравшиеся слишком часто, помнил наизусть.

И вот однажды прискакал посыльный мальчишка с лаконичной запиской Тучкова, извещавшей о приезде, и не свидеться было просто неудобно. Женщина, ни о чем не подозревая, попросилась поехать с ним.

Полчаса прошло после встречи, и еще шли несвязные разговоры, общая беседа не клеилась, и отчуждение полу-



годовой разлуки полностью не растаяло, не было прежней простоты, а спутница Огарева, улучив минуту, вдруг раздраженным шепотом сказала ему, что младшая дочь хозяина любит его как кошка и напрасно он дома не предупредил ее об этом. Огарев не помнил, что ответил, как не помнил он и весь тот день, потому что вот таким странным образом вдруг узнать, что тоже любим,— такого даже в книгах читать ему не доводилось.

А потом были письма с посыльными, очень много с обеих сторон писем, были сцены, для подобной ситуации вполне естественные. Женщина с детьми уехала, и с эгоистической безжалостной радостью провожал ее Огарев, ни смущения, ни вины не чувствуя. Одно из писем к Натали очень ясно передавало, какое и от чего освобождение восторженно переживал Огарев:

«Я думаю, единственная женщина, с которой я мог бы жить под одной крышей,— вы, потому что у нас есть одинаковое уважение к чужой свободе, уважение ко всякому разумному эгоизму, и совсем нет этой неприятной мелочности, отягощающей человека заботами и преследующей его привязанностью, которая пытается завладеть всем его существом без всякого уважения к человеческой личности».

Свидания, объяснения, клятвы, слезы, радости, поцелуи, близость, снова письма, и отец, как это водится исстари, обо всем узнал последним.

Только об одном Тучков сразу же попросил Огарева: чтобы венчались немедленно. Но это оказывалось возможным лишь при условии, что Мария Львовна даст согласие на развод. Она ответила категорическим отказом.

В это время Мария Львовна жила с Воробьевым в Париже, где общалась довольно часто с Герценами, еще покуда не решившими окончательно, где им жить и на что решаться. Наталья Александровна писала Огареву, что только здесь узнала Марию Львовну заново — и эта женщина стала ей снова симпатична. С оговорками, но симпа-

тична: «Бездна хорошего в этой натуре, бездна — и что сделала с ней жизнь... Я люблю ее, и нельзя ее не любить, но мучительно ее знать».

В это время Мария Львовна уже глухо пила. Вся экспрессия ее личности, вся былая экзальтация приняла характер крайней и нетерпимой необузданности. Слабовольный и тиховатый Сократ Воробьев любил ее, но любил по-своему, не более, чем одаренное живое приложение к своей жизни в те краткие перерывы, что не занимался живописью (был он уже академиком, преуспевал, работал помногу и с увлечением). Когда на просьбу Огарева дать развод она ответила отказом так же, как и на уговоры Герценов, те попросили поговорить с ней самого сожителя ее. Воробьев согласился, но обнадеживал не слишком: Мария Львовна сызмальства была слабо управляемой личностью. Наталья Александровна писала с отчаянием:

«Александр сделал все, что может, то есть Александр и я, но ты знай, Огарев, что Мария Львовна последнее время вела себя невыразимым образом отвратительно: трезвого часа не было; Александр ей заметил это, она рассердилась и возненавидела его и меня, перестала к нам ходить и стала нас бранить; это — погибшее, но не милое создание».

Заступничество Воробьева тоже, как он и ожидал, провалилось. Через несколько дней Герцен писал Огареву: «Никакой нет надежды, решительно нет... Мозг ее расстроен окончательно; неудовлетворенное самолюбие принимает различные формы, иногда весьма благородные, наивные даже, но остается все самолюбием; к тому же ни минуты трезвой, она кричит о своей любви к тебе, но не сделает ради нее ничего. Мне больно писать тебе это, но не время нежничать; надо, чтобы ты знал то, что есть, для того, чтобы знать, как действовать».

Попытались воздействовать через общих друзей, снова безуспешно, и ясно стало, что развода Мария Львовна не даст.

«Мне не только было больно и тяжело за вас,— писала Наталья Александровна,— но я была страшным образом оскорблена за человека. Нельзя предположить возможности подобной жестокости, низости и безумия. Маска спала, и эгоизм, один жгучий страшный эгоизм явился во всей форме своей. Не только осторожно, но быстро, как можно быстрее надо действовать. Верь мне и слушайся непременно, непременно. Мне грустно, больно и страшно. Мщение найдет везде дорогу и средство повредить».

Опасения, звучащие в этих письмах, были не напрасны, а призывы действовать с осторожностью и быстрее — разумны донельзя. В России тщательно оберегались в то время устои семейной нравственности: двоеженство могли покарать с жестокостью. Соблюдение семейной морали становилось особенно существенным в годы, когда наползала отовсюду зараза социалистических учений (из Франции главным образом, но и во всей Европе этого хватало). А всем уже доподлинно известно было, что разрушение святости семейных уз — одно из главных положений любой разновидности этой обольстительной пагубы. Стремление выстроить по ранжиру и упорядочить жизнь российскую непременно и явственно упиралось в прочность семейного очага. Ибо прежде всего в этой области, где человек был предоставлен самому себе, следовало предельно ограничить его свободу, чтобы и поползновений не было расширить ее на иные сферы жизни. Нехитрая эта казарменная психология определяла полную нетерпимость к любым вольностям в семейных переменах.

4

Они приехали в Петербург все трое: Тучков с дочерью и Огарев. Было начало сорок девятого года.

Несколько дней всего потратил Огарев, чтобы выяснить окончательно и наверняка: дело с разводом уладить можно

только через судебный процесс. Должны быть предъявлены свидетельства (люди выступят или пришлют показания письменные) той многолетней и давней измены Марии Львовны, о которой знали, в сущности, все. И тут Огарев мучительно ощутил невозможность даже во имя новой любви и долга перед отцом Натали и своим другом начать то выворачивание наружу грязного белья, которое требовалось для неукоснительных инстанций. И Тучков-отец понял его прекрасно, хоть и не было сказано между ними ни единого слова. Понял по лицу, по взгляду беспомощному и хмуро попросил о тайном незаконном венчании. Нашли старика-священника, согласившегося за большие деньги совершить обряд без необходимых документов (очень уж хотел старик обеспечить сироту-племянницу), но тут воспротивилась Натали. Она к тому времени разузнала, что в случае, если все откроется, Огарева ожидает непременная кара, и заявила, что ни за что на такое не согласится. И отец опять уступил.

Странные это были месяцы для Натали. Она взрослела от своих переживаний. Взбалмошная, восторженная девица на глазах становилась взрослой женщиной, мудрой и прозорливой благодаря своей любви. Огарева обожала она всей душой, никого вокруг не видела, только ощущала иногда остро и болезненно ту огромную разницу, что была между ним и толпой приятелей, ежедневно являвшихся к ним в дом. Спроси ее, она не смогла бы ответить, в чем именно различие состояло, да и подумав пристально, отнесла бы ощущение это за счет своей любви к Огареву. Но разница была, была! Приходили такие же легкомысленные, такие же мягкие и такие же добрые люди, были среди них талантливее и ярче (куда как!), но такого отпечатка личности сложившейся, своеобычной и чужеродной климату российскому (не от географии, а от психологии климату) не видела она среди гостей. И оттого постоянно и непрерывно боялась за Огарева. Многие, как и он, обсуждали

стоявшую на дворе погоду, но слова и мысли их были неуловимо не такие, неопасные для делателей погоды слова и мысли. Потому и напряглась она внутренне, когда один из новых знакомцев стал расхваливать кружок какого-то Петрашевского, куда сам был вхож, и усердно зазывал Огарева. Собирались в этом кружке только мужчины, за что у присутствующих дам рассказчик попросил прощения.

Он рассказывал, как там всегда интересно и оживленно, как прекрасно и отважно мыслит и говорит хозяин, как читаются замечательные трактаты — оригинальные или переводные.

— Так завтра едем? — спросил он, не сомневаясь в ответе.

Огарев никогда не спрашивал у Натали, нет ли у нее на следующий день каких-нибудь связанных с ним планов. Он держался с ней мягко и заботливо, не скрывал влюбленной преданности, но границу, за которой безраздельно принадлежал себе одному, давал чувствовать явно и ясно.

Но сейчас Огарев покосился на нее — машинально или почувствовав что-то — и, увидев ее лицо, мягко отказался. Эта обманчивая мягкость многих вводила в заблуждение: казалось, надо лишь чуточку нажать, и он уступит, так податливо его сопротивление. А потом переставали настаивать, недоумевая вслух или молча. Сейчас произошло то же самое. А она, то с благодарностью на Огарева глядя, то чуть насмешливо — на уговорщиков, подумала вдруг с любовной радостью, что поняла сейчас в нем замечательно важную черту, разделявшую пропастью столичных друзей и его. Они готовы пуститься в рискованное знакомство или приключение, но отважиться на что-то действительно серьезное не могли и потому весь пыл сполна отдавали щекочуще безопасной суете. До поры, конечно, безопасной. А Огарев мог на все сразу махнуть рукой, мог решить-

ся в один момент, и тогда уж даже слезы ее не переломили бы его решимость. И отчего-то, вопреки самолюбию и приятному женскому ощущению власти над любимым, эта мысль, пришедшая ей в голову, была невыразимо сладостна. Именно эта внутренняя готовность как угодно повернуть свою жизнь и позволяла Огареву спокойно и усмешливо отказываться там, где приятелям это казалось постыдным.

А через неделю стало известно, что в Петербурге одновременно были арестованы на своих квартирах все члены кружка Петрашевского и сам он конечно же тоже. Огарев молча поцеловал Натали ладонь.

Они уехали из Петербурга незамедлительно — в панической атмосфере страха, слухов и всеобщей подозрительности оставаться было неразумно. За городом из кареты отца Натали пересела в коляску Огарева, куда с вечера уложили ее вещи. Они отправились в Одессу, надеясь без паспортов уплыть тайком на каком-нибудь английском пароходе.

Но ничего не получилось. Страх был всеобщий, повсеместный, заразительный. Капитан английского грузового судна, которому предложили за двух пассажиров крупную сумму, сказал, что Россия — уникальная, единственная в своем роде экзотическая страна, где запуганность ее обитателей передается, как по воздуху, даже вольным заезжим чужеземцам. И отказался наотрез.

Все лето прожили они в Крыму. Бродили по каменистым руслам пересохших от зноя речушек, пили кислое вино, читали и любили друг друга. Возвращаться не хотелось. Не только потому, что было им хорошо вместе, но главным образом от предчувствий, что навалится на них по возвращении необходимость решать многое множество проблем. А они свою неготовность ощущали явственно и обоюдно. И медлили, медлили, как напроказившие дети,

и вернулись только осенью. Не знал еще Огарев, что вот-вот предстоит ему услышать второй звонок, возвещающий — после пятнадцатилетнего перерыва,— что спокойно ему в России не жить.

5

Ранней весной пятидесятого года на дороге между Пензой и Симбирском происходило неприметное постороннему глазу, лишь двоим участникам явственное, конное состязание в скорости. Подтянутый молодой офицер, прибыв на очередную станцию, предъявлял подорожную от всесильного и пугающе легендарного Третьего отделения и вне очереди получал лошадей. Изредка лошадей не оказывалось, тогда он кричал и угрожал и, своего добившись, уезжал, покрикивая на ямщика. А за ним следом умолял о лошадях молодой парень с пагловатыми замашками полуобразованного дворового. Этот никаких особых прав не имел, но молча показывал две-три бумажки столь же казенного образца, но более широкого обращения и куда более влиятельные. Смотритель немедленно преисполнялся готовности и, не обращая внимания на ропот дожидавшихся, получив кредитки, кланялся и благодарил. Ямщики же, услыхав магическое «на водку!», лошадей не щадили. На очередную станцию приезжали почти вровень с могущественным офицером, и тот уже приметил неказистого, но успешливого курьера — только не догадывался пока, что по пятам за ним следует в некотором роде соперник. В Симбирске офицер отправился, как полагается, к губернатору, ибо только после представления мог приступить к исполнению приказанного. Соперник же его, схватив первого попавшегося лихача, помчал на квартиру, в которой жил, наезжая в Симбирск по делам, владелец бумажной фабрики Николай Платонович Огарев, которого как раз и разбудил своим приходом.

— Беда, Николай Платонович,— заговорил последний быстро и фамильярно,— в имение генерал из Петербурга приехали, а меня Наталья Алексеевна к вам прислали — вот ее письмецо пожалуйте.

Наталья Тучкова сообщала, что в имении жандармский генерал, идет обыск, отца, очевидно, арестуют по какому-то доносу и отправят в Петербург для разбирательства и что другой офицер поехал в Симбирск за ним, Огаревым, так что пусть подготовится к приезду.

В чемодан полетело все подряд: деловые записки, стихи, письма. Потом, когда будут они в Петербурге, губернатор, то ли жандармам не доверяя, то ли по указке чьей-то свыше, собственной властью учредит дополнительный обыск, и найдено будет несколько десятков запрещенных, по его разумению, книг. Но главное было тогда сложено в чемодан, немедленно вынесенный и вскоре благополучно прибывший домой. Жандармский посланец, приехавший через час в сопровождении губернаторского чиновника, увидев соперника, мнущего в дверях шапку, приветливо улыбнулся и охотно согласился позавтракать перед дальней дорогой, понимая бесполезность обыска. Очень все гордились потом сообразительностью Натальи Тучковой, и она даже в старческих воспоминаниях своих не преминула описать этот случай.

Дорогой Огарева мучила неизвестность, ибо и офицер не был ни о чем осведомлен. Первый же допрос, впрочем, прояснил обстоятельства незамедлительно. Губернатор Панчулидзев, формально покуда дальний родственник Огарева, делал попытку избавиться от строптивого и неудобного своей примитивной честностью предводителя дворянства Тучкова. Носил, оказывается, Тучков бороду, что дворянину неприлично, подбивал крестьян жаловаться в инстанции. В гостях бахвалился, будто бы в Париже был на баррикадах в сорок восьмом, а крепостному бурмистру позволял в своем присутствии садиться. Слышаны также всякие

от него частные разговоры с осуждением некоторых российских порядков.

Перечисленное, может, и не было бы достойно донесения самого губернатора, но к сему прилагалось письмо некоего помещика Рославлева. (Девическую фамилию Марии Львовны читатель помнит вряд ли — так это ее отец. Проживал он ныне в доме губернатора. Тихий запойный старичок с фантазиями, получающий пенсию от Огарева и раздраженный не столько тем, что тот расстался с его дочерью, сколько тем, что Огарев благополучен и счастлив с младшей дочерью Тучкова, врага губернатора — благодетеля и кормильца.) Рославлев, старый и несчастный отец, сетовал на кошмарную жизнь своего зятя, бросившего больную жену на водах и предающегося неслыханному разврату. Находился он поначалу в преступной связи со старшей дочерью революциониста Тучкова, а потом, пресытясь, отдал ее в жены своему приятелю Николаю Сатину, которому подарил за это имение. Сам же вошел в столь же преступные отношения с младшей дочерью Натальей, на что Тучков, которого Франция растлила полностью, глядит сквозь пальцы. Несчастный больной отец просил о справедливости и воздаянии.

Интересно, что результатом доноса был такой вопрос следственной комиссии: «Не были ли таковые поступки ваши следствием принадлежности к секте коммунистов?..»

Смешно, не правда ли? То ли руками разводить, то ли каяться, то ли нервно смеяться от безнадежности.

Следственная комиссия, впрочем, крови не жаждала и разумные объяснения принимала. Тучков отвечал на все вопросы подробно и с искренним возмущением.

Бороду он никогда не носил, а только бакенбарды. Крепостному бурмистру позволял сидеть, потому что у того больная нога. На баррикадах бывать не мог, ибо «во имя чего, спрашиваю, подвергал бы я жизнь свою этой опасно-

сти? Я всегда ненавидел всевозможные революции, потому что верю в спокойное усовершенствование дел человеческих, а не верю, чтобы потоки крови решали вопросы гражданственности». Вообще в ответах его множество восклицательных знаков и негодования столь искреннего, что не поверить ему нельзя было. В запальчивости он порой поднимался до высокой прозы в своих письменных ответах комиссии: «Так погибают люди достойные, которых все преступление состояло в помощи ближнему и в защите невинных от мелких притеснений... Имя мое не стояло еще у позорного столба. Оно сияет на Бородинском памятнике». Это была правда. Кроме того, по множеству других обвинений (в недобросовестности, в нечестности, в неосновательности решений и поступков) комиссия справедливо заметила, что если бы они соответствовали истине хоть отчасти, то не избирался бы Тучков пятнадцать лет подряд (то есть пять выборов) предводителем уездного дворянства.

Огарев держался так же. А счастливый факт, что жил он с дочерью Тучкова невенчанно (как благословлял он давешний ее отказ!), избавлял его от единственно законной во всей этой истории кары — за двоеженство.

Интересно, что ни высокой комиссии, ни подследственным арестантам в голову не приходила во время их совместных бесед мысль о противоестественности главного: того, что человека можно просто так, по безмозглому доносу, преспокойно выдернуть из жизни, везти под охраной за тысячи верст, задавать грубые вопросы, копаться в интимных подробностях личной жизни. Потому что правительству российскому все было позволено с подданными, и основывалось это на негласной, веками въевшейся в психологию убежденности, что человек государству — раб. Огарев, много лет потративший на развитие собственной личности, многих россиян внутренней свободой своей глубоко поражавший, в этой ситуации терял немедленно все,

что накопилось в нем за годы возмужания, учения, страданий, раздумий о свободе, о человеческом достоинстве, о чести. Отвечал он на вопросы комиссии, об одном мечтая — выпутаться. Потому что как ни чист и ни честен человек, а схваченный — засужен может быть с легкостью.

Но на этот раз, к счастью, обошлось. И еще интересно, что о призвании к ответу клеветников ни комиссия, в клевете убедившаяся, ни ответчики, достаточно пострадавшие, не обронили ни единого слова. Потому что в согласованном рабстве было негласное понимание: накажи клеветников сегодня, назавтра письменный приток доносов уменьшится, и потеряет недреманное око главную свою способность: всеведение. Потому комиссия просто отпустила — по высочайшему повелению — оказавшихся невинными подданных, а те, кроме благодарной радости, никаких других чувств не испытывали. Такое возможно было только в России, и лишь много позже понял это Огарев со стыдом и жгучим смущением. Тогда же, как живую боль, как кандалы, ощутил единственное, чему все-таки их подвергли,— лишение права просить о заграничном паспорте.

А в гостинице в Петербурге его ждала Наталья Тучкова, он подарок ей нес — написанное в заключении стихотворение «Арестант». Спрятанное в сапог, вышло оно теперь на всеобщее прочтение и вскорости стало столь распространенной песней, что считали ее часто народной.

Возвращались домой, удрученные событиями. Словно чья-то грязная рука вывернулась вдруг из-за горизонта, обшарила их бесцеремонно, обдал чей-то холодный взгляд, и все исчезло. Потом острота сгладилась, но ясно стало, что в покое их уже не оставят. А тут еще возникла необходимость срочного улаживания очередной подлости, с непостижимой легкостью учиненной Марией Львовной.

Еще в сорок первом году, когда супруги Огаревы впер-

вые уезжали за границу и ничто не предвещало дальнейшего (Огарев говорил потом, что предвидел, но звучало это малоубедительно), Мария Львовна, как писал один биограф поэта, «обделала прозаическое дельце». Она попросила обеспечить ее на случай обстоятельств, непредвидимых в дальнем путешествии. Иными словами, на случай смерти Огарева за границей. Он и вправду страдал с юности тяжелыми эпилептическими припадками, так что вполне разумной выглядела подобная предусмотрительность женщины, своего состояния не имеющей. А без специально к тому принятых мер она получила бы по закону лишь седьмую часть состояния мужа. Были они так молоды, что смешным это показалось Огареву и трогательным, выглядело детской игрой во взрослых. Она настаивала мягко, но всерьез. И вариант он придумал тогда чисто игровой, театральный, ибо ничего серьезного придумать не мог. Составил некое запродажное условие, согласно которому он, Огарев, дарил своей жене пятьсот тысяч рублей, но тут же по неотложности брал эти полмиллиона у нее взаймы, обязавшись выплачивать годовые проценты. В случае смерти Огарева она имела право под этот одолженный будто бы ею капитал на все его деревни в Пензенской губернии. Условие составили по всей форме, как полагалось. Казалось это им весело, обоих смешило, Мария Львовна сказала, что так ей куда спокойней, даже сама не знает почему. Нет, нет, вовсе не была она в те годы столь коварной и дальновидной, как могло показаться. Дело, скорее всего, в том, что очень хорошо помнила она унизительное положение нищей племянницы в доме губернатора, и ощущение обеспеченности нужно было ей и впрямь для душевного покоя и чувства собственного достоинства. Оттого и не могла она ничего связно и убедительно сказать Огареву в оправдание холодной своей предусмотрительности. Но ему и не надо было ничего говорить, он любые чьи угодно просьбы испол-

нял с готовностью и радостью, не задумываясь о характере их.

В сорок шестом, когда приезжала она в Россию ненадолго (чтобы продлить заграничный паспорт), были у нее деловые разговоры с недавней, но близкой приятельницей ее Авдотьей Панаевой. В разговорах участвовали люди с деловой сметкой. Не исключено (а скорее всего — точно так) — был среди них Некрасов, склонный даже бравировать немного своей практической хваткой. В результате Мария Львовна обратилась к Огареву с претензией, что те деревни, под которые выдано смешное запродажное условие, не имеют стоимости полмиллиона. Здесь обсуждать было нечего, ибо пожизненное обеспечение этой женщины (включая пенсию ее отца) Огарев принял на себя безоговорочно и твердо. На этот раз он попросил ее порвать запродажное условие (хотел оставить себе как память о молодости, но раздумал), а вместо него выдал ей заемные письма, согласно которым будто бы должен ей был теперь триста тысяч рублей с обязательством ежегодной выплаты процентов. За векселями этими не стояло, разумеется, никакого долга, шла речь о пенсии под видом процентов. Регулярно эти деньги высылая, Огарев каждый раз добавлял еще на карету.

А в сорок девятом, ответив на его просьбу о разводе незамедлительным отказом, чистому раздражению уступая всю порядочность свою, подала Мария Львовна эти условные векселя, за которыми в действительности не было ничего, в суд для взыскания с Огарева капитала. Ошеломленность его, стыд за незабытую еще им женщину, растерянность вряд ли следует пытаться описывать.

У нее, впрочем, нашлись советчики, которым она с некоторых пор вверилась полностью и безусловно. Есть у нас основания предполагать, что хорошо известная в истории русской литературы Авдотья Панаева, гражданская жена Некрасова, подбила ее на этот шаг, приняв на себя

добровольно ведение дела. Для чего востребовала она у Марии Львовны полную доверенность, а заодно — на всякий непредвиденный случай — и большое количество огаревских писем разных лет.

Мерзкая разворачивалась история. Много достойных людей поссорила она друг с другом. Нам никак ее не миновать, не описав хотя бы вкратце главных событий, ибо истории этой в свое время посвящены были целые книги, а статей и не сосчитать.

Панаева наняла от имени Марии Львовны опытного в таких делах сутяжника. На оставшиеся деревни Огарева был временно наложен арест, деньги приходилось выплачивать. А так как их у Огарева к тому времени уже почти не было, приходилось расставаться с остатками богатейшего некогда отцовского наследства. Имение было оценено много ниже своей действительной стоимости, но Огарев соглашался на все. В любых материальных тяжбах он всегда стремился покончить все поскорее ценой любых уступок. Надо еще добавить, что в это же самое время он был крупно обворован сводным братом (внебрачный сын отца с помощью братних денег стал купцом, предпринимателем, компаньоном Огарева и уже не раз обирал его и ранее, а в благодарность писал на него же, как впоследствии выяснилось, неоднократные доносы). Так и хочется обвинить во всем этом самого Огарева,— безграничная доброта с неумолимостью порождает деяния такого рода. Так не того ли вина сильней, кто пестует бессовестность своим попустительством? Огарев стоял на грани полного разорения. Здесь приятно привести одну фразу из его письма к приятелю того самого острого времени, когда он лишался всего: «Я живу, как лещик в воде, совершенно спокойно». Нет, все-таки симпатичный человек наш герой!

Деньги были выплачены Марии Львовне сполна. Часть из них — в виде большого имения. Теперь уже от подруги

своей должна была она получать проценты со своего столь некрасиво приобретенного капитала. Однако же деньги получала она столь нерегулярно и настолько реже, чем дружеские излияния вперемешку с извинениями-жалобами на стесненные обстоятельства, что последние годы ее прошли в нищете. Она жила в Париже (художник бросил ее) и стремительно спивалась. А весной пятьдесят третьего года в русское посольство в Париже явился некий француз средних лет (последний ее и поступивший очень честно сожитель) и принес толстую пачку писем — скончавшаяся Мария Львовна завещала их Огареву. И еще француз принес небольшую сумму денег, а из писем Огарев явственно понял, что капитала своего Мария Львовна от подруги так и не получила. Теперь он являлся наследником и потребовал от Панаевой деньги. Многочисленные, но неловкие увертки ее довели конфликт до суда. Процесс тянулся долго, вели его доверенные лица Огарева, и пришлось Авдотье Панаевой все возвратить сполна. Ей и тому сутяжнику, который тоже хорошо нагрел руки.

Эту всю историю привели мы здесь не для того, чтобы завершить судьбу первой любви и женитьбы Огарева и не для полноты картины его материальных дел (ибо деньги эти Огарев так и не получил, доверенное лицо — приятель и родственник его — проиграл их в карты), а совсем по иной причине. Дело в том, что густая тень грязного этого дела легла в свое время на Некрасова. И он мужественно принял ее. Да, он был советчиком Панаевой по всем вопросам, да, сохранились его письма к Марии Львовне, свидетельствующие неопровержимо об участии и совете. Но существует еще одно письмо, и оно снимает с него все обвинения. Но сомнительна достоверность письма.

Слухи и сплетни вокруг огаревского наследства и нечистоплотности всего совершающегося росли и ширились. В участии Некрасова было убеждено множество людей. Уже выходил «Колокол», и Герцен не пожалел для Нек-

расова многих слов. Уже Некрасов ездил в Лондон, чтобы объясниться, и Герцен его не принял, отослав холодную и язвительную записку: «...Причина, почему я отказал себе в удовольствии вас видеть,— единственно участие Ваше в известном деле о требовании с Огарева денежных сумм, которые должны были быть пересланы и потом, вероятно, по забывчивости, не были даже и возвращены Огареву... Вы оцените чувство деликатности, которое воспрещало мне видеться с вами до тех пор, пока я не имел доказательств, что вы были чужды этого дела... В ожидании этого объяснения позвольте мне остаться незнакомым с вами. А. И. Г.».

Представить доказательства — значило назвать Авдотью Панаеву единственной виновницей происшедшего, и Некрасов покинул Лондон. Только самые близкие знали правду. Некрасов молчал. Анненков, разделяя почти общую уверенность, метко и точно использовав неловкую фразу Некрасова, писал в своих воспоминаниях: «Некрасов выказал много печальной изворотливости, настойчивости и изобретательности, чтобы добиться своей цели — дарового захвата имения, и раз сказал в глаза Грановскому: «Вы приобрели такую репутацию честности, что можете безвредно для себя сделать три, четыре подлости».

Фраза эта, сказанная Грановскому (Герцен утверждал, что, когда Огарев ездил по заграницам, Грановский заменял его во всем, что касалось совести и чести), многое, конечно, говорит о мировоззрении Некрасова. Она позволяет строить догадки и предположения о его полной осведомленности в этом деле, а значит — о правоте упрямой позиции Герцена. В точности и наверняка исследователям и биографам и поныне ничего неизвестно. Кроме того, что денег своих, как уже было сказано, Огарев так и не получил.

В пятьдесят третьем году, немедленно после известия о смерти Марии Львовны, Огарев с Натальей Тучковой обвенчались в местной церкви. Оставалась у Огарева от не-

давнего миллионного состояния (он простил большие долги крестьянам, отпущенным на волю) только Тальская писчебумажная фабрика. Она привязывала его к себе, как привязывает родителей неудавшееся дитя: что ни год сильнее, будто собственная душа, по частям вложенная им в эту фабрику, заставляла его теперь любить и заботиться о ее работе.

Весною пятьдесят пятого, вернее, еще зимой, среди ночи вспыхнув, сгорело его последнее российское предприятие. Говорили потом, что подожгли фабрику крестьяне — будто видели они в насаждаемой Огаревым системе оплачиваемого вольнонаемного труда что-то каверзное против них, непонятную барскую хитрость. И, не дожидаясь выяснения, разрубили гордиев узел.

Ярко пылало в холодной февральской ночи первое действующее предприятие русской утопической мысли. И было у Огарева странное, вовсе с ситуацией несообразное, немного стыдное, но и сладкое чувство облегчения и освобождения от всего, что привязывало к России: от надежд и иллюзий, от планов и обязательств, от наивности былой и пропавшей.

К осени ближе, выплатив почти все долги, Огаревы выехали в Петербург. С заграничными паспортами было сейчас легко. Да еще Огарев нарочито ходил всюду с костылем, симулируя какое-то нервическое расстройство, что должно было ускорить дозволение ехать лечиться.

6

— Печальная это будет история,— повторил зачем-то Хворостин, раскуривая свою самую любимую — короткую и прямую — трубку. Густо поплыл по комнате, всю ее сразу заполнив, крепкий медвяный запах.— Нет, нет, вашей личной жизни, не беспокойтесь, я касаться не буду. Вы за

сорок два года пережили достаточно, а сейчас, ввиду полного, кажется, семейного согласия и счастья, интереса не представляете. Я — о ваших исключительно деловых начинаниях. Тут вы постоянно, а значит, закономерно терпите одно разочарование за другим. Будет ли мне позволено перечислить их без обиды с вашей стороны?

— Разумеется,— сказал Огарев, засмеявшись беспечно и заинтересованно.— Сделайте одолжение. Мне самому любопытно послушать, как мои попытки свяжутся в единую нить. А я-то считал, что кидаюсь от одного к другому безо всякой связи и именно от того все мои неудачи.

— Что вы, что вы,— живо возразил Хворостин, сморщившись слегка от очередной порции сизоватого дыма.— Цепочка выразительно стройная, потому что все звенья кованы одной и той же торопливою рукой. Вы ведь, как я уже сказал, изволили в этой жизни — быть, то есть пускаться в разные предприятия, реализовать замыслы и планы, непрерывно делать выбор. В отличие от меня, грешного, выбравшего небытие заживо: лень и развлечения небольшие.

— Какая тут лень, батенька? — сказал Огарев.— Книги читаете в изобилии, игрой не брезгуете, выпить за беседой — охотник, знакомых у вас — тьма неоглядная, разве это не есть самая полноценная жизнь?

— Вы меня и вправду не поняли,— мягко возразил Хворостин.— Жизнь только для себя, прозябание типа моего бытия — лишь подобие жизни. Чрезмерными радостями оно ведь, кстати, не чревато. Природа сотворила нас так хитро, что полное удовольствие человек способен получать, только себя чему-то отдавая. По возможности, с пользою, конечно, но это уже вопрос другой. А вот вы решились — быть, и ваш друг Герцен решился — быть, и Грановскому казалось, что он может — быть, но сорвался, убедившись, сколь это тяжело в России. А я вот хочу — в карты играю, хочу — читаю месяцами, спать могу, не пошевелив-

шись, сколько спится, потому что меня не существует — меня как личности! Есть некто Хворостин, убивающий ненужное ему время случайно подвернувшимися занятиями. Гореть мне за это в аду? Разумеется. Осуждение потомков? Обеспечено. Недоумение окружающих? Наплевать. А вот вы в эту жизнь ввязались. Извините, ради бога, я, кажется, монолог произношу, собой увлекшись, а ведь собираюсь о вас.

— Нет, мне интересно,— задумчиво ответил Огарев.— Я, знаете ли, слушая вас, подумал, что непременно должен явиться русский бытописатель вроде Тургенева, это бы ему по плечу, чтобы вашу мысль до логического абсурда довести...

— Человек лежит,— быстро перебил Хворостин, блеснув глазами остро и хищно,— и вообще ничем не занят, кроме, извините, естественных отправлений. Даже их совершая без удовольствия, ибо и они — деятельность. Притом человек не без способностей, но ему уже не до книг, не до вина, не до женщин, знакомые его тяготят. Полное небытие заживо! Я давно об этом думаю. Может быть, и напишу когда.

Огарев теперь сидел в кресле прямо, не опираясь на спинку, и неотрывно глядел Хворостину в зеленые его глаза своими темно-серыми, поярчавшими.

— Совершенно верно! — подхватил он.— Только вот еще что непременно должно присутствовать в этой книге: к герою ходят приятели, сделавшие, как вы изволите утверждать, свой выбор — быть: литератор, купец, чиновник, придворный карьерист, военный служака... Каждый своим делом упоен и взахлеб о нем повествует. А он, герой ваш, отлично и отчетливо видит, сколь пустым и нестоящим звания человека делом заняты все они. Друзья же, чувствуя в герое способности и достоинства, уверяют его в необходимости вступить на свою стезю. А он продолжает лежать...

— Два добавления.— Хворостин даже руку поднял по-гимназически увлеченно, отложив трубку.— Во-первых, он своим лежанием тяготится...

— Вот оно что! — сказал Огарев изумленно.— Этого я о вас не думал, признаться.

— Вы мне слишком интересны как собеседник и дороги как человек, чтобы я вас еще своими душевными тяготами занимал,— отмахнулся Хворостин.— Послушайте. Удобнейший диван — крестный его путь, если хотите, Голгофа, и он бы этот крест сменил, да не знает, на что... Это первое. Он на диване распят.

— Превосходно! — Огарев радостно кивнул головой.

— Со вторым вы согласитесь вряд ли,— вдруг остыл Хворостин и как-то даже немного осел, сменив свою возбужденную позу на обычную расслабленную.

Огарев, поняв его с полуслова, тоже откинулся в кресле, погасая.

— Договаривайте, чего тут,— вяло сказал он.— Во-вторых, один из приходящих к нему знакомцев и совратителей — некто вроде меня — мечтает о социальных реформах. Начитался брошюрок о революциях и переворотах, болтает о низложении деспотизма и освобождении крестьян, да притом еще так глупо, что его становится жаль. Угадал?

— Конечно,— холодно ответил Хворостин.— В одном ошиблись — не должен он походить на вас. Это, если уж мы говорим о замысле книги, фразер, болтающий о революции и бунте и так превратно свободу толкующий, что ее страшно ему давать, а остальных жаль подвергать подобной свободе. Нет, нет, вы гораздо выше тех героев, коих мы так согласно изготовили. Вы уж меня простите за лесть, по характеру моему, как знаете, гадости мне произносить куда сподручнее.

— Золочение пилюли — достойнейшее занятие,— невесело усмехнулся Огарев.

Хворостин, с любовной медлительностью вычищая трубку, заговорил опять, размеренно и учтиво:

— Слушайте, я вам изложу все-таки историю некоего Огарева, который, себе цену не зная, преступив российский обычай кидать слова на ветер, проделал важные социальные опыты. А то, что они крахом кончались, а иногда просто конфузом, не его вина. Он-то свои идеи проверил, и о свободе да перемене климата, честное слово, Николай Платонович не болтал понапрасну. Вы со стороны, со стороны взгляните на этого Огарева со всеми его провалами и неудачами.

— В третьем лице мне и вправду это легче обсуждать,— настороженно отозвался Огарев.

Снова клуб дыма поплыл от Хворостина по комнате. Он помолчал секунду, наслаждаясь, и заговорил:

— Получает огромное наследство некий лихой кудрявый вольнодумец и — что бы вы думали? — от слов своих о свободе немедля и наотрез не отказывается. А они теперь опасны для его благополучия, которое он, кстати, очень ценит за возможность принять и угостить друзей. И не только от слов не отказывается, но и действовать начинает. Льстить этому человеку я бы не хотел, но ведь чаще всего в жертву приносятся сами идеалы. А он, принося в жертву идеалам грядущее благополучие, отпускает на волю две тысячи крепостных.

— Во-первых, тысячу восемьсот, во-вторых, был взят довольно большой выкуп, в-третьих, оставьте тон панегирика или некролога, это мешает, согласитесь, объективному обсуждению...

— Нет,— живо ответил Хворостин, усмехнувшись.— Не мешает, ибо в этой охапке лавров уже заложена здоровая железная гирька. Секундочку...

— А, пожалуйста! — Огарев тоже засмеялся.

— А стало ли им, крестьянам, лучше? — вдруг спросил Хворостин резко и требовательно.

— Трудно сказать с определенностью,— послушно откликнулся Огарев.— Понимаете, у меня еще тогда возникло ощущение, словно я сбросил покров с новых, уже вполне завязавшихся там отношений, не более человечных, чем рабство. Я увидел...

— В третьем лице вы желали,— мягко поправил Хворостин.

— Наплевать,— отмахнулся Огарев.— Перейдем к третьему лицу, когда станем обсуждать другие мои огрехи. Они, видите ли, крепостные то есть, жили, платя оброк со своих луговых, рыбных и охотничьих доходов. Бедные работали на богатых, у которых постоянно состояли в долгу, ибо те выплачивали за них оброк. Теперь те же разбогатевшие помогли бедным отдать выкуп, тем самым лишь упрочив кабалу. Надо вам сказать, барин об этом не подумал...

— Молод был? — сказал Хворостин полувопросительно.

— Скорее, поверхностен,— ответил Огарев.— Я, впрочем, об этом не жалею. Я другого насмотрелся вдоволь, что заставило меня здорово задуматься.

— Потому вы и переменили свои планы в отношении остальных подопечных? — спросил Хворостин.

— Черт его знает,— сказал Огарев,— вы ведь все хотите приписать мне некую разумность и последовательность, а я, ей-богу, поступал наугад и наобум.

— Тем ценнее будет, когда последовательность мы с вами все-таки обнаружим.— Хворостин нагнулся вперед, взял спички и, высыпав десяток на курительный столик, выложил из них дорожку в три спички и ответвление в две стороны.— Последовательность в том, смотрите, батенька, что вы непрерывно искали доброкачественный путь. Согласитесь! Что же вас так поразило тогда?

— Нежелание жить лучше,— твердо сказал Огарев, с интересом посмотрев на спички.— Апатия полная и совершенная. Лень. Эдакое даже, знаете, хитроумие и коварная

изобретательность в увиливании от любых перемен. Недоверие ко мне совершенное. Безучастность к собственной жизни вопиющая. Подробности желаете?

— Разумеется,— хмуро сказал Хворостин.

— Русский мужик странным образом уверен, что его удачи и неудачи, здоровье и достояние, сама жизнь, наконец,— все в руках провидения. Гнилая изба, грязный двор, сносившаяся одежда, падающее здоровье — ничего сам не поправляет, уповает на сторонние силы. Он даже пашет плохо, а молится о дожде и вёдре, только на них и надеясь. И вы думаете, только барскую пашню плохо возделывает? Ничего подобного! Свою — точно так же. Какой-то свидетель собственной жизни. Я, знаете ли, один раз даже велел наказать мужика за дурно возделанное поле. Поставил условие: или перепахать или наказание. Что вы думаете? Все равно, говорит, господь если уродит, будет хлеб, не наша это забота — вмешиваться, такого испокон веку не водилось.

— Вы и о причинах нерадения такового думали, конечно? — Хворостин слушал, недоуменно наморщив лоб.

— Много думал,— сказал Огарев.

— Не знаю, до чего вы додумались. С удовольствием вас выслушаю, но позвольте сперва свою гипотезу... Я человек городской, книжный, идеи мои пылью отдают, после вас мне говорить будет нечего.

— Ну, ну, ну.— Огарев оглянулся, словно ища чего-то, и, взяв кусок сыра, сел на край кресла.

— Из самой истории русской очень это достоверно вытекает,— продолжал Хворостин.— Я позвоню, чтоб нам поесть принесли?

— Ни в коем случае! Продолжайте, бога ради, забавно это полное наше несовпадение.

— Ну, тогда я быстро выскажусь,— засмеялся Хворостин.— Вот что веками происходило. Здорово топтали нашу землю. И не только чужеземцы. Грозный разорял

русские города и деревни. А до него — великие князья. Ну и татары конечно же, а потом литовцы с поляками. А великий Петр, который чуть не пол-России, как редиску с огорода выдернув, пересаживал? А временщики всякие? А помещики? Словом, полное отсутствие уверенности в завтрашнем дне. Того и гляди ограбят, переселят, угонят, совсем погубят. Постоянная боязнь, неуверенность в безопасности, незащищенность, чувство как бы временности и случайности своей жизни. А отсюда — какая же забота о твердом устройстве, о добротном хозяйстве? И всегда гроза — сверху, неожиданно, врасплох. Отсюда все на авось.

— Вот авось — это да,— сказал Огарев одобрительно.— Ни в одном языке такого слова нету. У французов разве только — ихнее peut-être *, но здесь больше сомнения и надежды, да и не так распространено. Одних пословиц...

— Авось, небось да третий как-нибудь,— сказал Хворостин.— Здесь, кстати, вся моя гипотеза высказана.

— Авось живы будем, авось помрем — тоже на вашу мельницу,— загнул Огарев сразу два пальца.— И еще! Авось не бог, а полбога есть. Держись за авось, доколе не сорвалось. Ждем-пождем, авось свое найдем. Авось — вся надежда наша. Больше не помню. Но есть еще, и уверен, не одна.

— Что же вы тогда хотите мне возразить? — Хворостин был возбужден и ответа ждал с нетерпением.

— Нет, насчет рабского фатализма я возражать не собираюсь,— сказал Огарев неторопливо.— Я хочу только...

— Простите, батенька,— Хворостин не выдержал.— Позвольте мелкую малость добавить.

Огарев застыл на полуслове.

— Ведь что из всего этого вытекает,— быстро заго-

---

* может быть *(франц.)*.

ворил Хворостин.— А то, что с Россией все поступали, как с некой захваченной землей. Как оно, модное слово? Колония! Это не парадокс, батенька, а если и парадокс, то печальный. Сами же дети земли русской, выбившиеся в ее управители, поступали со своей страной так, будто завоевали ее и стараются из туземцев соку побольше выжать. Отсюда в рабстве российском еще одна черта: недоверие к хозяину. Добра, мол, от него ждать не приходится. А русский он или немец — нам едино, потому что все одним лыком шиты. Здесь ищите корень недоверия и к вашему искреннейшему начинанию. А? Подождите, подождите, ради бога, последнее хочу сказать. Если жизнь зависит не от меня, вернее — самой лишь малостью от меня, если я обязательно в чьей-нибудь власти, то за свои поступки и ответчик уже не я. Любые средства хороши, чтобы мне из-под этих роковых обстоятельств ежедневно и ежечасно выпутываться: и обман, и хитрость, и бесчестье...

— Честь не в честь, коли нечего есть,— утвердительно кивнул Огарев.— Здесь пословиц тоже целый ворох. Честь, например, добра, да съесть нельзя. Вот вы меня на мою дорожку и выводите. Я ведь этим и собирался заняться.

— Потому и не отпустили остальных крестьян на волю? — спросил Хворостин.

— Вы мне приписываете проницательность большую, чем дана от рождения,— засмеявшись, отмахнулся Огарев.— Не строил я наполеоновских планов! Не успел, а то бы всех отпустил. Просто я в это время уехал в Италию. Всякие были обстоятельства, некоторые из них вам известны, остальные к делу не относятся, но по европам я за эти почти пять лет порядком поколесил. Многого наслушался и насмотрелся. Спорил, набравшись наглости, с чрезвычайно осведомленными людьми. Так вот сперва...

— Простите,— быстро сказал Хворостин и потряс бронзовым колокольчиком, что стоял на краю стола. Огарев оглянулся. В дверях уже стояла неопределенных лет жен-

щина в необъятном переднике, обнимавшем ее, как пелерина, накинутая спереди.

— Чего-нибудь холодного нам, Катенька,— сказал Хворостин улыбчиво.— Соглашусь на вчерашнюю телятину.

Женщина молча кивнула и с достоинством удалилась, тут же возникнув снова. Блюдо было явно велико для вчерашних остатков. Один из продолговатых кусков вольготно лежал, словно оттеняя роспись по фаянсу, где на синем блеклом лугу пасся синий теленок. Приятели, заметив это соседство, засмеялись в голос. Женщина, с сонным удивлением глянув на них, уплыла.

— Простите,— повторил Хворостин.— Эх, черт, вилок не принесла! — И потянулся было к колокольчику.

— Батенька! — укоризненно остановил его Огарев.— На что мы с вами тратим время? Салфетки — вот они. И позвольте мне продолжать.

Хворостин брезгливо взял руками кусок телятины. Огарев сделал то же с явным удовольствием.

— Ну, сперва, конечно, часть негативная,— заговорил Огарев.— Из рабского фатализма весьма интересные проистекают вещи. Первым назову по его важности полное отсутствие инициативы. Если и проявляется — то лишь там, где есть возможность украсть. Всякая иная инициатива встречается общиной в штыки: не нами это, мол, заведено, не нам и перемены делать. Или еще: эдак каждый захочет легко жить, а кто работать будет? Паши, как все, не выворачивайся. Община распрославленная — это только равенство в рабстве. Наипервейшее требование, чтобы был, как все. Впрочем, я отвлекся, простите. Второе: самим строем жизни культивируется не только нечестность личная, но и ложь, как принцип. Кто у нас более всего уважаем? Составитель кляузных просьб и фальшивок. Узаконенную-то несправедливость чем пробить, как не обманом? Общечеловеческая же справедливость наверстывается

воровством, что общей нравственности сами понимаете, как способствует. И, наконец, последнее. Здравый смысл развивается в человеке лишь при условии, что он может за себя постоять. А в условиях общинной круговой поруки, этого коллективного рабства, его немедленно одергивают. Внятно я вам это излагаю?

— Куда как внятно,— мрачным эхом откликнулся Хворостин.

— И сообразил я тут,— воодушевленно продолжал Огарев, поднявшись с кресла, и стал ходить по комнате, аккуратно кресло огибая,— что раба, прежде чем на волю пускать, надо изнутри привести в человеческое состояние. Развить в нем чувство собственного достоинства, личной самостоятельности и самоценности, здравый смысл, приучить к инициативе, понятие чести воспитать. Добиться исчезновения скотского ощущения временности, зависимости и страха. Словом, сказать то, что в Европе сделала история.

— За века,— быстро сказал Хворостин.

— А русский человек все на свете может куда быстрей,— горячо возразил Огарев.— Это я ведь сейчас, обратите внимание, только тем и занимался, что мужика мерзил. Но у него такая природная сметка, сегодня втуне пропадающая или обращаемая во зло и хитрость, такая готовность стать личностью, такая энергия, попусту на ветер испаряемая, что со счетов это никак не сбросишь. Все это я и надеялся развить.

— Школа? — полуутвердительно спросил Хворостин.

— Школа! — сказал Огарев, останавливаясь.— Конечно, школа. Химия, зоология, астрономия, физика, ботаника, русский язык, история хотя бы России. Три-четыре года с проживанием вне семьи...

— Представляю себе,— вставил Хворостин,— матери рыдали бы, как по покойникам.

— Три-четыре года с проживанием вне семьи,— на-

стойчиво повторил Огарев.— Никаких наказаний. Телесных, я имею в виду. И только после этого воля. С обязательством столько же лет проработать кем угодно в родном крае. Э-э-э, подождите класть спичку. Я понимаю, вы хотите выложить целый куст выборов — ветвей, где я потерпел фиаско. Школу я открыть не успел.

— Но идея все равно зачтется,— Хворостин положил спичку.

— Кофейку бы,— попросил Огарев.

— Уверен, что он уже существует,— самодовольно сказал Хворостин и ухмыльнулся, как мальчишка. Катенька, скорее все-таки пожилых, нежели средних лет, как разглядел ее теперь Огарев, по звонку, которого как будто ждала, внесла дымящийся кофейник.

— Школу, словом, я не заводил,— продолжал Огарев, отхлебывая горячий кофе.— Составил уже план занятий, да никак не мог выписать учителей, потом любовь напала, после разорился. Но зато другое я успел, и теперь кладите спичку!

Хворостин послушно положил спичку, но игра эта ему, очевидно, уже слегка надоела,— он сидел, скорчившись, пол-лица упрятавши в ладонь, только глаза глядели пристально и жутковато. Он походил сейчас на одну из химер собора Парижской богоматери, о чем Огарев, разумеется, не преминул ему немедленно сказать.

— Хорошо бы так, батенька,— лениво протянул Хворостин, от лица ладонь не отнимая.— Такого воплощения ума и скепсиса больше нигде и не увидишь. Но прошу вас, продолжайте.

— Окончание близится стремительно,— сказал Огарев устало и отчего-то очень важно.— Идея была такая: человек скорее обретет достоинство, поняв цену своему труду. Заводы у меня были винокуренный и сахарный, но больше всего надежд возлагал я на писчебумажную фабрику. Господи, сколько же я с ней хлебнул!

— Знаете что? — вдруг неожиданно сказал Хворостин, отряхивая оцепенение.— Давайте-ка договорим после, а сейчас помянем неудобозабываемого императора Николая Павловича. Знаете ли вы, что в день его рождения бабушка Екатерина Великая отпустила из тюрьмы нескольких купцов, торговавших запрещенными книгами? Ну не дурное ли начало для будущего фельдфебеля?

— Вас погубит знание истории,— убежденно сказал Огарев.— Вы все знаете, вам неинтересно поступать.

— А вы только и делаете, что поступаете,— сказал Хворостин приветливо,— вам узнать не станет времени.

— Никакими шутками не удастся вам нас поссорить,— сказал Огарев упрямо,— потому что общаться в этой жизни нам осталось, может быть, неделя.— И он взглянул в застывшее бледное лицо Хворостина.

— Я все время об этом помню,— глухо пробормотал Хворостин.

7

Тот посетитель, он запомнился Ивану Петровичу Липранди так остро, словно врезался в его память, и оказался первым вестником всех несчастий, вскоре последовавших. Приехал не в своей, а в наемной карете, и Липранди эту предусмотрительность понял, едва глянув за окно кабинета. Появлению предшествовала записка с просьбой проконсультировать по нескольким вопросам, в которых достопочтенный Липранди заслуженно слывет глубоким специалистом. От записки пахло резкими и вкрадчивыми мужскими духами — не французскими, а восточными. Липранди знал отлично этот гаремный аромат, торговцы духами и специями рекламировали некогда его в Бухаресте как возбуждающий. Этими же духами пахло и от посетителя, когда он явился, с порога расточая любезности, свет-

ские незначащие слова и легкие шутки, которыми славился при дворе. Ведь они были ровесниками, об этом свидетельствовали и лицо посетителя, и старческая ухоженная шея, и все то, что о нем знал Липранди. Но странно, Липранди почувствовал себя рядом с ним безнадежно пожилым, неопрятно грузным, ломовым битюгом, случайно ставшим бок о бок с породистым беговым рысаком. Родовитость, сенаторство, светский лоск — все это не могло не впечатлять. Даже не знай Липранди ничего, сразу видно было, что собеседник — завсегдатай Аничкова дворца, что место его там, законное и естественное. А еще Липранди много был наслышан об оргиях в его загородном доме, куда возили будто бы модисток из швейного заведения, и о крупной карточной игре, и о расстроенном состоянии, и об огромных долгах, время от времени покрываемых непонятно откуда возникающими суммами, и о влиятельности при дворе, которой пользовался этот посетитель умело и расчетливо. По своему положению он мог просто вызвать к себе чиновника Липранди, но предпочел приехать сам, вежливо испросив позволения, и все было весьма значимо в подобном поступке.

Пока посетитель устраивался в кресле, закуривал, осматривался и улыбался располагающе, Липранди на мгновение предался игре, любимой им с ранних лет. Еще молоденьким подпоручиком завел он себе толстую тетрадь (было в ней уже около десяти тысяч выписок из трех тысяч книг на разных языках), где на первой же странице вывел: «О тождестве характеристических свойств человека с различными животными, как в отношении физическом, так нравственном и физиологическом». В нынешнем посетителе сразу и непреложно усматривалась гиена, очень крупная и очень умелая, и Липранди, как всегда это бывало в трудных случаях, установив тождество, успокоился и собрался для разговора. Тем более что уже с момента получения записки он отлично представлял, о чем

пойдет речь, и понимал: посетитель столь же отлично знает — Липранди догадлив. Разговор предстоял нелегкий, ибо уступать собеседнику честный Липранди вовсе не намеревался.

«Интересно,— вдруг подумал он.— А ведь этот сановный гость, этот распутный старик при всех своих чисто мужских увлечениях и острых мужских духах чем-то очень напоминает дорогую, но доступную женщину. Есть какая-то потаскушья пластика в его повадках. Гиена. И какой чистый тип!»

Разговор должен был идти о деле некоего Клевенского, крупного чиновника, неумело укравшего казенные деньги и мгновенно растратившего их. Суд уже состоялся давно, Клевенского не изобличили, и, хотя все прекрасно понимали, что украсть мог только он, процесс шел вяло, доказательств сыскано не было, и Клевенского освобождали с порочащей, но ненаказуемой формулировкой «оставить в сильном подозрении». Однако государь распорядился возобновить дознание. Дело (спустя безнадежно много времени) передали в ведение Липранди, а тому картина стала ясна через два дня чтения протоколов и свидетельских уклончивых умолчаний. Клевенский не растратил, безусловно, им украденные казенные деньги — он просто выплатил свои карточные долги. Уже с год, как он играл в компании, сильно льстящей его чиновническому самолюбию. Шушера в этот дом не допускалась, и Клевенский попал туда случайно. Стал с некоторых пор проигрывать, решительно принялся отыгрываться, рисковал, потерял голову и однажды завяз целиком и полностью. Расплатился сгоряча казенными деньгами, а когда спохватился, спохватились и сослуживцы. Впрочем, скорее всего, кто-то из партнеров шепнул по соответствующему адресу. Зачем? Это выяснилось из рассказа самого Клевенского. Сбивчивого, искреннего, перемежаемого слезами. Он очень хорошо держался на прошедшем следствии, но против Липран-

ди, безупречно расставившего сеть вопросов, не устоял. Он признался, что открыл партнерам, откуда были взяты деньги, попросил вернуть их под честное слово, что расплатится немного позже. Но партнеры пожали плечами и разъехались восвояси, а хозяин дома мягко сказал Клевенскому, что, по общему мнению, как это ни печально, но Клевенскому следовало бы застрелиться. И он поехал домой в полуобморочной решимости выполнить благожелательный совет. Однако вид горячо любимой жены и обожаемых детей отрезвил его, наполнив новым ужасом. Так он провел три дня в горячечных размышлениях: повиниться? одолжить? достать? А тем временем в управу благочиния, коей он так безупречно руководил до своей внезапной страсти, нагрянула неведомо кем присланная, как пожарный обоз спешащая ревизия. Правда, ему и тут объяснили, как надобно себя вести, и все было бы хорошо, не возобновись дело сначала, да еще порученное Липранди. Предстояли вызовы генерал-лейтенантов, сенаторов и тайных советников (распорядился лично самодержец, чтобы они по вызову приезжали), предстояли неприятности, разжалования, выговоры и скандальные разговоры.

Кстати, именно этот сегодняшний посетитель не участвовал в большой игре, но, очевидно, кто-то попросил его. Как-то он обернет свою просьбу, интересно? Посулы это будут или угрозы? Про себя Липранди твердо знал, что не дрогнет, не уступит, не смягчится. Он служил России, это было главным, что держало и побуждало его.

— Милый, милый Иван Петрович, милостивый государь,— заговорил посетитель доброжелательно и вкусно,— вы простите меня, бога ради, что отнимаю драгоценное время, но репутация ваша столь высока, а слухи о знаниях и осведомленности столь широко распространены повсюду, что я осмелился обратиться к вам с просьбой, носящей несколько интимный, чуть постыдный, если хотите, в моем положении характер. В сенате не сегодня завтра



состоится обсуждение каких-то новых предписаний о раскольниках, в частности о скопцах, и представьте, я о них почти ничего не знаю. А вы председатель скопческой комиссии, знаете о них, конечно, все, растолкуйте мне, бога ради, о чем разговор и в чем проблемы.

И откинулся выжидающе в кресле, весь внимание и заведомая благодарность. Уж на что многоопытен был и тонок Липранди, уж на что изощрен и подготовлен, а такого оборота не ожидал. Впрочем, собрался тут же и почел за лучшее ответствовать, принимая за чистую монету неожиданный вопрос.

— Позволите с двухтысячного года до нашей эры начать? — учтиво осведомился он.

Посетитель усмехнулся.

— Что вы, Иван Петрович, увольте, я вашей эрудиции за такой короткий налет не исчерпаю. Батенька, вы уж мне по-простому, о нашей только матушке-России, и что сия секта означает в ней, многобедственной.

— Изуверское течение, страшное,— медленно заговорил Липранди, мысленно перебирая вероятные переходы к Клевенскому.— Особенно распространилось с половины прошлого века, хотя и раньше были единичные случаи обнаружения. Скопят они друг друга сами, именуя это огневым крещением.

— Ах, кошмар какой,— плотоядно сказал посетитель.— Но под этим всем какая-то ведь чисто теоретическая, что ли, подкладка, не правда ли? На чем они стоят и чем руководствуются? Собственная литература или общеправославная?

— Евангелие,— пожал плечами Липранди.— Умело истолкованное Евангелие. Тексты там и в самом деле соответствующие есть, я вам их, извольте, прочитаю наизусть немедля.

— Никогда не думал,— сказал посетитель заинтересованно.

И Липранди вдруг подумал: а что, если и вправду он поговорить приехал, почитая себя не вправе решать человеческие судьбы, ничего не зная толком? Очень была эта мысль соблазнительной, потому что позволяла расслабиться и изложить предмет со всем блеском тончайшего знания, накопленного трудом усерднейшим и кропотливым. Но расслабиться никак нельзя, ибо ясно, что верткого и могучего сластолюбца этого ничего, ничего на свете не интересует, кроме собственных отправлений, значит — интерес подогретый, а тогда к чему выкладываться? Впрочем, тексты помнятся, слава богу, не скудеет цепкая память, а за время бессмысленной декламации, может быть, догадка нагрянет. Он уже привычно цитировал, польщенный вниманием собеседника, и будто со стороны, из легкого тумана, слышал свой неторопливый, ровный голос:

— «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». «...Итак, умертвите члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская,— не от Отца, не от мира сего».

— Память у вас поразительная,— восхищенно улыбнулся посетитель.— Феноменальная, я бы сказал, память. Я вот не могу похвастаться, хотя мы, очевидно, ровесники. Часто это доставляет неприятные минуты, знаете ли, кто-нибудь попросит о чем-либо, так, пустяки, обещаешь, а потом запамятовал — неудобно...

«Вот оно,— успел подумать Липранди.— «Запамятовал,— сейчас скажет этот изящный дряхлец,— да вот вспомнил и хочу попросить у вас, пустяк, право». Но что?»

— Право, как-то я не думал ранее, что столько в Евангелии действительно доводов против плоти в ее конкретном воплощении. А скажите, милейший Иван Петрович, чем объясняется, что скопческий самый знаменитый на-

ставник — как его? — Селиванов, кажется? — выдавал себя за Петра Третьего? Селиванов, не правда ли?

— У вас тоже превосходная память,— приятно улыбнулся Липранди, продолжая теряться в догадках.— Селиванов. А Петра Третьего в народе почитают чрезвычайно: к примеру, ведь не случайно и Пугачев, если помните, выдавал себя за того же монарха. При Петре Третьем было сделано небольшое послабление раскольникам — бежавшим ранее за границу разрешили вернуться безо всякого наказания. Да еще совпало: уничтожение Тайной канцелярии, о которой уже страшные сказки сказывались, опять же льготы крестьянам, жившим на монастырских землях, а когда вышел указ о вольности дворянской, разрешающий дворянам, в сущности, не служить, как ранее полагалось, то, естественно, родилась в пароде легенда, что следующим явится указ об отмене крепостного права.

— Да, да, да, теперь понимаю отлично! — засмеялся собеседник, суетливо подвигавшись в кресле, словно торопился, а вот вынужден был покуда сидеть.— Да, да, да. Это тот самый указ о вольности, который на самом деле писан был секретарем? Знаете эту пикантную историю?

— Нет,— сказал Липранди с интересом. Древний замшелый анекдот давал ему возможность поразмышлять.

— Как же, как же! — Старик оживился, такие истории были его коньком.— Петр собирался повеселиться, но, как огня опасаясь своей любовницы, громко сказал при ней секретарю Волкову, что будет сегодня всю ночь работать с ним над важным указом. Сам запер его в кабинете наедине с датским догом и отправился...— Старик сделал паузу, ибо здесь у слушателей всегда возникал смех, но Липранди внимал с почтительным напряжением, и рассказчик смял эффектное устное многоточие. А Липранди в это время, отбросив на секунду перебор догадок, подумал, что для него самого история, которую он знал и почитал как некое самостоятельное и явно имеющее направ-

ленность течение, была мучительным вековым прорастанием в человеческом сообществе высокой справедливости, коей люди до сих пор так и не оказались сполна достойны. Оттого он любил историю и верил, что ей можно помочь. А для светского его ровесника история начиналась и заканчивалась в рамках его собственной жизни и интересов, остальное же состояло из превеликого множества странных анекдотов, призванных услаждать и оживлять разговор.

— Забавно,— сказал Липранди.— У вас превосходная память, имена — самое трудное для запоминания.

Он уже сам переходил к открытому разговору, помогая собеседнику сказать, что вот наконец и в самом деле вспомнилась еще одна просьбишка.

— Изуверство это постигает и женщин? — Собеседник явно не принимал помощи.

— Разумеется,— терпеливо пояснял Липранди.— Впрочем, женщина не лишается способности деторождения, но делают они с ней черт знает что.

— А что, что именно? — быстро спросил собеседник. И спохватился: — Впрочем, изуверство есть изуверство, и вы правы, это надо пресекать. Вы так же относитесь и ко всем другим толкам раскольнических ересей?

— Ни в коем случае,— твердо сказал Липранди.— У меня много друзей среди самых разных раскольников, большинство из них более трудолюбивы и зажиточны, чем наши православные мужички, ибо не пропивают все, что у них есть, и работа почитается у них делом святым.

— А скажите, неужели пресловутое богатство скопцов объясняется исключительно их трудолюбием и неотвлечением на плотские удовольствия?

Что-то было спрятано в тоне этого вопроса, и Липранди приготовился: сейчас. Надо только помочь ему, хватит крутиться вокруг да около. Он заговорил, веско и медленно выговаривая слова, прямо глядя на собеседника:

— Нет, конечно же! Беда всех, даже крупных родовых, наследий в дроблении, а у скопцов наследников нет, и постепенно у них скапливаются огромные богатства. Отсюда, кстати,— тут он сделал ударение,— у скопцов есть всегдашняя возможность подкупать непомерными взятками людей родовитых и потому влиятельных, но капитала на самом деле полностью почти лишенных. Скопцы и отыскивают для заступничества за себя таких...— тут он запнулся, будто выражение подбирая,— патрициев, живущих не по средствам.

— Ну, нынче по средствам живут одни посредственности,— приветливо и спокойно парировал аристократ.

Липранди, как предыдущие слова почти прямого обвинения выговаривая, так и сейчас, умелую пощечину получив, внимательно и пристально глядел на своего собеседника. Даже улыбнулся, одобряя ловкое «мо», но промолчал. Просителем все же был не он в этой беседе.

— А вы что же, против взяток, достопочтенный Иван Петрович? — игриво и легкомысленно спросил сенатор, заговорщически подмигивая Липранди, чтобы этим циническим вопросом и знаком равенства стереть возможную обиду.

— Весьма против, весьма,— тяжеловесно и хмуро ответил Липранди, ощущая свою грузность, несветскость и неповоротливость.— Вспоминаю часто древнего персиянина Камбиза, который повелел содрать кожу с живого судьи, злоупотреблявшего местом своим, и кожей этой обтянуть судейское кресло, на которое сел судейский преемник.

— Не припомню, кто из умнейших людей сказал,— ответил сенатор, поежившись от сочного тона, каким была рассказана история,— но сказал прекрасно, что не бери в России взяток чиновники, и жить в ней стало бы невозможно.

— Смягчение законов — дело постепенное, это вот как раз вам и виднее,— уклончиво ответил Липранди. Он ре-

шительно не понимал, о чем все-таки приехал говорить этот полуразложившийся патриций.

— А вот какой-то древний грек, кажется, сказал, что законы — это паутина, смертельная только для мух, а птицы ее разрывают, даже не заметив.— Собеседник веселился, словно разговор шел удачно для его просьб или намеков.

— Диоген Лаэртский это сказал, и вполне справедливо, к сожалению,— хмуро сказал Липранди.

— Память у вас невероятная! — вздохнул посетитель.— Но при этом, позволю заметить, нетерпимость каменная. Так целиком и разом осуждать, например, заступничество людей влиятельных за людей маленьких и сирых — это бесчеловечно и к тем и к другим, заметьте. А что, если малых сих обижают и впрямь безжалостно, а влиятельный заступник их — вполне бессребреник? Как тогда? Ситуация невозможная?

— А сегодня, по моим наблюдениям,— ответствовал Липранди вяло, чтобы удар пришелся потяжелей — так расслабляется умелая рука, опуская саблю с размаху,— сегодня из людей влиятельных бессребреник только тот, кто предпочитает золото.

— Браво! — прямо-таки с наслаждением засмеялся собеседник.— Какая пронзительная шутка, не замедлю рассказать ее нынче. С упоминанием автора, разумеется.

— Стоит ли? — сказал Липранди.— У меня и так врагов полно.

— А сколько может быть друзей,— сказал посетитель.

— Дружеские услуги, что при друзьях неминуемо, в моем положении весьма затруднены,— возразил Липранди.— Я почитаю себя на государственной службе.

— Но государственная служба — это прежде всего коллегиальность,— живо сказал собеседник и прямее сел в кресле, явственно показывая, что больше не намерен пояснячать и любезничать.— Государственная служба

предполагает оглядку на таких же, как мы все, смертных, на непременные слабости человеческие, на честь их мундира, который если они и замызгали ненароком, то долг наш чистого служения помочь подняться им, а не безжалостно затаптывать.

И еще он что-то такое добавлял служебно-гуманное, о разумном в отдельных ситуациях послаблении и прикрывании глаз, дабы не лопнули соединяющие всех нити единого усердия. Липранди понял вдруг, отчего так долго не догадывался. Просто официально это дело еще не поручалось ему, а его уже вычислили как взявшегося. Вот оно что, вот оно! Простое и грязное вместе с тем дело. Года четыре прошло, как закончился процесс восемнадцати богатых скопцов, присужденных к высылке. Все эти годы тек от них ручей подачек по каким-то мелким инстанциям, и исполнение приговора тормозилось. Но недавно они решили покончить со своими неприятностями разом, для чего с чьей-то помощью вышли на министерского секретаря. Тот за огромные деньги взялся вынести из министерства дело и в их присутствии сжечь у себя в камине. Липранди полученные им сведения довел до министра, а тот распорядился о срочном обыске. Обыск пришелся на день, когда вечером как раз предстояло комнатное аутодафе нежелательным бумагам. Нашли весь толстенный том под периной у кухарки в ее клетушке. Речь даже не о скопцах теперь шла (хоть и неясно было пока, кто нажимал пружины), а о своем же сотруднике.

— Вы два замечательных доклада представили на высочайшее имя по затребованию министра,— упористо говорил между тем сенатор,— один об искоренении взяток, а другой о картежных играх. Но ведь согласитесь, такой знаток должен и милосердие проявлять. Дабы редким по необходимости изъятием из правил еще пуще эти правила подчеркнуть и возвысить, как не бывает суда без милосердия...

— И правды,— мягко сказал Липранди.

— Спасибо вам за все справки о скопцах и за исключительно, исключительно интересный разговор.— Сенатор поднялся медленно, и Липранди тоже встал, почтительно чуть вперед подавшись, слушая внимательно и ясно.

— Жалко мне, знаете ли, просто жалко и несчастных стариков, без того уже себя обездоливших, и несчастного картежника этого, притчу сегодняшнюю во языцех.

Вот теперь все было сказано открытым и прямым текстом, и, хотя никаких не высказано просьб (не привык посетитель просить, ему достаточно всегда изъявить свое мнение и точку зрения), Липранди ощутил безвыходность собственного положения. И хотя ни на йоту не собирался он отступаться от своих понятий справедливости и беспристрастия (и не отступился, кстати), но сейчас мучительно захотелось ему как-нибудь переиграть ситуацию, объясниться, выйти из тупика, в который резко и прочно вогнал его незначащий разговор этот. И поэтому, стоя уже, внешне безупречно внимательный, на самом деле вполуха слушал он комплименты, расточаемые ему высоким посетителем, и почти открытый перечень возможностей для Липранди, которые не то чтобы обещались, но провиделись, предполагались, обрисовывались.

А потом деловой патриций ушел твердой поступью опытного подагрика, и Липранди грузно осел в кресло, обдумывая, как поступать.

И не изменил ни в чем безупречности, как он ее понимал. И не жалел даже, что в общем впустую выполнил свой служебный долг в обоих означенных делах (отдан был, правда, в арестантские роты сам Клевенский, где и умер скоро от непривычности, а виновники истинные все почти открутиться смогли, да и скопцы так и остались в столице, закупив кого-то более удачно). А от того визи-

та, оставившего у Липранди след неизгладимый в памяти и негаснущее с той поры чувство опасности, отсчитывал он все свои последующие неприятности.

8

Через день спички лежали так же точно, как позавчера, когда Огарев уходил от Хворостина. И горячий кофе появился через минуту после его прихода, словно заваривали его из постоянно кипящего самовара. И синий теленок безмятежно пасся на синей луговой траве, где лежали теперь куски холодной курицы.

— Возобновим? — сказал Хворостин так приветливо, что у Огарева мгновенно снялась давящая легкая боль на сердце. Пожав холодноватую, но очень твердую руку Хворостина, усевшись в кресло так, что всей спиной ощутил его податливую спинку, почувствовал Огарев с приятностью: дома. И, как неизменно в эти дни происходило с ним при каждом приятном ощущении, кольнула мысль: ведь больше этого не будет. И вопрос, подавляемый немедленно: а не важней ли именно эта приятность, нежели твердая и последняя решимость уезжать? Может быть, она перевесит чашу, которая твердо тянула вниз, но благодаря самому перевесу словно лежала прямо на душе плотной и плоской тяжестью.

— Спички те же? — поинтересовался он.

— Те же,— охотно откликнулся Хворостин.— Те же самые. Я довольно много сидел над ними. Вы, того не зная, очевидно, очень заражающе действуете. Странное это какое-то влияние. Пассивное, что ли, не знаю уж, как назвать. Вы ведь ни в чем меня не пытались убедить, но после вашего ухода я немедленно принялся пересматривать свою жизнь.

— Это с какой же целью? — улыбаясь, перебил Огарев, радуясь, что сидит здесь и разговаривает с этим странным

человеком, холодно рассматривающим свою собственную жизнь беспощадным сторонним взглядом.

— А прав ли я,— просто ответил Хворостин.— Мне вдруг отчетливо представилось мое добровольное гниение, позавидовал я вашей молодой решимости и подумал: может быть, и мне — быть?

— И решили? — И мелькнувшая было радость, что не потеряет он так внезапно обретенного друга, вмиг погасла — лицо Хворостина никаких сомнений в ответе не оставляло.

— Останусь при своих пока,— деловито сообщил Хворостин тоном карточного партнера.— Я ведь еще вашу игру полностью, согласитесь, не досмотрел. Спички заготовлены между тем.

— Но позвольте. Вы мне твердо и заманчиво обещали постепенно изложить всю печальную историю моей жизни, и конечно же я с радостью согласился, потому что ничего нет приятнее, чем занятие своей особой, а теперь вместо обещанного потрошите меня словно собираетесь писать биографию.

— Все-таки я дослушал бы сперва,— сказал Хворостин.— Ладно? Ну, прошу вас о последней попытке. Перевоспитание раба в человека через развитие личного достоинства на вольнонаемном труде — не так ли?

— В целом так, хотя при этом, заметьте, собственных интересов я не оставлял тоже, ибо уверен был, что это путь к обогащению. Долги к этому времени я ощущал чисто физически. Нечто вроде очень мягкой удавки, сжимающейся из месяца в месяц, но неумолимо и безостановочно.

Хворостин молодо расхохотался, отчего бледное лицо его сразу порозовело.

— Это мне знакомо по картам,— сказал он.— Совершенно точный образ!

— Ну, из краха непременно надо вычленить мои собственные погрешности и ошибки. Свойственник мой меня

обворовал в самом начале очень капитально. Вслед за тем, чтобы знать, что делается, я на этой бумажной фабрике сам работал всюду, где мужики, чтобы почувствовать вкус и запах труда. Машины были нужны и специалисты. Да, кстати, один сорт бумаги я изобрел лично, и он потом здорово шел на ярмарке.

Хворостин одобрительно качнул головой, слушая со вниманием и без улыбки.

— Неохота мне вдаваться в подробности,— сказал Огарев.— Да и немного времени я продневал и пропочевал на фабрике. Немного.

— А потом что же делали? — Хворостин наморщил лоб, не понимая.

— На всякое уходило время,— уклончиво ответил Огарев.— Читал, играл на рояле, писал стихи и музыку, волочился, ничего не делал. Да и больница много времени отнимала. Больницу я открыл все-таки.

— Лечили сами?

— Сам. Кому же больше? Во время странствий своих учился несколько медицине. Анатомия давалась трудно.— Он засмеялся воспоминанию и мгновенно помолодел, словно возвратился на минуту в дальние года.— Запоминал только те названия, которые между собой рифмовались. Обучался, конечно, кое-как, но для моей деревни это тоже было чудом. Бабы мне всё руки норовили целовать. Мужикам я строго-настрого запретил снимать передо мной шапку и кланяться, так бабы какой выход нашли: схватит руку и причитает: доктор, доктор, чтобы не отругал за пресмыкание. Лабораторию еще сделал химическую. Опыты ставил...

— Да, но главное-то, главное — менялись ваши мужики от вольного труда? Или это для них была просто непонятная разновидность барщины, прихоть чудака хозяина?

Огарев еле уловимо развел кисти рук и скорчил гримасу. Оба засмеялись исчерпывающему ответу.

— Так я и думал,— сказал Хворостин.— Вас гложет болезнь, которую я назвал бы историческим нетерпением. Поколения должны смениться. И не только мужиков, да притом непременно уже освобожденных, но и хозяев. Ведь все мы рабы в одинаковой степени. Умом наследственности не отряхнуть. Случайно, думаете, из одних и тех же букв составлены слова и «рабство» и «барство»?

— В самом деле.— Огарев улыбнулся, по-мальчишески радуясь словесной находке.— В самом деле. Давно заметили?

— Давно,— ответил Хворостин.

— Кстати о внутреннем достоинстве,— Хворостин вдруг рассмеялся негромко,— вспомнил байку о нашем Петре Великом. Шел он по деревянным мосткам какого-то города — не Амстердама ли? — обгонял мальчонку, грызшего яблоко. Ну, мальчонке он в задумчивости дал легонько по шее, тот отлетел, оглянулся и сочно запустил в лицо Петру остатком яблока. Петр вытерся, рассмеялся и добродушно сказал: «Извини, дружок, замечтался, думал, по Москве иду». С детства это должно войти в плоть и кровь, чувство собственного достоинства. По наследству. Мы пока такими не родимся. А те единицы, что делаются... ну, с ними по-разному, но всегда нехорошо и трудно. И не надо быть ни Кассандрой, ни Авелем, чтобы предсказать, как не скоро это будет.

— Авель? Это я не знаю.— Огарев, когда ему было что-то особенно интересно, все большое лицо свое целиком обращал к собеседнику.

— Авель — это был такой монах. Прорицатель. Удивительная фигура. Предсказал с совершенной точностью не только год, но и день и час смерти Екатерины Второй. Года за два до ее смерти. Чисто русская судьба русского пророка. Жил где-то в монастыре. Были видения, написал книжку. Попала она к настоятелю, тот —

передал дальше. Забирают его, естественно, везут силком в Петербург. Там, между прочим, какой-то генерал от ужаса по зубам его бьет. Понять генерала можно: государыня жива и здравствует, а этот смерд сроки предсказывает. Да. Екатерина с ним виделась, расспросила, повелела — в крепость пожизненно. И умерла точнехонько в предсказанное время. Изымают его из цепей, везут к Павлу. Тот расспрашивает. Авель, очевидно, про него из осторожности не говорит. Ну, езжай в монастырь какой хочешь и молись, отче, что цел остался. Авель подается куда-то в монастырь, опять видения, опять пишет книгу. День, час, год смерти Павла. Между прочим, недалекий, как мы знаем. Доносят. Тот свирепеет: в Петропавловку холопа дерзкого! Через год все сбывается. Александр его отпускает: езжай, отче, на Соловки, будут пророчества, пиши, не прогневаюсь. Что вы думаете? Пишет книгу, когда и как именно будет взята французами и сожжена Москва. Тут уж даже добряк Александр не выдержал: на Соловках Авеля оставить, но в монастырской тюрьме, покуда предсказание не исполнится. Десять лет сидит Авель в тюрьме. Москва действительно горит, царь о нем вспоминает: отпустить на все четыре стороны, пригласить, если хочет, в Петербург. Словом, жил он еще долго и точно предсказал время собственной кончины.

— Поразительно! — Огарев откинулся в кресле, сияя, любил услышать что-нибудь неведомое раньше.— Какой-то вариант Нострадамуса.

— Куда там! — Хворостин усмехнулся, покривившись.— Нострадамус жил себе в своей кошмарной Европе шестнадцатого века, и никто даже пальцем его не тронул за предсказания. Нет, это чисто российская судьба, когда тюрьмы не миновать, если заметен. Я бы русскому пророку имя если давал, назвал бы Пострадамусом.

Огарев засмеялся одобрительно.

— Кстати, мне об Авеле этом рассказывал мой полный

тезка, Иван Петрович Липранди, занимательнейший старик. Черный, я бы сказал, талант.

— Тот, что выследил Петрашевского?

Хворостин кивнул утвердительно.

— И академию шпионства предлагал?

— Он. Вы еще не знаете, кстати, что в пятидесятом году он и на вас руку держал, хотел, очевидно, отыграться, если пошла бы карта. Но у вас ничего не было, и он объявил пас,— со смаком произнес Хворостин.— Занимательный старик. Ему — это, кстати, интересно особенно — так же нету хода, как и вам.

— Не понимаю,— чуть нахмурился Огарев.

— Способный весьма и честный, знаете ли, человек,— весело объяснил Хворостин.— А России, и не только России, при любой деспотии не нужны способные служивые люди. Она их извергает всячески. Одних — прямой карой, прямым осаживанием и выживанием, других — непостижимым невезением в судьбе. И лишь со стороны, из такой, как моя, отстраненности видно, что невезение не случайно. Деспотии люди и умы средненькие нужны, а повыше — противопоказаны. И в светлых, кстати, и в черных качествах. Исполнители нужны, очень гибко чувствующие общий тон. Внятно я излагаю, нет?

— Проницательны вы, как Мефистофель,— с искренним одобрением сказал Огарев.

— В этом мало радости,— меланхолически откликнулся Хворостин.— Липранди — личность интереснейшая. Во-первых, эта черная идея со шпионством. Счастье, что и с этой стороны не нужны России способные люди. Но он — служака честнейший, вот что интересно, и отовсюду изгнан. Ну, а что до вас с вашим другом — тут картина и воробью ясная. Вы-то уж никак нам не ко двору.

Он вскочил и мягко заходил по комнате где-то позади кресла. Огарев, чтобы голову неудобно не выворачивать, сел боком и следил за ним исподлобья. Хождение это

вдруг страшно напомнило ему метание взад-вперед по клетке, он даже глаза на мгновение закрыл. А открыл — Хворостин так же легко и изящно присел уже на свое место и, говорить ни на секунду не переставая, разливал кофе.

— Печальную историю вашей жизни обещал я вам — канву вы уже обозначили исчерпывающе — спички тому свидетельством. Решили — быть! — и попробовали — честь вам и хвала — не один, как видите, вариант. Осеклись по разным причинам. Хотя вдуматься если, то всего по одной, батенька: вы никоим образом со своими экспериментами социальными не нужны России вовсе. И осталось у вас теперь три печальных российских чувства, естественных для развитого и с талантом человека: страх, унижение и скука. Страх пояснять не надо, тот второй звонок, что был вам дан пять лет назад, достаточно показал, что в покое вас не оставят. Унижений России не занимать, ассортимент, как духов у француза Шелье на Невском. Для вас конкретно, раз вы пишете, с цензурой, а служили бы — хлебнули и другого. А уж как вас в печати шельмовали бы, только догадываться можно, а у вас наполовину руки связаны. Унижений и других достаточно, их перетерпеть можно было бы. Только скука, батенька, с ней вам ничего не поделать. По себе я это все знаю, хоть таланту и не дал господь. За что я ему дополнительно благодарен. И вот я в свою раковину спрятался, ищу в частном небытии радостей несуществования. Отыщу ли — бог весть? Но разговор-то о вас. Вы быть решили,— значит, надо снова делать выбор. Последний.

И еще одну спичку положил Хворостин торжественно и прямо продолжением того ствола, из которого три-четыре спички вбок торчали, как ветви.

— Уезжать! — громко сказал он.

Огарев сидел, не шелохнувшись, и неподвижно глядел на него.

— Знаю, как это трудно,— мягко сказал Хворостин.— По себе знаю. Я ведь, когда мы встретились тогда в Берлине, хотел уже было не возвращаться. Но не выдержал, как видите. И единственно, чем утешился,— по этому поводу одну идею выдумал. Почему нам, русским, невозможно тяжело за границей.

Огарев засмеялся, с любовью и восхищением глядя на Хворостина засветившимися глазами.

— Может быть, вы внимания не обращали, что все на свете названия народов на русском языке — это имена существительные? Француз, немец, англичанин, испанец, китаец, японец. И один только русский — это имя прилагательное. Потому что мы приложены к России, как дверь у Митрофанушки к дверному проему в «Недоросле», помните, конечно?

Огарев засмеялся в голос, откинув голову на спинку кресла. Хворостин невозмутимо продолжал:

— Оттого, кстати, все попытки сделать нас именем существительным — как это там: «Гром победы, раздавайся, веселися, храбрый росс» — или перевести в слово «россиянин», то есть опять в имя существительное, самостоятельное и независимое от страны,— проваливались. Не прививалась эдакая переделка. Потому что русский — имя прилагательное, и к России мы неразрывно приложены. Оттого и будет вам невозможно, невероятно трудно. Мы в эту страну корнями вросли, мы ее неотъемлемая частица. Согласитесь?

— Интересно,— сказал Огарев, все еще посмеиваясь.— Очень, очень убедительно. Только ведь там и дело найтись может.

— Я эту статью вашего Искандера читал, письмо к друзьям, прощание его,— отмахнулся Хворостин пренебрежительно, и Огарев сразу напрягся, как всегда напрягался, когда о Герцене говорили с осуждением или недо-

статочным уважением. Но Хворостин не обратил на это внимания.

— Он, конечно, пишет превосходно, и перо у него — дай бог всякому. Как это у него, позвольте? Там, где не пропало слово... или нет, другой глагол какой-то...

— Я это письмо читал столько раз, что почти наизусть помню,— сказал негромко Огарев и продолжал, тоном высказывая, что цитирует:

— Где не погибло слово, там и дело еще не погибло. За эту открытую борьбу, за эту речь, за эту гласность — я остаюсь здесь. За нее я отдаю все, я вас отдаю за нее, часть своего достояния, а может, отдам и жизнь...

— Превосходно,— одобрил Хворостин.— И другая мысль превосходна.

— Догадываюсь,— перебил Огарев.— «У вас дома нет почвы, на которой может стоять свободный человек. Можете ли вы после этого звать?.. На борьбу — идем; на глухое мученичество, на бесплодное молчание, на повиновение — ни под каким видом. Требуйте от меня всего, но не требуйте двоедушия». Правильно? Вы об этом?

— Очень это правильно все и великолепно,— сказал Хворостин, выслушав и кивнув,— и я желаю вам искренне успехов на этом поприще, но я только ведь о том говорил, что мы, русские, на Западе корней не пускаем. Корни у нас здесь остаются, как бы там ни было распрекрасно. И, оторванные, болят. Особенно если продолжать, как вы намереваетесь, исключительно опять русскими делами заниматься. Собственно, что я вам рассказываю все это? Вы ведь уже вдоволь поездили.

— Понимаю вас,— вяло откликнулся Огарев. На него быстро нападала слабость, которая — он знал это — часто служила предвестием припадка. Он собирал силы, чтобы сопротивляться, но уплывал, уплывал уже из комнаты этой, и уже шел по лесной тропинке в Старом Акшене, и стволы белели в закатном потемнении легком, и шуршала

под ногами палая сухая листва, и в местах, где солнце пробивалось до земли, вспыхивали оранжевым и багряным крупные отдельные листья. Дунул теплый ветер, и мысль, что он больше этого никогда не увидит, ощутимой была, как молния, пронзившая вдалеке небосвод.

— Что с вами? — закричал Хворостин, вскакивая.

У Огарева глаза закатились глубоко под веки, и обмякшее тело медленно сползло чуть с кресла, потом затвердело и забилось, будто крупные волны проходили от ног к голове. В уголках рта показалась пена.

— Воды! — закричал Хворостин.— Эй, воды! — И в растерянности кинулся к двери, а потом опять к Огареву.

Появилась грузная и величавая Катинька с водой, но, увидев Огарева, быстро и уверенно метнулась к нему летящим, чуть хищным броском, стала на колени, подложила руку ему под голову, а другой, схватив ножик от лимона, разжала ему ручкой ножа зубы. Хворостин застыл, не двигаясь, оцепенело глядя на происходящее. Дрожь утихла так же неожиданно, как началась. Катинька стояла на коленях, крепко прижимая к груди голову Огарева. Глаза его вернулись на место, веки закрылись, почти тут же снова открылись — он смотрел, и видно было, что уже видел. Еще несколько секунд, и, улыбаясь конфузливо, он высвободился из рук Катиньки, оперся о пол и кресло, сел. Выпил воды, громко лязгнули зубы о край фаянсовой кружки. Крупный пот выступил на покрасневшем лбу.

— Спасибо, милая,— сказал он вставшей прислуге.— А откуда ты знаешь, что надо делать?

— Да в деревне у нас был сосед, у него падучая каждый раз на дворе приключалась,— спокойно и участливо ответила Катинька.— Кваску ледяного не желаете?

— Нет, благодарствую.— Огарев засмеялся уже, как прежде.

— А сосед завсегда пил,— сказала женщина и вышла неторопливо, как выплыла.

— Извините, бога ради,— сказал Огарев Хворостину.— Это у меня с детства. А периодичности точной нет, иногда дома застает, как где. Виновата безупречность ваших рассуждений. Уж извините.

— Полноте! — Хворостин все никак не мог прийти в себя.— Да если бы я знал, что могу вас довести до такого...

— После приступа изумительное состояние,— сказал Огарев.— Легко так, словно только что родился и замечательная жизнь впереди. Отдышусь сейчас и поеду домой.

— Я пошлю с вами кого-нибудь или лучше поеду сам? — полувопросительно сказал Хворостин.

— Перестаньте, право, я свыкся с этой болезнью, и тревожит она только тех, кто видит мои приступы со стороны. Между прочим,— засмеялся Огарев негромко,— моя первая жена, ссылаясь на эти нервные приступы, испросила у меня завещание, когда мы впервой уезжали за границу.

— Предусмотрительная женщина,— подтвердил Хворостин, с состраданием глядя на Огарева.

— Ладно,— твердо сказал тот.— На сегодня я уже не собеседник. Только вот одно скажу напоследок: вы во многом, даже, может быть, во всем правы, но жалеть меня не приходится. Я свою судьбу выбираю здраво и с надеждой, а значит, еще России пригожусь. Отчего, быть может, и ностальгия временами будет грызть меньше.

— В вашем отъезде есть еще одно малоприятное, хоть и чисто частное последствие,— очень-очень медленно и спокойно проговорил Хворостин.

— Бросьте, мы будем видеться, я уверен, что мы не разминемся в этой жизни,— быстро ответил Огарев и отвел глаза немного.— Потому что иначе,— он опять твердо смотрел па собеседника,— иначе на страшном суде мы уже не узнаем друг друга и попадем друг другу в сви-

детели обвинения. Мне бы не хотелось этого,— добавил он.

— Мне вас будет не хватать,— сказал Хворостин.— Но ведь и я сам выбрал свою жизнь. Все-таки я провожу вас,— добавил он, вставая, тоном, не допускающим возражения.

— Ну давайте,— согласился вдруг Огарев.

— И поговорим,— сказал Хворостин,— о возможностях и терниях служения отечеству службой.

9

Был еще полон сил и энергии действительный статский советник на пенсии Иван Петрович Липранди и ужасно, страстно хотел быть полезным и служить. Но глухая стена слухов и неприязни окружала его призрачно и неумолимо. Сам он понимал прекрасно, что началось это давно, с того времени, как пренебрег он тем вскользь и неназойливо изложенным мнением сановного посетителя, но все никак представить себе не мог размах всесилия негласных связей и закулисных сговоров-расправ.

Когда гнусные поползли слушки, что Липранди берет взятки, да притом еще огромные, с раскольников крупного полета, он усмехался презрительно, даже до контрмер не снисходя. Да какие же тут взятки, когда все дела, проводившиеся им, поступали потом в судебные инстанции и следствие судебное ни разу не натыкалось на затемненность, или недоказанность, или недостаточность доставленных Липранди сведений.

Настоящая беда подкралась со стороны неожиданной, слухи о злоупотреблениях перекрыв настолько, что уж лучше бы именно они множились и разрастались невозбранно. Никогда бы не подумал Липранди, принимаясь

за новое поручение, что здесь-то и ждет его полное, совершенное крушение судьбы. Началось все это восемь лет тому назад.

Весной сорок восьмого года шеф жандармов и министр внутренних дел, его личный шеф поручили ему выяснение личности некоего Петрашевского, мелкого чиновника, собиравшего у себя сборища по пятницам, а внимание на себя обратившего несколько сомнительной запиской, раздаваемой им в дворянском собрании. С легким сердцем принял Липранди новое поручение. Выяснять — по его было части, да и по вкусу, ибо кто из нас, грешных, не любит то, что хорошо получается. И к исходу года Липранди имел уже ясную картину несомненного общества злоумышленности и подрыва. Он докладывал следственной комиссии подробно и скрупулезно.

«...В большинстве молодых людей очевидно какое-то радикальное ожесточение против существующего порядка вещей, без всяких личных причин, единственно по увлечению мечтательными утопиями, которые господствуют в Западной Европе и до сих пор беспрепятственно проникали к нам путем литературы и даже самого училищного преподавания. Слепо предаваясь этим *утопиям*, они воображают себя призванными переродить всю общественную жизнь, переделать все человечество и готовы быть апостолами и мучениками этого несчастного самообольщения. От таких людей можно всего ожидать. Они не остановились ни на чем, не затруднялись бы ничем, ибо, по их понятиям, они действуют не для себя, а для блага всего рода человеческого, не для настоящей только минуты, а для вечности».

А не кажется ли вам, господин Липранди, а вернее — не замечаете ли вы, что постепенно и неприметно стали прямо противоположны — и враждебны! — тому пылкому тридцатилетнему офицеру Липранди, чьи идеи и помыслы вам во всей чистоте хотелось пронести сквозь

жизнь? Это ведь очень, очень интересно: замечает ли человек полную измену идеалам пламенной своей далекой молодости?

Нет, не замечает Липранди. Вовсе нет. Очень прочно устроен человек в смысле охраны своего внутреннего спокойствия.

Впрочем, и здесь все непросто. Не тупое в нем бурлило полицейское охранительство, а глубокая, искренняя убежденность, что путями взрыва и ломки ничего не добиться доброго, что надо кропотливо строить, никакими средствами не пренебрегая для мирного постепенного устроительства.

Вновь и вновь во всех докладах и мнениях Липранди возникает его главная подспудная тема, породившая тот проект, наверх поданный и канувший безответно: тема необходимости полного познания страны людьми доверенными и распространенными по ее пространствам. Чтобы двигаться, надо знать, что происходит, в чем нуждается и на что уповает страна, а тогда и меры принимать, разумные и обоснованные. В частности, зло нетерпеливцев, умышляющих смуту и противление, изучать надо, а не рубить с размаху и с плеча. Ибо «ныне корень зла состоит в *идеях*, и я полагал, что с *идеями* должно бороться не иначе, как также *идеями*, противупоставляя мечтам истинные и здравые о вещах понятия, изгоняя ложное просвещение — просвещением настоящим, преобращая училищное преподавание и самую литературу в орудие — разбивающее и уничтожающее в прах гибельные мечты нынешнего вольномыслия или лучше сказать сумасбродства».

Да вы утопист, господин Липранди, что же этому противопоставить-то, хоть скажите. А когда нечего, тогда и меры принимаются, вам любезные не очень, только согласитесь, однако, что принятию этих чисто российских мер преизрядно способствовали вы.

Ибо наверх регулярно посылались сообщения о течении дел в созревающем тайном обществе, а на дворе, не забудем, протекал злополучный сорок восьмой год, когда из Франции дул во все концы Европы раскаленный ветер, пронизывающий самодержцев холодом до костей. И уже произнес Николай свою знаменитую фразу, обращенную к офицерам, о том, что во Франции революция и скоро нам седлать коней, господа. Но седлать коней не понадобилось, обошлась своими силами Франция, и бродил по притихшему Парижу тогда еще не эмигрант и не изгнанник Герцен, и тоской сжималось его сердце от того, что видел он вокруг. От того, что идеал его юношеских лет растаптывало сословие решительное и страшное — обыватели, буржуа, мещане.

Словом, затих тот ветер, но на участи ничего не подозревавших пятничных говорунов должен был неминуемо сказаться, ибо на ком-то непременно сказываются страх и смятение самодержцев. Может быть, впрочем, потерпели бы их еще немного, если бы не малая деталь в одном из очередных донесений: появился на собраниях Петрашевского некий гвардейский офицер. Это переполнило чашу. Николай сказал, что пора, ибо они кончат тем, что непременно возмутят гвардию. А никто в России, как он, ныне уже не помнил и не представлял себе так воочию и зримо, как это выглядит на деле, когда гвардия выходит на площадь.

И были они взяты все сразу — пораженные, испуганные, взъерошенные. И заговорил о них весь Петербург. По-разному, но больше с ужасом. Ахнули недоуменно и негодующе в Третьем отделении личной канцелярии его императорского величества: под самым носом голубых мундиров ухитрился в течение года незамеченно выслеживать злоумышленников какой-то полицейский чиновник. Особенно раздосадован был Дубельт, ибо в этом видел личное упущение. А поскольку на собственного шефа

(который в сговоре с министром внутренних дел решил держать это от всех в тайне) злиться и досадовать было не с руки, вся досада пришлась на давнего знакомца, столь коварно молчавшего целый год, хотя виделись чуть не ежедневно. Постарался Дубельт, организуя следственную комиссию, максимально принизить значимость непомерно раздутого скандала, вся вина за который, естественно, падала на кровожадного Липранди. И хотя суд ничего не отверг и вынес приговор жесточайший (дабы самодержец имел возможность проявить неслыханное милосердие), упорные толки именно о Липранди, видящем все на свете с исключительно черной точки зрения, шли и шли. Как-то странно и отчего-то гармонично сплетались разговоры эти с обсуждением непомерных взяток, бравшихся им будто с кого попало. Фигура вырастала страшная, худшая во всей империи. Передавали шутку известного сенатора-острослова, старика, никогда либеральностью не отличавшегося, но теперь жалеющего бедных говорунов. «Слава богу,— будто бы сказал он,— что Липранди этому не доверили пожарное дело. При его способности раздувать и преувеличивать он всемирный бы потоп устроил».

В министерствах тоже были многие недовольны: уличенные сотрудники и на них бросали тень. Зловещим, черным ореолом обрастала личность Липранди, честного службиста, всего-навсего безупречно выполнившего служебное поручение.

Нет, покуда его не травили, но он прекрасно все сам уже почувствовал, хоть вины за собой не признавая, продолжал работать по-прежнему. Все враги его, все недоброжелатели, все обиженные, все недовольные теперь могли его поносить. И, как это всегда бывает в жизни, что беда не ходит в одиночку, подоспело еще одно дело — может быть, последний пробный камень нынешним его на мир воззрениям. Поступил донос из провинции. Сразу

два, вернее, доноса. Один — прямо в Третье отделение, а второй — в Министерство внутренних дел от губернатора той же Пензы. Имена обвинявшихся не были известны Липранди, кроме одного, в доносах главного — дворянского предводителя Тучкова. Это с ним сидел когда-то Липранди в арестантской Генерального штаба, ожидая допросов о причастности к тайному сообществу. Ныне Тучков обвинялся в ста смертных грехах: и в ношении бороды, и в послаблениях крестьянам, и даже в основании коммунистической секты с дозволением внебрачного сожительства собственной дочери с неким безвестным пензенским помещиком Огаревым, ранее уже привлекавшимся. Губернатора Панчулидзева, взяточника и вымогателя с замашками средневекового феодала, Липранди знал хорошо, тем более что именно его место некогда и предлагал ему министр, тоже осведомленный, сколь изрядно рыльце в пушку у пензенского мелкого самодержца. Понимал прекрасно также Липранди, что не случаен и второй донос — от родственника губернатора,— словом, разобрался он легко и быстро. Но Тучков, товарищ той поры... Что бы он сейчас ни делал, что бы ни творил, не Липранди вмешиваться в его жизнь. И потом не хватит ли того, что хлебнул он, связавшись с Петрашевским? А с другой стороны, вот здесь-то, может, и предстоит вероятность обелить себя, показав с блеском, сколь опасно попустительство подобным заговорам? Но Тучков, с которым на «ты»... Ни черта не раскопает здесь Дубельт. Вон и обыск ничего не дал. И, покуда сомневаясь, Липранди уговорил министра отдать распоряжение обыск повторить. Ну конечно же идиоты эти голубые мундиры! У одного из подозреваемых отыскалось сорок запрещенных книг, а у другого — более двадцати. Господи, но Тучков, Тучков! Если бы не он!

И Липранди проклинал и тот день, когда взялся за

дело Петрашевского, и себя за то, что оба раза, когда предлагал ему министр пост губернатора, он отказывался, полагая, что никуда это от него не уйдет.

Однажды в это трудное время вдруг приснился ему кошмарный и до того ощутимый сон, что наутро он решил единственный путь избрать: уехать из России. Исчезнуть ненадолго, месяца на три, куда-нибудь на лечение съездить, спокойствием зарядиться и переждать, пока толки улягутся. А приснилось ему, что мягко перемалывают его огромные жернова и кричит он во всю мощь своих легких, зовет на помощь, но ни единого звука изо рта его не вылетает. Во всяком случае, он не слышит, так что уж тут о других говорить. И проснулся он в холодном поту, от неслышимого будто крика, а в дверях стояла жена, прибежавшая на его, оказывается, страшный и долгий вопль. Тупо болело сердце,— он впервые почувствовал возраст. В тот же день вошел он к министру с просьбой о долгосрочном отпуске и уехал в Карлсбад на воды, в изобилии снабженный крупным пособием на лечение и напутствиями с пожеланием здоровья. А преемник его, за него временно оставшийся, первым делом аккуратно собрал лежащие в шкафу папки, принявшись торопливо и воровато выискивать материал для доноса. Когда Липранди вернулся из Карлсбада, донос о его упущениях лежал на столе у министра. Тот позволил Липранди самому прочитать его. Читать было смешно и мерзко. Чувствовалась явная неопытность при отчетливом злоумышлении. Липранди ответил письменно — обстоятельно и уничтожающе. Министр сказал, что удовлетворен полностью. «Это, конечно, прекрасно, но за клевету наказывают»,— настаивал Липранди. Неужели ложный навет так и сойдет даром клеветнику? Министр увиливал, медлил, явно не желая обострять с кем-то какие-то сложные отношения. А потом, внезапно и неожиданно, пока варился Липранди на медленном огне оскорбления, оставшего-

ся без воздаяния, ушел его министр на другое министерское место. Пришедший вместо него новый нагло поговорил с Липранди («собачье-начальническим» тоном) и уволил Липранди, пренебрегши его опытом и наплевав на всю безупречность. Жаловаться на него в этом великолепно отлаженном государственном механизме означало жаловаться самому министру.

Унизительно-тягостные потянулись годы у Липранди. Пригрел его было прежний министр, хотя жалованье носило характер милостыни, а потом и умер, вовсе осиротив Липранди. Он все еще не чувствовал себя стариком и хотел служить. Никуда его, никуда не брали. Началась война, он и туда попросился,— где, как не в Крымской кампании, сказаться незаурядному его опыту. Но и здесь от услуг его отказались под туманно благовидным предлогом. Выходило, что он не нужен никому.

И еще, что подбавляло масла в огонь уязвленного самолюбия: оставался Липранди по-прежнему мишенью для острот. Передавали, что известный острослов (хоть и разваливающийся старик, а язык по-прежнему, как бритва), услыхав однажды о Липранди, сказал кому-то: «А, это тот Липранди, которого выгнали за избыток усердия?» За такое и на дуэль не вызовешь.

Правда, вспомнили о нем однажды. Было это перед самой коронацией нового самодержца. Разнеслись внезапно темные слухи о смутном будто бы настроении народа в Москве. Готовятся, мол, кричать что-то, выступления собираются учинять с просьбами, жалобами и прочим, что совсем на таком празднике ни к чему. Не готовить ли батареи и картечь? И чего ожидать вообще? Отчего английский и австрийский посланники удалили из своих домов всю русскую прислугу? Чем несвязней и неопределенней были слухи, тем опаснее и достовернее они выглядели. Что-то готовилось к коронации, что-то глухо бродило и созревало.

А на самом деле было вот что. Группа начальствующих охранителей решила, как это часто делается (настолько часто, что и в литературе многократно описано), чтобы повысить свое влияние, закрепить репутацию, имитировать некую клубящуюся опасность, которую они своей бдительностью предотвратят. Тут и вспомнили о старом Липранди. Во-первых, он на все смотрел, как известно, с черной точки, преувеличивая угрозу и значение. Во-вторых, ему ретивость проявить тоже весьма с руки. Ну а главное — кто осмелится утверждать, что ничего нет, если вдруг появится нечто? Успокоителю тогда несдобровать. Так что со всех точек зрения именно Липранди здесь подвести не мог: а то, что ничего на коронации не произойдет, легко объяснилось бы вовремя и замечательно принятыми мерами. Награды, благодарности, репутации.

Липранди поехал в Москву. Промахнулись устроители лишь в одном: слишком честен был Иван Петрович Липранди, заскорузло и безнадежно честен. И никакой государственно-разумной гибкости не проявил, безнадежно и навсегда упуская последний, спасительный шанс. Вздором оказались все слухи, что и донес он исправно и обстоятельно. И всю замечательную паутину, на которой столько качалось сладкого, заветного и позвякивающего, дерзко и глупо порвал старик. И, конечно, прав оказался, спокойно и воодушевленно прошла коронация. Но раньше это вменилось бы в заслугу предусмотрительности, а теперь — не историческую же обстановку в стране награждать орденами и денежными премиями. Плакали-пропали редкостные возможности. Кто виноват? Опять Липранди. Надо сказать, ему потом намекнули, какие ожидания нарушил, но он и ухом не повел. Каменный, устаревший тип.

А как, между прочим, он волновался, беря на себя ответственность полную за все, что могло произойти по

его недосмотру или случайно. Но теперь и это было в прошлом. Долго-долго, безнадежно-безнадежно тянулись пасмурные тоскливые дни.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Десять лет не видели они друг друга. Десять лет. Письма, как бы ни были часты и подробны, никогда не заменяли им общения. Да и что могло заменить ту искру, которая возникала в каждом, когда рядом был другой. Герцен в присутствии Огарева становился умнее, словно разум подстегивался, и грани его ярче сверкали в том спокойном, ровном свете доброжелательства, понимания и созвучия, которым постоянно был изнутри озарен Огарев. И Огарев менялся от близости Герцена. Натали заметила это почти мгновенно, с некоторой ревностью, хотя перемена была явно к лучшему: собраннее, тверже и внутренне интересней стал Огарев. Тот сплав поэтичности и человеческой доброкачественности, которым отличались его речь и вся манера разговора и поведения, стал отчетливее и кристальней. Они так устали оба за первые два часа несвязных вопросов и ответов, объятий, хлопаний по плечу и даже слез, что после обеда отправились спать, конфузливо и насмешливо сославшись на свое стариковство.

Натали осталась посидеть с детьми, изредка недоуменно прислушиваясь к томительному внутреннему беспокойству, будто обещавшему что-то невнятное, но тревожное — перемены куда более значительные, чем ожидали они, едучи сюда. С утра, когда, приехав в Лондон, отправились они по старому адресу в пригород, а там им дали новый, и снова в пригороде, только на противоположном конце города,— все это время к радости и ожи-

данию добавлялся у Натали слабый привкус: предощущение, что жизнь их усложнится.

Откуда это возникло, сказать не могла, обсуждать с Огаревым не хотела, да и неразговорчив он был с утра. И Натали чувствовала — это не то выключенное блаженное молчание, когда созревала и пела в нем очередная строчка. Нет, тягостное, темное молчание висело вокруг хмурого его лица и ушедших в себя открытых и невидящих глаз. Много времени спустя он сказал ей, что и у него в то утро были невеселые мысли и предчувствия не из светлых.

Но потом, когда наконец приехали, и их долго не хотел пускать привратник Герцена (он же повар, мажордом и все прочее), и вдруг сверху, услышав русские голоса, легко сбежал сам Герцен в мягкой домашней курточке, отлегло от сердца у обоих, заменившись суматошной радостью долгожданной встречи. Правда, на время отлегло...

Поздно вечером, когда дети уже спали и ушла гувернантка, они остались втроем. Герцен заговорил горячо и быстро, и ясно стало, как не хватало ему вот этого — выговориться перед близкими людьми. Он то метался по комнате, то грузно усаживался в кресло. Огарев сидел неподвижно и прямо на вертящемся табурете, изредка роняя руки на клавиши открытого фортепиано. Натали со своего дивана у стены изредка взглядывала на Огарева, видя, как отражается на его лице все услышанное. Но больше смотрела она на без умолку говорившего Герцена. Его лицо перекашивалось то гримасой гнева, то усмешкой; казалось, ни одна мышца не оставалась в покое. Глаза, проницательные и мудрые, вспыхивали, светились, тускнели. Пережитое им было поистине мучительно и страшно, хоть и находил он в себе сейчас, по прошествии нескольких лет, силы и шутить и иронизировать. Впрочем, и начал он с шутки.

— Знаешь ли ты,— сказал он Огареву,— что большая доля моих несчастий обязана тебе своим началом?

— Конечно, знаю,— сказал Огарев.— Просто уверен! Только какая именно?

— А рекомендательную записку к Георгу Гервегу, письмо русского поэта к немецкому кто мне прислал в конверте из-под Пензы? — спросил Герцен.

— Ну говори, Саша, говори,— медленно сказал Огарев, не улыбнувшись.— Я ведь отчасти знаю о происшедшем.

Впрочем, Герцен и сам хотел рассказать как можно подробней и полнее историю своей семейной драмы. Рассказ приносит порой облегчение, оттого и бывает человек так счастлив и успокоен после исповеди.

Георг Гервег, немецкий поэт-романтик, писал горячие, возвышенные стихи о величии души, о героизме и силе духа, о справедливости и самоотвержении. Сам же был человеком слабым, мелким и эгоистичным. В личной жизни скорее несчастлив, чем привычно и успокоенно равнодушен. Друзей подлинных никогда не имел, а делил человечество на врагов, дураков и почитателей. К Герцену, однако, привязался всеми силами души. Он даже поселился у Герценов, мечтая пожизненно находиться возле них. Он восторгался каждым словом и всякой шуткой Герцена, уверял его в своей преданности, распинался в незыблемых чувствах привязанности, почитания и любви.

— Кратчайшая к тебе тропинка,— угрюмо заметил Огарев.

Герцен ничуть не обиделся.

— Я был очень одинок,— откликнулся он спокойно.— А после Франции, после расстрелов, которые я слышал, и крови, которую я видел, после того, как понял, что такое озверевший обыватель, мне, брат, так плохо стало, что впору в петлю лезть. И это во Франции, Ник, в Париже! Вы все далеко. И вдруг — живая душа. Он, подлец,

образован донельзя, с удивительной гибкостью ума и суждений. Мы, русские, не умеем так, ты знаешь. У него цивилизация в крови сидит. Впрочем, со всеми ее миазмами. А в общем-то ты, конечно, прав: лесть, восторг, фимиам. Да-а-а...

Герцен снова зашагал по огромному своему кабинету, где они сидели втроем. Голос звучал глухо и хмуро, словно заново переживал он обман, унижение и боль. Видно, время не до конца исцелило его рану, и только теперь почувствовал он, как спадает с его плеч непомерная тяжесть.

Гервег увлекся женой Герцена. А она таких до сих пор не встречала. Наташа привыкла к твердости и покровительству, к мужественной иронии, к сдержанной силе, к уверенному внутреннему спокойствию, что сказывались у Герцена в поступках, словах, повадках и отношениях. Будучи натурой жертвенной, Натали жаждала принести себя в жертву, а Герцен в этом не нуждался. Ей не приходилось сталкиваться со слабостью, капризами, жалобами и поисками сочувствия. Со слезами, кокетством, почти дамскими прихотливыми переменами настроений, взрывами признаний и откровений. И голова ее закружилась: ей казалось, что настал ее час — жертвовать собой. А Герцен находился в смятении, отчужден, мучился крахом былых надежд о западном пути для России, искал приложения силам, работал, стиснув зубы, уезжал, приезжал — ему было не до нее. И непозволительно запустил, просмотрел, как разворачивалось за его спиной обдуманное подлое обольщение.

— Ну просто знакомую, ну любовницу, даже невесту друга,— говорил он задумчиво, глядя на Огарева.— Но завлекать и совращать жену друга — предел низости. Ник, согласись, предел! А ведь он клялся, даже в эти дни клялся мне, подлец, в вечной дружбе до гроба.

Огарев молчал. Но Герцену и не нужен был ответ. Он

продолжал рассказывать, тщательно и безжалостно припоминая подробности. Долгий разговор с женой, ее признание, растерянность, слезы и мучительное, изматывающее влечение, не проходившее, как под гипнозом. А потом объяснение с Гервегом, мелкое и трусливое поведение этого воинственного романтика, цепь подлостей, угрозы самоубийства, теперь кажущиеся смешными. Разрыв с Гервегом, отъезд и новые письма, и новые сплетни и подлости. Пощечина, данная Гервегу другом Герцена, и медленное, очень медленное зарубцовывание сердечной раны.

Внезапно он отвлекался от рассказа об этих тяжких годах и переходил к Вольной русской типографии — гордости своей и предмету новых мучений. Он организовал ее три года назад, вскоре после того, как приехал в Лондон. Ему казалось тогда, что жизнь кончена, что не оправиться уже от ударов судьбы. Он стал черпать силы в воспоминаниях — начал писать книгу, пытаясь спокойно разобраться в пережитом. Это было начало душевного перелома, выхода из отчаяния. Его жизнеутверждающая натура требовала деятельности. Типография стала выходом, приложением сил, бурливших в нем, помогла верить, что не напрасна была юношеская клятва. Организовать ее помогли польские изгнанники. В Париже купили русский шрифт, отлитый некогда для Петербургской академии наук и не выкупленный, нашли помещение, станок, наборщика. Все делалось в складчину. Герцен и сам был в состоянии оплатить все постановочные расходы, но эмигранты с такой радостью приняли участие, что грех отказываться. Он написал к открытию типографии первое воззвание, и поляки взялись отпечатать его и по своим каналам переправить в Россию, чтобы друзья в Москве и Петербурге знали: можно писать, открыты двери вольному слову. Можно издать, наконец, списки запрещенных стихов, у многих хранимые тщательно и любовно. Можно издавать статьи, брошюры, книги. Можно высказаться,

подумать сообща, цензуры более нет! Старый польский изгнанник заплакал, увидев первый оттиск. «Боже мой, боже мой,— сказал он,— до чего я дожил! Вольная русская типография в Лондоне! Сколько дурных воспоминаний стирает с моей души этот клочок бумаги, запачканный голландской сажей!»

И вот здесь-то поджидал его новый и совершенно неожиданный удар: Россия молчала. Ни слова, ни звука не доносилось из Москвы и Петербурга. Страх и рабство слишком глубоко въелись в кровь застольных крикунов, чьи вольномысленные речи звучали по гостиным и кабинетам. Казалось, дайте им гласную трибуну, и они перевернут судьбу Российской империи. Более того, сквозь молчание доносились упреки. Обращение Герцена через печать (где не назывались имена) было расценено как донос, навлекающий на головы его знакомых сугубую опасность. Разразилась Крымская война, а Герцен, видите ли, зовет печататься в Лондоне! И то, что враги его открыто именовали изменой, друзья облекли в куда более изощренную и ядовитую форму. Нельзя было, по их мнению, из естественного чувства патриотизма обсуждать свое отечество, выносить сор из избы и клеймить удушливость родного климата в то время, как идет война. С этим не поспорить, можно только задыхаться от удивления, оскорбления, обиды. Герцен был ошеломлен. Как он вынес все это, как не опустились у него руки, он и сам не понимал. Этот удар в спину от вчерашних единомышленников был тяжелым и неожиданным потрясением. Он писал тогда: «Пусть же будет всему миру известно, что в половине девятнадцатого столетия безумец, веривший и любивший Россию, завел типографию для русских, предложил им печатать даже даром, потерял свои деньги и ничего не напечатал, кроме своих ненужных статей». Герцен отказался от планов сотрудника своего Энгельсона воспользоваться английскими средствами для забра-

сывания в Россию вольных изданий. Унылие, унижение, гнев, растерянность, твердость. Все, отпечатанное им, лежало мертвым грузом — годы лежало! — на книгоиздательском складе, а он продолжал издавать написанное им и упрямо верил, что прав.

— Попреки,— вдруг медленно сказал Огарев, меланхолически ударив по клавише, словно призывая к вниманию,— попреки, что ж, это я, брат, и сам, если хочешь знать, в легкой степени по отношению к тебе испытал.

— Ты? — отрывисто спросил Герцен, круживший по комнате и застывший немедленно.— Ты-то как же?

— Очень ведь естественно это, и тебе отсюда не понять,— ответил Огарев охотно и добродушно.— А подумал бы, каково им в Москве приходится, понял бы их сполна.

Огарев взял аккорд и неторопливо продолжал:

— Тебя одобрить — значило принять участие, откликнуться, послать что есть. А перехватят? На таможне, на почте, где-нибудь по случаю? И прости-прощай вся налаженная жизнь, включая сладчайшее гражданское негодование и скорбь по российским несовершенствам. Тут и подворачивается, оправдывая внутреннее раздражение, мысль спасительная и благостная: а патриотично ли это — вскрывать язвы родной страны в лагере заклятого врага перед его злорадствующими очами? Ну и так далее. Уж если это чувство даже во мне смутно шевелилось, когда я в своей пензенской глуши сидел, то что же говорить о москвичах и петербуржцах? Нельзя на радость иностранцам ворошить наше грязное белье, грех это перед матерью-отчизной. Просто как плюнуть.

— В меня,— сказал Герцен, стоя неподвижно посреди комнаты.

— А не будоражь,— насмешливо кивнул Огарев.— Не напоминай, что рабы, что апатия, лень, безразличие, равнодушие, благополучие, застольное витийство — нас

не тронь, и мы не тронем. А ты тоже — печататься! А если по слогу узнают? Или черновик найдут? А как оказию перехватят? Патриотизма нету в вас, Герцен, любви к отечеству! Врагу на радость вы в военное время посреди вражеской страны мать свою порочить осмеливаетесь. Стыдитесь!

— Это мне понятно,— Герцен мрачно и энергически тряхнул головой.— Умом понятно. Но неужели не ясно: я сражаюсь с Николаем в защиту России.

— А чувство,— продолжал Огарев,— это когда дома живешь и знаешь, что к тебе в любой момент на санках голубой курьер подкатит. Пожалуйте, комиссия собралась, заседать начнет через неделю, а пока мы с обыском. Уж извините, очень интересуемся вашей связью с изгнанником из отечества, государственным преступником Искандером.

— Мерзко это, брат,— угрюмо сказал Герцен.

— Понять — простить,— откликнулся Огарев.

— Это верно: хуже, когда непонятно,— сказал Герцен, вновь мрачнея от воспоминаний. И заговорил о смерти сына Коли и матери. Мать, которую он всю жизнь горячо любил и которой многими чертами был обязан, плыла к ним в Ниццу с Колей и его воспитателем. Мальчик этот, глухонемой от рождения, был всеобщей болью и любовью. В значительной степени из-за него уехали Герцены из России, чтобы если хоть и не вылечить глухоту, то хотя бы научить его понимать других и говорить немного. На родине таких врачей не было.

Уже дом был украшен к их возвращению и корабль причалил, когда приехавший на пристань Герцен узнал, что это другой корабль — подобравший тех немногих, кто уцелел от кораблекрушения. Ни матери, ни сына, ни воспитателя среди спасшихся не было. Ночью мчался Герцен, чтобы разыскать хотя бы их тела. Ходил несколько часов по моргу, перед ним открывали одну за другой

крышки гробов, аккуратно поставленных в ряд, и полицейский комиссар спрашивал, не узнает ли он близких. Но их не было и здесь.

Это был последний удар, который добил Наташу. Они ждали ребенка, она простудилась, начался затяжной плеврит. Как она кашляла! Родился сын, Владимир,— так назвали его в честь их венчального города! Но силы таяли с каждым часом. Она умерла у него на руках, а следом за ней умер новорожденный. Так и похоронили их в одном гробу там, в Ницце, на высокой горе. Словно сама судьба мстила цепью трагедий, раздраженная человеческой самостоятельностью.

Об утратах Герцен рассказывал со спокойствием человека, пережившего их настолько болезненно и глубоко, что видно было: сейчас раны уже не болели, а остались лишь полости и провалы в памяти и в душе. Не болящие, не саднящие — отрезанные. Без всякого перехода говорил о детях, что остались: надо учить родному языку, нельзя доверить воспитание иностранцам. Счастье, что приехала Натали, перед смертью Наташа говорила, что на нее только надеется и уповает. А на Огарева он сам надеялся, своим приездом они вернули ему жизнь.

— Просто вернули жизнь. Спасибо,— сказал он однажды.

Это было сказано посреди разговора, одного из тех бесчисленных, что вели они непрерывно дней пять кряду. Уже не упомнить было, когда что рассказывалось, когда какие планы строились, а когда просто перебирали знакомых, кто в какую сторону переменился. Выходило, что в лучшую — никто. Стремительное гниение охватывает человеческую душу, когда она перестает сопротивляться растлевающему, разлагающему течению затхлой жизни. Что-то новое началось сразу же после смерти Николая, но многих уже и эта перемена погоды не могла вывести из апатии.

Только вот пятый день разговора Огарев запомнил навсегда. Тоже, конечно, не весь день, а лишь конец его, точнее, ночь, глубокую ночь. Усталые, расходились они по своим комнатам. Герцен уже ушел, Огарев еще молча курил и собирался что-то сказать, но сказала его жена, все эти дни и ночи промолчавшая на своем диване:

— Знаешь, Ник, а мне жаль Искандера. Он такой талантливый, сильный — и такой беззащитный в то же время, уязвимый, проницаемый! Правда?

И ушла, не дожидаясь ответа, потому что не сказала ничего особенного, да и, собственно, ничего не спрашивала. Так, поделилась ощущением. А Огарев сидел, как ударенный, не мог двинуться с места, и курил, снова и снова отгоняя неотвязно наплывшее воспоминание. Так сказала однажды ему Марья Львовна после их знакомства с художником Воробьевым.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЗОВУ ЖИВЫХ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Странное дело: Иван Петрович Липранди последнее время начал жадно читать крамольную литературу. Притом стараясь не пропустить ни самой малой новинки. В особенности лондонские издания. Наслаждение, которое он испытывал, объяснялось явственным созвучием его собственных теперешних взглядов на положение дел в России (вовсе не блестящее положение) и взглядов тех безвестных, которые описывали его в деталях. А злорадство он испытывал оттого (старческое, негромкое, чуть конфузливое), что полагал все неприятности и затруднения страны исключительно следствием неприятия его проектов о живительной и всеобъемлющей организации.

Совсем недавно он опять подал наверх две записки, составленные по желанию и частной просьбе двух весьма высоких адресатов: одну — «О состоянии умов в Санкт-Петербурге», вторую — «Об элементах, подготовляющих политические перевороты в государстве». Его благодарили, туманно обещали, что опытность и проницательность его не останутся без применения, после чего опять наступили молчание и пустота. То всеобщее брожение умов, которым заражена была сейчас столица, доносилось до Липранди гулом и рокотом, напоминающим звуки моря, как они чудятся списанному на берег моряку. Но никто, никто не решался взять снова на борт государственной ладьи чело-

века, который единственный, должно быть, сейчас ощущал в себе полную способность разобраться в царящем хаосе. Сперва ему до головокружения страшным показалось созвучие его собственного мировоззрения с тем, что писала эмигрантская печать. Но потом он привык, успокоился, объяснил себе, что созвучие это кажущееся, просто средства оздоровить страну видят они — и отщепенцы и Липранди — почти одинаково. Например, про царствование Николая в «Полярной звезде» очень справедливо писалось: «Окруженный доносчиками, двумя-тремя полициями, он знал всякое либеральное четверостишие, писанное каким-нибудь студентом, всякий неосторожный тост, произнесенный каким-нибудь молодым человеком, но не имел средства узнать истину, добраться до правды во всем остальном». Вполне, вполне справедливо. Даже о количестве бесполезных полиций. Не хватало просто еще одной, и Липранди точно знал, какой именно, чтобы царь все же знал истину. Из того же второго номера «Полярной звезды», из статьи «Русские вопросы», подписанной псевдонимом «Р. Ч.», что означало, должно быть, «Русский человек», он даже выписал для себя понравившийся ему абзац. В статье этой выражалась уверенность, что скоро новый император непременно освободит крестьян. Безымянный «Р. Ч.» писал, что их «нельзя не освободить, не подвергнув государство финансовому разорению, или дикой пугачевщине, или тому и другому разом». А вот дальнейшее, что писалось, чрезвычайно понравилось Липранди:

«Страшно мне за тебя, моя Россия! Юное правительство, как бы ни было благонамеренно, окружено людьми старыми, для которых личные выгоды значат государственный порядок... Да, если за вопрос освобождения возьмутся люди николаевского периода, они решат его скверно, не беспокоясь о последствиях, решат его со свойственным им корыстолюбием, лицемерием и ловкостью квартального надзирателя, в пользу государственных воров —

и только! Для нового вина надо мехи новые: старая истина!»

Безусловно, был согласен с этим Липранди: необходимо, крайне необходимо переменить продажных и трусливых холопов. Что же касается чисто возрастного критерия, то здесь автор просто увлекся, разумеется. Разве в возрасте, в летах дело? Мировоззрение, энергия и преданность службе — вот он, один-единственный настоящий критерий. Действующий пока совершенно наоборот — именно полезным людям заграждающий дорогу к службе. Освобождение крестьян? Разумеется, это назревший вопрос. Только никакой самый глубокий и всесторонний проект не заменит совокупности тех сведений, которые принесли бы наверх, обусловив безупречное созвучие реальности этому проекту, люди, воспитанные по идее Липранди, незримые глаза и уши правительства, до последнего дна проникающие щупальца всеведущей власти. Правильно пишет автор этой лондонской статьи: всюду грабят и воруют нещадно, подкупы и взятки разъедают души и учреждения. А над честными — смеются в глаза, называют их то либералами, то недоумками. Тут, конечно, перегибает автор, он считает, что гласность исправит все это на корню, и чертит пренаивно свои рецепты: «Позвольте наконец честным людям, без опасения заточения и ссылки, изобличать изустно и печатно все административные и служебные мошенничества и всех административных и судебных мошенников». Ах ты, святая простота! Да ведь с ними жить потом! Ну изобличишь, а завтра? Что от тебя останется завтра, изобличитель? Нет и еще раз нет. Изобличать следует непременно, только людям, кои так в безвестности и останутся.

Третий номер «Полярной звезды» Иван Петрович сразу начал читать с продолжения «Русских вопросов». Эхе-хе, явно ведь неглупый человек этот «Р. Ч.», а журнальный писака все же сказывается: бьется и бьется его мысль о

цензуру, будто в ней главное зло. Спору нет, Карфаген этот должен быть разрушен, только разве в нем весь корень и механизм? А теперь начнем с начала книжку, вопиющая и приятная дерзностность которой уже в самой обложке с этими пятью повешенными. Первая же статья — разбор манифеста, выпущенного государем к коронации. Дерзкие эти писаки из Лондона пишут о нем так спокойно, будто разбирают ученическое сочинение: осуждают поначалу литературную тяжеловесность и даже уличают в слабой грамотности высочайший документ. Наглецы! Впрочем, обоснование весьма логичное:

«Мне скажут, что это маловажно. Нет! не маловажно! Это значит, что правительство не умеет найти грамотных людей для редакции своих законов. Это значит, что оно дозволяет писать законы, которые для целого народа должны быть ясны как дважды два — людям, не только не знающим отечественного языка, но даже не имеющим смысла человеческого. Это явление страшное, которое приводит в трепет за будущность, ибо носит на себе печать бездарности».

Чуть ниже вновь согласно дрогнуло больное сердце обиженного Липранди, ибо вновь мягко-мягко вокруг незаживающей его раны прошлось перо эмигранта: «Жалко! Жалко! Неужели и опять Россией будет управлять безграмотная бездарность, смешная для иностранцев и тягостная для отечества?»

Да, да, да — именно: безграмотная бездарность! Кто это написал, интересно?

Липранди заглянул в конец: там вместо подписи стояли тоже лишь буквы, уже не начальные только, а конечное: -ий и твердое окончание какого-то утаенного слова мужского рода. Например... Тут проницательный Липранди спокойно и безошибочно догадался, почему никакой разницы в стиле не ощутил, перейдя от последней статьи сборника к первой. Один и тот же человек их писал. На-

зывающий себя — да, конечно,— называющий себя: русский человек. Отсюда и «Р. Ч.» под последней статьей, и буквы под первой. Однако же негусто у Искандера с авторами, если он разнообразит их только разными видами подписи. Липранди им не обвести вокруг пальца. Впрочем, человек-то дельный. Любая страница — претензии вполне разумны. Вот о пошлине на заграничные паспорта, например: «Если бы правительство положило пошлины на людей, отправляющихся из Вятки в Воронеж,— не правда ли, оно само за себя устыдилось бы? А ведь пошлина на заграничные паспорты ничуть не справедливее и не разумнее». Усмехнувшись — вполне согласен,— Липранди отлистнул несколько страниц назад и засмеялся снова, наткнувшись на точную констатацию: «Мы вообще народ страшно благодарный! Мы так привыкли, что нас душат, что когда на минуту позволят привздохнуть, то уже нам это кажется огромной милостью».

Отсюда Липранди принялся читать все подряд. Прощались в царском манифесте кое-какие недоимки и долги — автор и тут прозорливо отметил, что прощается российскому населению, скорее всего, то, что взыскать невозможно.

Обсуждалась амнистия преступникам различного рода: уголовным была оказана милость большая, политическим — почти ничтожная и почти всегда запоздалая, ибо «когда политический преступник был обвинен, вероятно он уже был не дитя, а после такого долгого наказания правительство может быть уверено, что прощает старика незадолго до смерти».

Здесь словно электрическим током пронизало Ивана Петровича Липранди. Он вскочил с места, скинув подложенную подушку, и взволнованно заходил по кабинету, тяжело припадая на раненную когда-то ногу. А прочитал он суждение о том, что зря и несправедливо не прощены пострадавшие по делу Петрашевского. Дело пустячное,

раздутое специально неким Липранди, некогда членом тайного общества, а затем шпионом. Невеликодушно было не пожалеть жертвы «происков какого-нибудь подслуживающегося шпионишки».

Быстро взяв себя в руки, уняв негодование и ярость и наскоро просмотрев окончание статьи, начатой им в таком благодушии (нет, больше про него не было), Липранди снова сел к столу и после очень короткого раздумья принялся писать письмо в Лондон. Проницательно почуяв, что автор обеих статей — один и тот же человек, даже укороченный псевдоним угадав совершенно точно (Огарев действительно подписывал статьи «Русский человек», до поры не раскрывая своего имени), Липранди, естественно, не мог знать, что спустя семь лет снова столкнулся с человеком, которого чуть было не обрек на каторгу. Потому и обращался он прямо к Герцену, протестуя против того, что прочел в коротком абзаце. Письмо выходило старческое, беззубое и вялое — ничего уже от дуэльной точности и остроты былого Липранди не было и в помине. Объяснял он свое письмо тем, что дети его могут когда-нибудь прочесть эти слова об отце, и потому считал долгом своим объясниться. Во-первых, писал он, вина Петрашевского и его сообщников потому уже не подлежит никакому сомнению, что ее признал высочайше утвержденный суд. «Не принадлежа к числу тех, которые осуждают свободу мысли, я однако же убежден, что даже благонамеренная в сущности цель (хотя бы и ошибочная по последствиям), коль скоро она ищет себе исхода не законным путем и самоотвержением истинного патриота, но тайными дорогами, сопровождаясь возбуждением волнений, недовольства путем преувеличения существующих недостатков; наконец соединяясь с проектом насильственного переворота, весьма редко обходящегося без пролития крови — в государственном смысле есть уже преступление, требующее со стороны пра-

вительства решительных мер по предупреждению страшного зла».

Вы ведь не так думали еще недавно, Иван Петрович? Вспомните, вы не собирались арестовывать этот кружок — вы собирались вдумчиво изучать его. А теперь, оправдывая собственный вчерашний день, вы просто врете, утверждая, что никогда не были членом тайного общества. Ну, зачем же в таком письме? А вот вы начинаете ругать Герцена, обвиняя его в том, что он продался иностранцам, коли смеет, в безопасности сидя, мать-отчизну ругать для ихнего развлечения. Еще недавно вы бы сами над словами таковыми посмеялись. А теперь вот уже просто плохо пахнут ваши слова, ибо здесь вам такт ваш всегдашний изменяет: пишете вы, что вряд ли сам Герцен стал счастливее, бросив родину свою и отдавшись весь злословию, потерявши — за возможность родину обсуждать — все самое дорогое и близкое, что привязывает человека к отечеству. Или вы рассчитываете, что письмо ваше будет напечатано и за преданность вашу, за усердие и верноподданную наивность вам опять предоставят возможность служить?

А если бы вы проникли взглядом в будущее — совсем недалекое — всего на годик, удивительные вы бы увидели вещи и услышали ошеломительные слова. Некий высокий чиновник решает взять вас на службу, подбирая сведущих людей для должности, кою готовится занять и исправлять с блеском. Помощник его мчится к вам в метель и холод. Вы соглашаетесь с радостью, влезаете в огромные расходы, меняя дом, чтобы находиться ближе к новому месту службы, ради полноты присутствия, но чиновник предложение свое не повторяет. Почему? А вот другой — вы ему тоже позарез нужны, и опять он боится вас взять в сотрудники, но при этом прямо формулирует свою трусость: «А что скажет об этом Герцен?» Ибо вы отныне для вольной российской типографии нарицательное имя шпиона. Спустя пол-

года вы это письмо свое дополните новым возмущением. От гнева, от бессилия оправдаться, от лжи (вы напишете, что никогда не подавали проекта о создании тайной полиции) продолжение письма будет еще более жалким. И тогда с отчаяния вы вдруг сами станете — вот ирония судьбы! — корреспондентом и осведомителем вольной русской печати: возьмете да и пошлете в Лондон давнюю и секретную бумагу: ваше мнение о деле Петрашевского. Вам покажется тогда — от одиночества, от бесприютности, от непонимания всего происходящего,— что мнение это обелит вас в глазах российской публики. Но оно вас нисколько не обелит, и вы снова будете влачить — до девяностолетнего возраста, Иван Петрович! — свою странную, запутавшуюся, несостоявшуюся и никому не нужную жизнь. Тяжело и безжалостно порешила наказать вас судьба — а за что, и не разобраться толком.

Но покуда вы только что закончили ваше письмо...

Иван Петрович вздохнул, дописавши страницу, и отложил письмо на время в заветный ящик своего секретера — второй снизу справа, запирающийся на невидимый глазу пружинный замок. Он решил перечитать написанное, поостыв, и тогда только отправлять в Лондон. Бросил взгляд на поднос, где лежала приносимая ему почта (редкая теперь и случайная), и заметил еще один листок, который вытащил из «Полярной звезды», начав ее читать. Это было оповещение о выходе нового издания — прибавочных листов к книжкам «Полярной звезды». Медленно, словно наслаждаясь каждой буквой, смакуя отдельные слова, Липранди читал наглые, распахнутые и бесцеремонные строки:

«Полярная Звезда» выходит слишком редко, мы не имеем средств издавать ее чаще. Между тем события в России несутся быстро, их надобно ловить на лету, обсуживать тотчас. Для этого мы предпринимаем новое повременное издание. Не определяя сроков выхода, мы постараемся

ежемесячно издавать один лист, иногда два, под заглавием «Колокол».

О направлении говорить нечего; оно то же, которое в «Полярной Звезде», то же, которое проходит неизменно черезо всю нашу жизнь. Везде, во всем, всегда быть со стороны воли — против насилия, со стороны разума — против предрассудков, со стороны науки — против изуверства, со стороны развивающихся народов — против отстающих правительств. Таковы общие догматы наши.

В отношении к России, мы хотим страстно, со всею горячностью любви, со всей силой последнего верования,— чтоб с нее спали наконец ненужные старые свивальники, мешающие могучему развитию ее. Для этого мы теперь, как в 1855 году, считаем первым необходимым, неотлагаемым шагом:

Освобождение слова от цензуры!

Освобождение крестьян от помещиков!

Освобождение податного состояния от побоев!

Не ограничиваясь впрочем этими вопросами, «Колокол», посвященный исключительно русским интересам, будет звонить чем бы ни был затронут — нелепым указом или глупым гонением раскольников, воровством сановников или невежеством сената. Смешное и преступное, злонамеренное и невежественное, все идет под «Колокол».

А потому обращаемся ко всем соотечественникам, делящим нашу любовь к России, и просим их не только слушать наш «Колокол», но и самим звонить в него!»

Все это прочитав со внимательностью чрезвычайной, Иван Петрович Липранди сморщился, как от зубной боли, и простонал почти вслух, уставив взгляд в пустую стену под столом:

— Господи! Все это можно было так легко предотвратить! Господи! На все воля твоя.

2

«Колокол» основал Огарев.

Эта констатация Герцена встречается неоднократно и в статьях его, и в частных письмах. Он не уставал повторять, что тот успех, то влияние, которым стал сразу пользоваться в России «Колокол», успех и влияние, до поры все возрастающие, были в большей своей доле заслугой Огарева.

Огарев приехал в Лондон, переполненный всяческими идеями. Он привез с собой несколько годовых комплектов лучших русских журналов последних лет и договорился в конторе «Отечественных записок» о присылке ему свежих номеров журналов, оплатив их надолго вперед. Привез он и целую кипу рукописей, ходивших в Петербурге по рукам, прозу и стихи, некогда не пропущенные цензурой или даже не поступавшие к ней. Герцен давно уже просил о присылке не печатавшихся стихов Пушкина, но почти никто не отозвался на просьбу. Огарев привез стихи декабристов — в Лондоне они немедленно увидели свет,— павшие и сосланные словно вновь возвращались в Россию, дважды миновав ее границу. Привез он множество и собственных стихов — Искандер очень любил их, не случайно такое множество эпиграфов к главам «Былого и дум» — отрывки из стихов Огарева. Главным тогдашним показателем качества и нужности его стихов была их повсеместная распространенность. Их читали, переписывали, передавали, печатали, декламировали, клали на музыку. Они были не столько фактом литературного творчества, сколько благодатным достоянием тогдашнего сознания россиян. Их не просто читали, ими жили. Потому и Герцен так любил стихи своего друга, так хотел печатать их, боясь делать это до его приезда. Надо сказать, что первое время пребывание в Лондоне оказалось для Огарева плодотворным фантастически: несколько поэм и десятки стихов по-

явились в его записных книжках, знаменуя острое поприездное ощущение необходимости собрать и подытожить былую жизнь. Ибо начиналась вторая ее половина, совершенно отличная от первой.

Он привез с собой в Лондон свежее дыхание России, словно часть ее сгущенной атмосферы предрассвета и пробуждения, потому, естественно, именно от него и должна была исходить идея об издании газеты. Быстрой и отзывчивой, держащей руку на пульсе лихорадившей страны. То была лихорадка кризиса, обещавшего начало выздоровления, в чем оба они и собирались принять решительное участие. Крымская война безжалостно разбудила Россию от странного и горячечного сна, от насильственного оцепенения. Не случайно Николай умер в это время. Умер, ибо хотел умереть (а возможно, справедлива и легенда, будто бы принял яд из рук доверенного врача). Ибо именно война показала, что все доклады, рапорты, реляции, отчеты, акты, протоколы и донесения лгали решительно и отчаянно, с полным бесшабашием трусости и наплевательства. Всю свою жизнь самодержец слышал и читал только то, что хотел слышать и читать. Подлинность обнажила война. И она же обнажила и напрягла назревшую уже проблему — именно о ней главным образом и заговорила газета эмигрантов.

Знаменитая, хрестоматийная ныне констатация того, что именно Герцен впервые после декабристов развернул революционную агитацию, сполна относится и к Огареву. Наш герой, привезя в Лондон идею газеты, пристально освещающей российские наболевшие проблемы, возобновил и продолжил замершую было (но совсем не умершую) струю освободительного движения. Революционное слово стало его революционным делом. Стало гражданским смыслом его жизни, оторванной ныне от родины и целиком принадлежащей ей. Революционное слово, революционная мысль, действенные контакты со всеми, кто возобновил и

поддержал дело освобождения России, стали отныне главным содержанием его очень цельного отныне и очень целеустремленного существования. Все, что сделал для России «Колокол», неотрывно связано с именем Огарева. Все, кто участвовал в освободительном движении, прямо или косвенно общались с ним — лично, по газетным статьям, письменно, через друзей и посредников. Единомышленники в главном, эти люди существенно расходились в тактике и деталях, ожесточенно спорили друг с другом, но сходились все их споры и их согласия в «Колоколе» — центральном и не имеющем себе подобных органе русской революционой мысли. Сходились к Герцену и Огареву. А теперь — самое начало вступления нашего героя на открытое революционное поприще.

В первом же номере «Колокола» появились слова, прямо обращенные к правительству. Так никогда еще не звучала русская речь в отечественной печати:

«Пора проснуться! Скоро будет поздно решать вопрос освобождения крепостных мирным путем; мужики решат его по-своему. Реки крови прольются,— и кто будет виноват в этом? Правительство!

Россия настрадается, а на правительство история положит клеймо злонамеренности, или бездарности, в обоих случаях позорное».

И называлась эта заметка непривычно для русского уха — требовательно и прямо: «Что сделано для освобождения крепостных людей?» Констатировалось с осуждением и гневом: ничего.

«Несмотря на все ожидания и надежды, правительство ничего не сделало для освобождения крепостного сословия и не подвинуло ни на шаг решение этого вопроса.

Что же оно делает? Некогда ему, что ли? Или важное занятие формою военных и штатских мундиров до такой степени поглотило государственную мысль, что ни на какое дело не хватает времени? Или правительство довольст-

вуется собственными слезами умиления, чувствуя себя не таким, как правительство Незабвенного, и далее ничего не хочет делать? Или сквозь шум праздников и охотничьих труб псарей оно не умеет расслушать клик народный?..

Или правительство уже такое мертвое, что никакая государственная нужда его не разбудит?.. Стало, оно хвастало своей любовью к России? Стало, оно нас обманывало? Или оно думало, что Россию можно спасти без государственной мысли, а только маленьким добродушием, доходящим до потачки государственным ворам? В таком случае оно только позорится перед светом».

Так впервые была громко прервана холопская российская тишина. В этом же первом номере некто, пожелавший остаться неизвестным под буквами «Р. Ч.» (вскоре это сокращение стало подписью более полной — «Русский человек»), поместил свое письмо к издателю «Колокола». Это неизвестный «Р. Ч.» обсуждал цели и назначение первой вольной русской типографии в Лондоне. Он уже прочитал несколько больших статей, присланных Герцену и напечатанных в удивительно разноголосом, тоже невиданном ранее сборнике «Голоса из России», и благодарил за них, радуясь, что они появились.

Далее автор обсуждал несколько статей и мнений, к печальному и убедительному выводу приходя: рабство покуда еще сидит глубоко внутри в русском человеке, властно и жестко определяя самое его мышление. Раскрепощение сознания, освобождение от своего собственного глубинного рабства, позорно проявляющегося в нетерпимости к чужой мысли,— вот на что вынужден «Колокол» сразу обратить внимание каждого. Как бы демонстрируя взгляд раскованный и свободный, автор письма к издателю, этот самый неизвестный «Р. Ч.» сразу же за письмом предлагал читателю «Колокола» не более и не менее как разбор отчета министра внутренних дел царю! Личный отчет мини-

стра! Да еще тот, на котором государь изволил собственноручно начертать сверху: «Читал с большим любопытством и благодарю в особенности за откровенное изложение всех недостатков, которые с божьей помощью и при общем усердии, надеюсь, с каждым годом будут исправляться».

Полноте, меланхолически замечал разбирающий этот отчет «Р. Ч.»: «Не знаю, на сколько будет божьей помощи, но общего усердия исправлять государственные недостатки от чиновничества ожидать нельзя; это противно его интересам; общее усердие явится только тогда, когда все классы народа будут вызваны к деятельности, к беспрепятственному выражению своего мнения и обсуживанию своих нужд».

Оказывалось, что пустой демагогии и привычной риторики было здесь привычно много,— отмеченная, она и впрямь поражала неделовой суетностью парадного красноречия, тем более что речь шла о только что позорно проигранной войне: «Чиста и непорочна была жертва русских людей, ибо исходила она не из личных расчетов, но из светлого источника любви к отечеству».

А за прелестными словами этими, замечал автор статьи, господин министр, естественно, забывал сказать о гнилом сукне, поставлявшемся на одежду солдат, о том, как босы и голодны были ратники по «нерадению и своекорыстию начальников», о разорении мужиков, насильно лишавшихся лошадей и подвод, о повсеместном чиновничьем грабеже. И добавлял этот спокойный «Р. Ч.»: «Или господин министр не знает всего этого? Ну, тогда он не способен быть министром».

Министр сообщал государю, что из четырех с лишним сотен жалоб только полтора десятка оказались справедливыми. Вполне естественно, комментировал «Р. Ч.»: разве господин министр не знает, что в России «о справедливости жалоб судят те же лица, на которых приносятся жалобы, или лица, живущие с ними заодно?»

От вольности такового подхода волосы должны были шевелиться на голове у непривычного российского читателя. Но поток писем, хлынувших вскоре в Лондон, подтвердил освежающую пользу тона, языка и полной раскованности газеты.

В том же первом номере, сразу вслед за двумя заметками Огарева (имя свое он раскроет несколько позже) шла статья Герцена о путешествии по Европе вдовствующей императрицы. Естественно, что кинулась она вон из России: «Ей было больно видеть либеральное направление нового императора, ее смущал злой умысел амнистии, возмутительная мысль об освобождении крестьян». Самое, однако, важное, ради чего перечислялись в статье развлечения никому уже не интересной вдовы, дважды было названо Герценом — в начале и в конце статьи:

«Снова вдовствующая императрица дала Европе зрелище истинно азиатского бросания денег, истинно варварской роскоши. С гордостью могли видеть верноподданные, что каждый переезд августейшей больной и каждый отдых ее — равняется для России неурожаю, разливу рек и двумтрем пожарам».

Так началась жизнь удивительной, первой и единственной в те поры вольной русской газеты. Выходила она то еженедельно, то ежемесячно и во все годы существования была любимым детищем Герцена и Огарева. А в России — любимым чтением.

Потребность в справедливости и воздаянии — глубинная и очень острая человеческая потребность. Голос справедливости утешает даже в случае, если поздно исправить совершенное зло. А сама возможность пожаловаться и воззвать к воздаянию — целительна для души и разума.

«Колокол» стал для России тем недостающим ей голосом справедливости и совести, который обретает власть и влияние независимо от своего лишь совещательного участия в жизни страны. Одни боялись его насмешек, дру-

гие уповали на него, чувствуя себя куда смелее и даже защищенней, несмотря на дальнее расстояние и подпольное существование газеты. Отсюда и многочисленные анекдоты о влиятельном вмешательстве газеты в самые невероятные области российской жизни.

Один из них сохранился в воспоминаниях знаменитого актера Щепкина, который приехал в Петербург к директору императорских театров просить о выплате московским актерам давно причитавшихся им гонораров. Директор наотрез отказался оплачивать старые счета. Щепкин, выбранный ходатаем от бедной актерской братии, продолжал настаивать. Разговор становился резок. Щепкин пригрозил пожаловаться министру.

— Я предупрежу его,— возразил директор,— и вы получите отказ.

— Я пожалуюсь государю,— сказал Щепкин.

— А я как ваш начальник запрещаю вам делать это! — приказал директор.

— Тогда мне придется обратиться в «Колокол»,— проговорил Щепкин.

— Вы сошли с ума! — вскричал в ужасе директор.— Приходите завтра, поговорим.

Деньги актерам были выплачены.

Это эпизод из мельчайших. До сих пор неприкосновенное, до сих пор вознесенное и защищенное от любого нелицеприятного и независимо трезвого взгляда российское начальство стало вдруг доступно всеобщему обозрению. Странно и дико стали выглядеть эти хозяева российской жизни.

Назначение, отставка и деяния всяческих высоких лиц сопровождались в «Колоколе» не только язвительными комментариями, не только обсуждением их поступков и деталей начальственного бытия, но порою просто отрывками из их речей или отдельными фразами. Часто произносимые слова куда более глубоко говорят о человеке, не-

жели самые обширные их толкования. Так, например, прямо в кавычках давалась речь некоего Муханова. Вот как изволил выразиться этот попечитель просвещения, давая инструкции издателям о том, что дозволено им публиковать: «...можете писать о морском змее: одни ученые говорят, что он существует, а другие, что нет; теперь же недавно его видели близ Ирландии. Можно писать о капитане Франклине, что его ищут между льдами, и привести по этому поводу мнения заграничных газет о вероятности, что его отыщут. Из политики же под рубрикой Франции написать, что тот или другой купец обанкрутился, а тот думает обанкрутиться; из Англии — что тот или другой лорд умер, а тот думает умереть; из Италии — что папа уехал из Рима в Чивиту Веккию и воротился в Рим; из Испании... но ее трогать не следует, ибо там постоянно революции».

Далее сообщались факты, подтверждающие обобщение статьи об этом всевластном духовном попечителе: «Муханов по крайней мере на полстолетия остановил элементарное просвещение народа». Кончалась статья напоминанием о том, что во власти этого человека находится духовная судьба пяти миллионов человек.

Оказывалось, что российское начальство сплошь и рядом занимается взятками и вымогательством, пользуясь высоким местом, запугивая окружающих, торгуя: «Они открыто говорят: дай денег, будешь сыт и спокоен; не дашь — погублю и разорю». (Удивительными словами, кстати, заканчивалось письмо этого неизвестного россиянина: «Примите уверение в чувствах того высокого уважения, которое может только питать рвущийся на свободу раб к человеку свободному и полному энергии».)

Оказывалось, что истинного патриотического такта у хозяев русской жизни, распинающихся при случае в своей любви к России и ее национальной гордости, не более, чем в отъявленных, лишенных достоинства лакеях и холопах

по призванию и природе. В Париже, например, где вся знать собралась однажды на аристократическую свадьбу — на «домашний, русский пир к послу; один иностранец и был приглашен как почетное исключение — Геккерн, убийца Пушкина!»

Многие, столь высокопоставленные, что человеческого лица уже и не рассмотреть в лучах государственного сияния, оказывались людьми мелкими, склонными не только казенное при случае украсть (правда, обворовывать казну в России зазорным не считалось), но и у ближнего своего, если он слабее, что-нибудь оттяпать. Часть земли, дом, неоплаченный вексель, имущество. Но самое главное, все эти мужи света очень часто оказывались смешными. Газета рассказывала столь нелепые случаи из их жизни и деятельности, что рассказы эти граничили с анекдотом. А смех — самая взрывчатая, самая освободительная сила там, где царит глухая чинопочитающая тайна.

Страшная беда меняющейся России, писали издатели газеты, в том, что и посейчас жизнь ее и все перемены решаются теми же самыми зловещими стариками, что решали эту жизнь в гнусную пору Незабвенного. Их бы судить надобно, их деяния описывать необходимо, и в этом состояло бы главное и подлинное духовное и умственное освобождение страны от наследства пагубного и цепкого.

С этим соглашались и многие читатели — авторы газеты. Вот что писал некий анонимный корреспондент: «Люди, на которых лежит кровь ближних и все возможные преступления, еще живы и даже пользуются почетом; нужно, чтобы их знало новое поколение, нужно, чтобы они были заклеймены общим презрением, и лишь тогда, когда Русская публика сделается настолько чувствительна, что одно имя известного негодяя будет везде встречаемо с омерзением, и всякий поступок, напоминающий сколько-нибудь насилие, хотя бы он был облечен и в закон, будет встречаем общим проклятием, тогда лишь пора сказать:

довольно вспоминать о том, что прошло и что с трудом лишь может повториться; Русская публика имеет сама в себе достаточно жизни, чтобы порок был немедленно наказан всеобщим презрением».

И потому безымянный автор этот усмотрел удивительную общественную роль «Колокола»: роль органа всероссийского покаяния. Ибо, ничуть не перекладывая лишь на самую верхушку российского общества ответственность за всю грязь и мерзость, в которых погрязла Россия, признавал он, что все поровну виноваты в зверствах и рабстве, кои друг от друга неотделимы. «Следовательно,— писал он,— нам необходимо перевоспитывать себя самим, и это труд не легкий, при всех препятствиях, положенных для этого правительством... Мы систематически воспитывались все в привычке и любви к насилию, этой оборотной стороне внутреннего и внешнего рабства, а без собственного освобождения каждого в самом себе — и страна свободной не станет». Тут-то он и писал о покаянии, крайне необходимом для того, чтобы «сбросить с себя всю ту грязь, которая искусственно поддерживалась правительствами и которая сделала многих, многих порядочных людей участниками во всевозможных преступлениях».

Что же конкретного предлагал автор? И на чем настаивал?

«Покаяние всегда возможно, и оно начинается с того, что человек, желающий покаяться, получает отвращение и презрение к собственным порокам или порокам других; а потому и нет другого пути обращения, как показывать им беспрестанно в зеркале, как они уродливы».

Этим целям и принялся служить «Колокол» с первого дня своего существования. Это были излюбленные, сокровенные идеи Огарева — идеи о том, что во все поступки властей рано или поздно, однако непременно входит именно то, что записано уже, существует в нравах, душе и разуме развитого слоя народа. Что меняться надо прежде

всего самим. Этим целям и служил «Колокол» с первого до последнего своего номера в течение почти десяти лет. И он принес издателям своим славу, признание и благодарность людей, любящих отечество и пекущихся о будущем его, а также ненависть и гнев темных сил — все то, чего так недоставало Герцену после выхода в свет первых номеров «Полярной звезды».

Так появился в русском государстве — за его историю впервые появился — орган удивительный и небывалый — совесть, вынесенная вовне. Совесть неуязвимая (к счастью), но язвительная и неподкупная. «Незваный гость, докучный собеседник» — только теперь эти пушкинские слова относились не к личной совести одного человека, а к громогласной совести страны. Совести с голосом влиятельным и отчетливым. Совести, неотделимой от разума, отчего и диктующей порой более разумные государственные решения, нежели те, что принимались на месте. Потому и читал газету император, потому читали ее взахлеб самые разные (если не все) государственные деятели, а в комиссиях по разрешению крестьянского вопроса она была официально рекомендована руководством для справок, осведомления и размышлений.

Парадоксальнейшая историческая ситуация! Но... «умом Россию не понять» было сказано именно в те годы.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

В лицее, превратившемся ныне в музей, сохранился в рисовальной комнате рисунок, сделанный соучеником Пушкина, в те поры старательным и чопорным мальчиком Модинькой Корфом. Летит по бумаге вдохновенно вздыбленный конь, и такая сила в нем ощущается, такая

резвость и, главное, такая легкость, что приятно и умилительно смотреть на копыта его, торс, гриву и по ветру стелющийся хвост.

Становится неловко немного, если вдруг вспоминаешь, что в авторе рисунка многое впоследствии было, только это вот отсутствовало: легкость. А ее так хотелось Модесту Андреевичу Корфу. Способностей был он вполне средних, хоть весьма усердный и послушливый. Начал вскоре по окончании лицея служить в знаменитой комиссии — под началом прославленного Сперанского составлял законы Российской империи, попался после на глаза Николаю, двинулся по служебной лестнице и весьма, весьма преуспел. Ибо в это пасмурное и удушливое для многих время сияло яркое и благодетельное солнце — солнце средних и усердных. И, пригревшись под ним, набирая силы, бурно двинулся в рост честолюбивый, нет сравнения, Корф. Достиг он таких высот, что казалось — чего еще желать, а ему все хотелось и хотелось, и он сам не мог бы с точностью сказать, чего именно. А хотелось ему, скорей всего, той полетности, что присутствовала в его детском рисунке, легкости того коня, ибо сам он был не более чем тяжелых тягловых дарований. Прекрасная у него была наследственность (не случайно о своем предке написал он небольшую, проникнутую почтением книгу); Иоганн Альберт Корф, бывший в екатерининское время президентом Академии наук, заметил и благословил молодого Ломоносова. А с чего начинал этот когда-то столь прославленный муж? Корфу все было превосходно известно: с лени, озорства и такого нескрываемого отвращения к учению, что выглядело оно даже не шалопайством, а просто тупоумием. Мучались с ним сменявшиеся учителя, и наконец последний решил объявить отцу о безнадежности обучения отпрыска. Огорченный отец рассердился и сказал, что ничего не остается, как отдать шалопая в военную службу. И взмолился тогда бездельник,

попросил два года отсрочки, чтобы наверстать упущенное, да так «воротил потерянное», что поступил в университет. Кончил курс блестяще, а потом всем известно, как прекрасно успел во многом.

Потому что дарование у него было как раз то шампанское, брызжущее, искрящееся, непонятное, неуловимое, раздражающее, что никаким усердием невосполнимо. Многое отдал бы Корф за дар и легкость. Но увы!

Ох, как он Пушкина не любил за эти вот дар и легкость! И хоть сделал карьеру великолепную (в тридцать четыре года статс-секретарем, после — членом Государственного совета, был директором Публичной библиотеки и в великом множестве комиссий заседал), а хотелось все чего-нибудь орлиного. По его, естественно, представлениям. Например, министерского кресла. Оттого и прозвали при дворе Модеста Корфа «страстным любовником всех министерских портфелей». Ради этого не гнушался ни подсидкою, ни оговором, ни доносом даже (о чем еще впереди речь), но все как-то неудачно и неловко. Было, правда, единожды — в позднем уже возрасте: решил самодержец завести особое министерство цензуры, дабы оно наблюдало за литературой. Выбор пал, естественно, на Корфа, ибо уже имел он большие заслуги по части неукоснительного наблюдения и трезвой приостановки. И уже суммы были выделены, и пора подошла штаты набирать. Но так при этом засуетился немолодой и солидный Корф, что государственные коллеги выразили императору сдержанную свою насмешку, и попечение о новом министерстве было отложено. Корф, надо сказать, к его чести, все почувствовал, как всегда, вовремя, и сам успел попросить уволить его от долгожданного поручения. Ибо, повторяю, был умен чрезвычайно и замечательно. Николай, ум его похвалить желая, выразился однажды, что за многие годы работы ни разу не услышал от Корфа собственного мнения. Очень он Николаю годился.

Но было одно дело, которое Корф проклинал потом до скончания своих успешливых в общем дней (получил все возможные отечественные ордена и графский титул). Он вдруг понял, что в фундаменте незыблемого исторического здания, воздвигнутого императором Николаем, не хватает книги о первом дне блистательного царствования. Несколько злополучном и насыщенном дне. Император сперва было поморщился, но наследнику замысел понравился. Корфа же чутье не подвело, и вскорости проект был одобрен. Корф изготовил книгу в сроки непостижимо короткие, ибо таковой труд выглядел достойным вкладом в безупречное его служение. Основное содержание книги, изданной столь же стремительно в двадцати пяти экземплярах для чтения царствующей семьи и в назидание истории, состояло в панегириках мужеству и блеску монарха, а также в расстановке на соответствующие места тех, кто вышел в тот день на Сенатскую. Декабристы были, по Корфу, «гнусными развратниками, буйными безумцами, негодяями, в числе которых одни напились пьяными для того, чтобы идти на площадь, другие имели замечательно отвратительные лица».

Книга была прочтена и высочайше одобрена. Модест Андреевич приглашен на обед, где похвален, а спустя некоторое время торжествовал второе издание. Третье же (для публики первое) было издано после смерти императора. Корф ожидал лавровых венков от куда более широкого круга читателей, но ответом было молчание. Однако история имела продолжение. Книга попала в Лондон, где два презренных отщепенца не случайно и не зря на обложке своего мерзопакостного периодического сборника водрузили некогда медальон с пятью известными висельниками. Корф не ожидал, признаться, что они ответят так быстро — да еще не статьей, а целой книгой, где один из разделов назывался просто и прямо: «Разбор книги Корфа». Первая же фраза, на которую натыкался глаз, спо-

койно констатировала, что разбираемая книга есть «выражение изумительной бездарности и отвратительного раболепия». Неизвестно в точности, здесь ли именно упал в обморок барон Корф, но известно доподлинно, что при чтении он падал в обморок, звеня орденами, в мундире, который не снимал даже во время послеобеденного отдыха.

Книга, надо сказать, удалась и Герцену и Огареву. Писалась она быстро, на одном негодующем дыхании, и дошла до России великолепно, сотнями экземпляров, доставив огромную радость не только многочисленным россиянам разного возраста и толка, но — что самое, быть может, главное — заслужила счастливое одобрение уцелевших декабристов. Ибо все точно расставляла по местам, хотя мало еще было известно дневников и воспоминаний — они позже стали приходить в Лондон.

Первая вольная типография впервые выпустила на русском языке разнообразные декабристские материалы: воспоминания, дневники, статьи, документы, стихи и прозу, переписку и записи разговоров. Подвижники 14 декабря впервые предстали в своем истинном облике.

Только это все произошло позже, а пока Огареву ввиду отсутствия материалов выпала тяжкая задача. Оттого, может, и не было у книги барона Корфа более внимательного и вдумчивого читателя, чем сорокатрехлетний поэт Огарев, только начинающий в Лондоне деятельность вольного публициста.

Он нашел в книге Корфа неосторожно приведенное автором письмо, позволившее Огареву протянуть чрезвычайно убедительную цепочку доводов для опровержения главной, самой подлой мысли мудрого царедворца: что выступление это — «маскарад распутства, замышляющего преступление» — было случайностью, взрывом мелкой групповой злонамеренности, а не естественным порождением русской истории. Открывало цепочку доводов письмо

Александра I, написанное им очень давно, задолго до вступления на престол, в конце екатерининского царствования. Это было письмо человека, обнаружившего — с ужасом и отвращением! — сколь гнилой аппарат получает он в наследство для управления молчащей Россией. Александр писал стародавнему другу своему Кочубею:

«...Я всякий раз страдаю, когда должен являться на придворную сцену, и кровь портится во мне при виде низостей, совершаемых другими на каждом шагу для получения внешних отличий, не стоящих в моих глазах медного гроша. Я чувствую себя несчастным в обществе таких людей, которых не желал бы иметь у себя и лакеями, а между тем они занимают здесь высшие места. ...В наших делах господствует неимоверный беспорядок, грабят со всех сторон, все части управляются дурно; порядок, кажется, изгнан отовсюду, а империя, несмотря на то, стремится к расширению своих пределов. При таком ходе вещей возможно ли одному человеку управлять государством, а тем более исправить укоренившиеся в нем злоупотребления?..»

Поставив письмо это в фокус внимания читателей, Огарев обращался к Корфу:

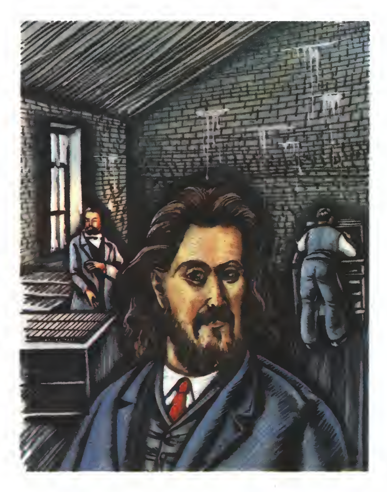
«Как же господин статс-секретарь не понял из этого письма, что желание отречься от престола не было у Александра ни минутным раздражением, ни глупой романической настроенностью? Перед ним стояла фаланга екатерининских временщиков, развратных грабителей; вслед за ними шли любимцы Павла I, те же типы, но уже утратившие даже внешний лоск образованности. Наследуя престол, Александр должен был наследовать и этих людей; иерархия чина навязывала их ему в советники, в исполнители его намерений. Не минутное раздражение, не романическая настроенность влекли его удалиться, а живое отвращение благородного человека от среды грубой и

бесчестной, в которую он, вступая на престол, должен был войти роковым образом».

Огарев писал, что в истории России ясно видны два элемента: общечеловеческий элемент образования в гражданственности и немецко-татарский.

Этим проницательным и точным разделением русских устремлений противостояние на Сенатской площади возводилось в ранг естественного исторического события. Ибо тайное общество декабристов имело корень «в стремлении к развитию в России общечеловеческого элемента, которому мешало пребывание правительства в немецко-татарском направлении. Одна сторона хотела поставить Россию на степень образованного государства, другая хотела низвести ее на степень орды с немецкой бюрократией. Столкновение было неизбежно. Немецко-татарское начало на этот раз победило».

Глухое тридцатилетнее молчание окружало события на Сенатской. Сразу после суда издано было «Донесение следственной комиссии», многообразными путями чернившее декабристов. И вот вершилось возмездие. Сметалась, как шелуха, грязь, налепленная казенной ложью. Сметалась убедительно и легко. «Донесение» утверждало, к примеру, что диктатор восстания Трубецкой растратил собранные членами общества немалые деньги. Тридцать лет висела эта ложь, и никто не смел ее опровергнуть. Огарев это сделал, самого себя спросив — какое доказательство я могу привести в обоснование своим словам? — и самому себе ответив: никакого. Только нравственное убеждение. А какие доказательства приводил автор низкой клеветы? Никаких. Так вот, это ложь и клевета. И достаточно оказалось высокого убеждения, впервые высказанного громко! Огарев спокойно добавлял: «Сказать можно безнаказанно всякую клевету, будучи автором донесения следственной комиссии под особым покровительством государя; только стыдно



прибегать к таким черненьким средствам, чтобы попасть в приказчики к своему барину».

Он напоминал читателю благородные — как по силе духа, так и по мысли — поступки незабытых героев. Сергей Муравьев прямо высказал царю все, что он думает о тягостном положении России. Николай, играющий роль рыцаря, протянул ему руку и предложил помилование — полное, если молодой человек обещает больше ничего не злоумышлять. Но, не раздумывая, наотрез и твердо Муравьев отказался. Он сказал, что восстал против царящего в стране произвола и потому не вправе принять произвольной пощады. И пусть это было легендой, но легенда эта выражала любовь и веру в рыцарское бескорыстие и несгибаемость декабристов.

И доносчиков вспоминал Огарев. Ничуть не подчеркивая и не выделяя, не преминул заметить неслучайность судьбы предателя Шервуда, прозванного при предательском донесении «верным». Награжден был, возвышен, произведен в дворяне, помещен служить в Государственном совете по небольшим своим способностям. Только вот сказалась натура: украл за деньги какие-то документы, и увы, был сослан, хоть и «верный».

Единственное, что в большой работе Огарева выдавало подлинное настроение автора на фоне очень спокойного и сдержанного изложения,— звучные и внезапные пощечины словоблудному царедворцу:

«...Недобросовестность раба всегда гнусна...

...Нравственное и умственное падение...

...Страсть к высокому слогу всегда показывает отсутствие внутренней убежденности и присутствие внутренней пустоты...»

И так далее, неожиданно и полновесно.

Книга, попав в Россию, расходилась тем более широко, что издатели замечательно остроумно выбрали ее размеры и формат: она точно соответствовала книге Корфа, высо-

чайше одобренной. И пошла она гулять по России, радуя затаенное, но бессмертное чувство справедливости, сплошь и рядом аккуратно приплетенная под одну обложку с книгой Корфа. Это могло показаться случайной насмешкой, однако выглядело весьма закономерно. Нечто вроде смутного намека на неминуемость возмездия.

Чуть опомнившись и поостыв, твердо взяв себя в руки и пораскинув умом, Модест Андреевич понял, что возражать ему, собственно говоря, нечего. Потому что главный довод в пользу его книги, который еще так недавно казался ему столь убедительным,— о пользе хоть какого-нибудь описания достопамятного для России дня,— довод этот разлетался как дым. Ведь, привычно уловив движение воздуха, Модест Андреевич полагал вполне искренне, что даже декабристы, едущие сейчас из ссылки, будут ему за его книгу благодарны. Но с чего это он взял, что возможно быть и тем и другим одновременно приятным? Все, что о нем сейчас насмешливо и пренебрежительно писалось в «Колоколе» (вполне, кстати, исправно получала эту мерзость руководимая им Публичная библиотека), никаких не оставляло сомнений в том, как он ошибся. Император, правда, письменно утешил его: не обращайте, дескать, внимания на происки этих крикунов и демагогов, заверяю вас в прежнем моем к вам благоволении. Но Корф утешиться не мог. По ясному мнению лондонских легкомысленных пропагандистов выходило, что уж лучше полное достоинства и гордости умолчание о событиях на Сенатской, нежели та льстивая ложь, которую усмотрели они в книге Корфа. Теперь, надо не надо, поминали они повсюду Корфа, нарекая лживым и лукавым царедворцем.

И вот однажды пришла ему в голову спасительная мысль: некто, думающий глубоко и проницательно, понимающий и людей и обстоятельства, трактующий события мудро и широко, должен встать на его защиту всею силой своего государственного мышления и осведомленности. Че-

ловека такого Модест Андреевич знал, и человеком этим был он сам.

Так в тоске и угнетении духа сделался государственный человек барон Корф корреспондентом вольной печати. Разумеется, он решил скрыться за псевдонимом или ограничиться отсутствием подписи (очень многие именно так писали в Лондон: информация информацией, а голову подставлять ни к чему), но придать всему письму видимость послания лица осведомленного, выступающего в защиту безвинно попранной обаятельно-прекрасной личности. Письмо удалось ему. И писать его было чрезвычайно приятно. Обида, горечь, угнетенность опадали с его измученного сердца. Он скрипел пером упоенно и сладостно, каждым словом переубеждая Лондон:

«Барона Корфа невозможно подводить под один уровень с теми из числа сановников наших, которых вы избираете метою ваших, к сожалению, часто справедливых порицаний. Государственная деятельность его всегда стояла на первом плане, и Россия помянет его не одним благим делом... С изумительною деятельностью и быстротою в работе, с неприкосновенною чистотою правил, с светлым практическим умом, с высшим образованием, он везде и во всем служил сам примером и руководителем для своих подчиненных...»

Здесь он приостановился и сделал в конце страницы сноску о своем образовании — мудрую, проницательную сноску, для него-то мало существенную, но наверняка имеющую значение для того, кто будет читать это письмо, ибо они там в Лондоне чтят безраздельно и не по рангу этого выскочку, которого придется упомянуть. Корф написал, нахмурившись, но себя привычно превозмогая ради пользы задуманного дела:

«Он был воспитан в Царскосельском лицее в самую светлую его эпоху и принадлежал к одному выпуску с Пушкиным». Нате вам, пользуйтесь костью, недоумки, ни-

чего не понимающие в иерархии истинной человеческой значимости. Ну-с, теперь может продолжать пожелавший остаться неизвестным беспристрастный мыслитель, оценивающий по справедливости незаурядную личность барона Корфа.

«В государственном совете, в главном правлении училищ, в опекунском совете — он теперь член всех этих установлений,— как и в разных высших комитетах, часто раздавалась увлекательная и энергическая его речь за правду, за все доброе и полезное, и часто предупреждала она много дурного и нелепого.

Из хаоса библиотеки, называвшейся Публичною, но в существе представлявшей только огромную кладовую без света и без жизни, Корф успел создать такой дом науки, который если еще не первый в мире по своему богатству, то, конечно, первый по своему устройству, и особенно по той либеральности и приветливости, с которой принимаются и удовлетворяются многочисленные его посетители от первого вельможи до крепостного человека, от знатнейшей дамы до повивальной бабки...»

Да зачем это я о библиотеке, подумал он, отрываясь от бумаги, и его длинное, гладкое лицо хмуро сморщилось. К чему это я о библиотеке? Ах да, вот какая была здесь тонкая мысль: на детище это я, то есть Корф, и пожертвовал весь гонорар от злополучной книги. То есть бескорыстие и преданность просвещению вкупе с храмом его. Да-да-да. И нисколько не жаль денег, как удачно совпало. Что же еще следует помянуть из того, что близко этому злобному Искандеру и его приятелю, скорбному пиитумеланхолику, виршеплету не бог весть каких дарований? Куда конь с копытом, черт бы их обоих побрал! Вот еще, пожалуй...

«Наконец, тому же лицу наша литература и наша наука обязаны чрезвычайно верным шагом — уничтожением по его докладу в самые первые месяцы нынешнего царст-

вования тайного, порожденного политическим страхом 1848 года цензурного комитета, который представлял настоящую литературную инквизицию, тем более страшную, что она карала писателей и цензоров, ни у кого не спрашивая ответа и сама ни перед кем и ни за что не отвечая».

Но это же вам, Модест Андреевич, вашему письменному доносу, сохранившемуся в архивах для потомства, и обязан своим созданием этот действительно страшный цензурный комитет. Вы тогда хотели занять министерское кресло, и вот представился удобный случай: министр, ведавший цензурой, пошатнулся. Во Франции революция, в умах брожение, а вы — раз — и донос. В литературе, мол, один бог знает, что делается, а два ведущих журнала вовсе распоясались, чуть не прямой пропагандой заняты. Очень, очень вовремя. Жаль только, что опять мимо. Ввели вас в этот страшный комитет, в значительной мере вашим же доносом основанный и открывший эпоху цензурного террора. До сих пор с содроганием вспоминают о нем историки литературы и журналистики. Комитет обращал внимание на междустрочный смысл сочинений, предполагаемую цель автора (так любого засудить можно), а также приличие и уместность статей вообще. Видным его деятелем были вы, Модест Андреевич.

А вы тем временем самозабвенно выводите слова мифического своего адвоката, словно по сложившейся привычке готовите кому-то важный доклад:

«И одних исчисленных мною действий — многое, быть может, осталось мне еще неизвестным (тут вы, Модест Андреевич, усмехнулись замечательной хитрости своего легчайшего маневра, придающего письму достоверность отстраненного взгляда) — достаточно, чтобы привязать имя этого благородного человека и истинного патриота к нашей административной истории. Свет и движение вперед во всем полезном для отечества были всегдашним его девизом, и, товарищ по школе Пущина и Кюхельбекера,

он, хотя и другими путями, стремился к одинаковой с ними цели. Напрасно же вы его называете «каким-нибудь» и осыпаете насмешками или, прямее сказать, ругательствами. В России они не найдут ни веры, ни отголоска и только разве заподозрят правдивость многих из числа ваших замечаний насчет других лиц».

Тут он, разогнавшись, написал было «занимающих у нас высшие посты», но спохватился и вычеркнул. Ни к чему, достаточно и вскользь выраженного согласия с Лондоном, что сейчас в России сидят наверху сплошь люди, которые не подпускали Модеста Андреевича ни к одному из вожделенных министерских кресел. Коснувшись темы излюбленной и больной, он уже не мог удержаться, тем более что и адвокат его, в нем сейчас вдохновенно рассуждающий, наверняка должен был упомянуть о том, как его, Корфа, обижают:

«Общий голос уже десятки лет призывает его на министерские посты, преимущественно юстиции и народного просвещения. От этого самого, вероятно, и не был он министром при Николае, не любившем слушаться общественного мнения».

Прекрасное и донельзя удобное объяснение, отчего любовник всех министерских портфелей так и не достиг объекта вожделения. А теперь? Отчего он не министр? Происки врагов. И еще честность — честность государственно мыслящего ума. Например, отказался быть членом высшего комитета по крестьянскому вопросу — решалось все круто, а Модест Андреевич не любил заводить лишних врагов. Для отказа предлог нашел мужественный и обтекаемый: «Не находит в себе нужной опытности для помощи святому начинанию, а главное — боится, чтобы его имя, как человека беспоместного, не заподозрило дела в глазах помещиков и тем не повредило успеху». Замечательно тонко написал, одновременно выразив и прогрессивную солидарность святому делу отмены рабства. А враги? Они и

здесь не дремали. Но он зачеркнул написанные второпях строки о том, что враги выставили его поступок в «превратном виде, как бы вроде оппозиции или трусости».

В этом месте своего подложного письма Модест Андреевич вдруг почувствовал, как он смертельно устал изворачиваться, ловчить, кривляться, ставить подножки, хитрить и ползать,- имитируя требуемую крылатость. Вдруг настолько устал, что отложил старательное свое письмо, но поскольку был уверен, что вся жизнь его принадлежит истории, то не стал его уничтожать, а положил в отдельную папку, благодаря чему и сохранилось оно, радуя позднейших читателей чистотой и наивностью выдумки.

И однажды, перебирая свой архив (рвать было жалко — кто б еще такой прекрасный написал о нем некролог), надписал сверху — чтобы не посмеялись пашедшие, узнав его почерк: «Самовосхваление против Герцена. (Оставшееся, разумеется, только в рукописи и еще никому мною не показанное)».

Только ведь вот что странно: незаметно и неожиданно для себя он вдруг переменился. Разумеется, враги его (было их много у государственного мужа Корфа) могли сказать, что просто по-другому пахло в воздухе с самого начала нового царствования и что хитрая чиновная лиса Корф, учуяв это первым, круто повернул от своих позиций десятилетней давности. Вот что, например, написал он теперь о свободе слова и гласности:

«Как в крепостном праве, по вековой к нему привычке, многие видели основание стойкости нашего государственного организма, и мысль об упразднении его возбуждала чувство безотчетного страха; так и цензура глубоко вросла в наши обычаи, и немало людей готовы думать, что ею единственно держится общественный порядок... Понятно, к каким результатам должно приходить учреждение, которое, под предлогом направления умственной деятель-

ности народа, берет на себя покровительствовать одним произведениям мысли и преследовать другие. Из каких бы талантливых личностей это учреждение ни состояло, оно роковым образом впадает в массу ошибок, и история представляет не один пример самого крайнего умственного разврата в обществе при строжайших цензурных преследованиях».

Да, это писал тот самый Корф, который недавно утверждал прямо противоположное. Враги могли здесь видеть приспособленчество и хитрость опытного царедворца, а что, если нам, читатель, взять и увидеть в этой столь приятной перемене искреннее новое мировоззрение? Да притом родившееся под воздействием собственного письма к лондонским злым насмешникам? Бывает ведь, что обращение к совести в самом деле меняет человека. А «Колокол» был в те годы громкоголосой совестью России и влиял, без сомнения, на многих. Прямо ли, исподволь, но влиял.

2

Среди густого потока рукописей серьезных — с мыслями, слезами, гневом, печалью, фактами — очень редко встречались блестки смеха. Герцена это огорчало, ибо он полагал, что мышление подлинно свободного человека непременно должно содержать в себе иронию. И поэтому они с Огаревым целый вечер радостно читали и перечитывали небольшое письмо, пришедшее однажды неведомо от кого по почте (письма такие часто посылали россияне, выехавшие поразвлечься в Европе, да и разные должностные лица по просьбам своих знакомых). Письмо немедленно поместили в «Колоколе». Очень уж точно и зло воспроизводило оно мышление высокого чиновного идиота. Заголовку этой издевательской пародии на очередной служебный проект предшествовало уведомление о том, что

бумаги взяты из портфеля, потерянного курьером по дороге из комитета министров в здание Министерства юстиции. Проект безымянного автора назывался — «Мысли и предположения на случай, если оправдается слух о назначении меня министром иностранных дел».

Автор собирался прежде всего: «Состав всего министерства переменить постепенно, заменяя настоящих чиновников другими, мне известными. Министерству нужны о р у д и я, исполняющие в о л ю министра, покоряющиеся оной беспрекословно во всяком случае. Чиновники, воображающие, что они полезны для службы или н у ж н ы, не могут быть терпимы на службе. Должно искоренять превратные понятия о службе. Престолу и отечеству служат одни министры, все прочие чиновники служат каждый своему непосредственному начальнику».

Далее шли замечания на полях, способствующие скорейшему превращению Министерства иностранных дел в учреждение идеальное для государственных нужд. В частности, следовало:

«Учредить при министерстве с е к р е т н у ю школу для преподавания правил р е д а к ц и и д е п е ш е й, которые должны быть составляемы так, чтобы смысл оных был сокрыт, чтобы они имели вид бессмыслицы, дабы министр имел всегда возможность:

а) Объяснять их по обстоятельствам и по своему усмотрению.

б) Оправдывать кабинет перед другими державами.

в) Подвергать посланников ответственности и удалению от должности».

В ревностной заботе о процветании своего будущего министерства автор издевательского проекта полагал далее необходимым:

«При каждом посольстве иметь достаточное число секретных агентов (шпионов) от одного до двухсот пятидесяти, мужеского и женского пола. В сию должность избирать

людей **самой чистой нравственности** и пользующихся **общим уважением**, преимущественно из высших сановников и аристократического круга, а также из ученых, литераторов и артистов. Нельзя однако ж отрицать, что в **некоторых** случаях могут приносить пользу женщины, снискивающие себе пропитание непотребством».

Было в этом прекрасном проекте, немедленно помещенном в «Колоколе», удивительное сходство с теми прожектами, кои сочинял впоследствии для своих чиновных идиотов Салтыков-Щедрин, только в данном случае автор так и остался неизвестен.

Этот проект-пародию на мышление государственно рассуждающего кретина читать было смешно. А среди сотен публикаций большинство произведений, без преувеличения скажем, вызывали чувство страха.

Ибо в «Колокол» порою попадали документы, фантастические по своей выразительности, само правдоподобие которых могло бы показаться сомнительным, если бы не их подлинность. Ведь до сей поры Россия не знала, в сущности, ни о настоящих радетелях своих и героях, ни о подлецах и растлителях. Не публиковались никогда ни проекты просветления и освобождения страны, ни проекты еще большего порабощения и связывания ее. Между тем и те и другие имелись в изобилии. Один из таковых — ярчайшая картина глубинного мировоззрения одного из высоких хозяев российской жизни. Газета изгнанников, не жалея места, привела его почти целиком, лишь изредка прибегая к пересказу. И нам, для того чтобы понять людей, с которыми сталкивались те, кто действительно хотел переменить российский климат, никак не миновать этот интереснейший и страшный в своей выразительности документ.

Речь идет о записке, составленной неким высоким чиновником, бывшим «членом Совета Министра Внутрен-

них дел, ныне директором департамента Разных Податей и Сборов, тайным советником Федором Переверзевым». Тайный советник Переверзев решительно высказывается в пользу крепостного рабства:

«Идеи о даровании помещичьим крестьянам свободы стали развиваться в России с того времени, когда для наших университетов были выписаны иностранные профессора и иностранцы сами явились для занятия мест домашних и публичных учителей».

«...Русский крестьянин вообще добр, терпелив и послушен тому, кто имеет над ним власть, сметлив, изобретателен и ко всему способен, но только по принуждению, а не по доброй воле. Дайте ему необходимое, и он совсем не будет работать. Беспечность есть его стихия... Величайшее наслаждение в жизни находит в пьянстве...»

И этих людей надо освобождать от крепостной неволи? — вопрошает автор. Да боже упаси и помилуй! Ибо тогда «добрая нравственность... истребится отвлечением поселян от сохи в бродяжничество; бедность, разврат и преступления усилятся, и наше отечество, ныне снабжающее продовольствием другие государства, само будет нуждаться в хлебе».

Кто же содействует, по мнению умиленного этого витии рабства, распространению «преступной идеи о даровании крестьянам свободы»? Философы, разумеется, эти опасные мыслители-болтуны. Кроме них, «мечтательным толкам о свободе крестьян с охотой предаются: а) студенты, б) чиновники, исключенные из службы, в) писаря, г) моты и д) все развратные и порочные, любящие всякого рода беспорядки и надеющиеся извлечь из них пользу». Кроме того, злоумышленники собираются образовывать русских крестьян, а это — пагуба несомненная, ибо «грамотность наших крестьян отклоняет их от сохи и делает их развратными».

Только в лондонской вольной печати можно было про-

читать такое, а такое вразумляет и образовывает: что, как подобному человеку ненароком придется оказаться у власти?

Только в лондонской печати можно было прочитать о кошмарном всероссийском пьянстве, насаждаемом и поощряемом сверху. Приводились факты, когда сами местные власти подавляли инициативу деятелей трезвенного движения.

Только в лондонской газете спокойно и беспристрастно обсуждалась подцензурная российская печать. Сыпались из Лондона отклики и насмешки, когда купленные или запуганные газеты городили вздор или низость. Их ловили за руку, обличали во лжи, подтасовке, в угодничестве или недоумии, распекали со всей едкостью, на которую способно было перо Искандера.

Огарев же в своих статьях пересматривал все разнообразие российского государственного уклада. Он и не подозревал в себе ранее такой усидчивости и способности работать часами, ибо приходилось глубоко вдаваться не только в суть каждой проблемы, но и в ее историю. Кому угодно простили бы недостаточную осведомленность, ошибку, от незнания проистекающую, или близорукость неполного понимания, но только не ему, поэту, осмелившемуся из Лондона громогласно говорить на всю страну о том, что в своих кабинетах, окруженные десятками консультантов, обсуждали государственные сановники. Его статьи читались и незримо участвовали во всем, что меняло облик России.

Сколько он работал тогда! С наслаждением, вникая и упорствуя. Его мнение прочитывалось немедленно — тогда все читали «Колокол», включая самодержца российского. Даже поспешности, заблуждения и скоропалительные чересчур суждения этого самовольного и заочного участника всех высочайше утвержденных комиссий были ценны не менее, чем правильные и глубокие его мысли. Ибо

среди нескольких десятков людей, готовивших все российские реформы той эпохи, он единственный мыслил, как свободный человек, и единственный свободным языком говорил. А ничто, как свободная речь, не стимулирует полноту и глубину мышления — вот почему мнения Огарева веско, хоть и незримо, ложились на столы дискуссий.

И не один в те поры высокий российский чиновник (или университетский профессор) говорил про себя или друзьям: как же счастлив должен быть этот вольный человек! Глубоко и неизбывно счастлив, благополучен и гармоничен. Счастьем творчества и полной жизни.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Было уже семь часов, даже чуть побольше, и ранние осенние сумерки особенно гнетуще чувствовались на этой тесной грязноватой улице, зажатой огромными портовыми пакгаузами. Огарев бродил почти без цели, сворачивая, куда придется. Цель, впрочем, была, если можно только назвать целью то странное ожидание, когда вдруг потянет тебя в случайно распахнувшуюся дверь кабачка или пивной. День сегодня выдался тяжелый и мерзкий. Давление холодного, влажного воздуха усиливало ощущение тяжести на плечах и на сердце.

Утром он читал Герцену очередную часть своей статьи об освобождении крестьян, что шла с продолжением из номера в номер как полемика с проектами государственной комиссии в России. Герцен слушал невнимательно, отводил глаза, задумывался, явно порываясь заговорить о совсем другом, что давно уже наболело у обоих. А потом неискренне похвалил статью. Фальшь, прозвучавшая в его словах, была очевидна и самому Герцену, он замялся, по-

пытался отшутиться, вышло еще хуже, какой-то намек, ясный для обоих, неожиданно прорезался в шутке. Герцен вышел, сказав, что на минуту, просто выскочил, наскоро сославшись на неотвязную головную боль. Огарев посидел мгновение оцепенело, потом схватил, сминая, листочки статьи и выбежал, злясь на себя, что стал читать, не отработав и не доделав до конца. Потому что хуже пощечины была эта лживая похвала. Он-то знал, откуда она взялась у всегда объективного и подшучивающего над ним Искандера. Теперь отношения их, и без того последний месяц натянутые и двусмысленные, заходили в тупик даже в делах по газете и сборникам.

Как развязать этот узел, он не знал. Ситуация делалась невыносимой. Герцена не оставляло чувство вины, оно сквозило в каждом слове и каждом жесте, оно всего его переменило явственно, и внешнее спокойствие Огарева лишь сильней разжигало это чувство. В любом слове, любой просьбе и обсуждении слышался теперь обоим двойной смысл. Огарев съеживался внутренне, собирался весь, натягивался как струна, только бы ничего не выказать, а Герцен нервничал, искал иные слова, и все получалось как нельзя хуже. Разговора по душам, который они попытались было затеять, запершись однажды в кабинете, не получилось, потому что Огарев был спокоен, даже меланхоличен более обычного, а Герцен выходил из себя, плакал, попытался даже обнять Огарева, но тут самообладание изменило Огареву, и он довольно резко отстранился. Больше они не пытались ничего обсуждать. Оба играли в игру, будто ничего не происходило. Но теперь по вечерам Огарев возвращался домой поздно, чтобы ни с кем не встречаться. По делам они ежедневно разговаривали, и окружающие ни о чем не догадывались. Вот только сегодня, когда он читал статью, сорвались оба. Но Огарев не мог отдавать печатать эту часть, не обговорив отдельных мест с фактическим редактором газеты.

...Дверь распахнулась, остро и сильно пахнуло теплом, бифштексами, луком, пивом, дымом и тем смешанным непередаваемым ароматом, который на холоде кажется запахом родного дома. Вышли двое, и Огарев ногой придержал дверь, чтобы не выпимать озябших рук из карманов своего уютного макинтоша.

В кабачке было пусто, тихо, темновато и действительно тепло. Повесив макинтош на потемневшие от времени и копоти оленьи рога, Огарев подошел к стойке, попросил турецкого трубочного табака посуше и только потом оглянулся, где бы сесть. У зашторенного окна сидела над кружкой пива молодая большеглазая женщина — единственная посетительница необитаемого сейчас кабачка. Худощавая шатенка с густыми пышными волосами и миловидным, очень серьезным лицом, чуть примятым усталостью и профессией. Занятия ее сомнений не вызывали. Спокойно уронив руки на стол, сидела она, полуопустив лицо, не глядя по сторонам. Огарев подумал, что ему совершенно не хочется сегодня идти домой. До утра его наверняка не хватятся, а утром будет легче думать, как теперь им всем жить дальше.

— Вы позволите? — спросил он у женщины, подойдя к столику.

Она медленно подняла глаза, улыбнулась и только потом приподняла голову.

— Разумеется.— Ответ ее своей простотой чем-то покоробил Огарева. Женщина эта ничуть не притворялась и ни во что не играла. Такая была у нее работа, и она не пыталась приукрасить ее даже намеком на кокетство или раздумье.

Огарев вернулся к стойке, взял кофейник, две тарелки с бутербродами сомнительной свежести и две большие пузатые чашки. Женщина успела за это время подкрасить губы, и лицо ее стало чуть оживленней, чем минуту назад.

— Может быть, сразу пойдем ко мне? — сказала она полувопросительно и улыбнулась, отчего лицо ее стало еще миловидней и сильнее проступила измятость. — Я живу отсюда в трех шагах.

— Потому вы и сидите в пустом заведении? — спросил Огарев, улыбаясь.

— Просто уже устала сегодня ходить, — снова очень естественно и серьезно ответила она, глядя на него прямо, не опуская глаз.

— Пойдемте, — согласился Огарев охотно. — Я попрошу только, чтобы нам завернули бутерброды.

— Я положу их в сумочку, — предложила женщина. — Меня зовут Мэри.

— Мэри, — повторил Огарев. — Значит, Маша. А меня, очевидно, Ник.

— Почему «очевидно»? — Лицо у нее стало очень серьезным и заинтересованным. — Вы хотите сказать, что я должна вас называть Ник? Пожалуйста, мне это все равно.

— Да нет, нет. — Огарев понял, что она имеет в виду. — Нет, нет, это мое настоящее имя. Просто сокращенное. Меня зовут Николай.

— Вы по выговору не англичанин, — сказала женщина.

— Я из России, — сказал Огарев. — Знаете такую страну?

— Знаю, — ответила она. — Но русских у меня никогда не было.

Спова Огарева покоробила ее откровенность. Женщины этой профессии по негласной этике (а может, и гласной, ведь кто-то их наставлял на первых порах нехитрой психологии ремесла) старались вести себя так, словно каждый клиент если и не первый на их пути, то, во всяком случае, остальные сейчас забыты, словно и не существовали вовсе. Ибо игра в любовь включалась в ритуал для утоления каких-то глубинных, психологических, что ли, требований к женщине. А эта вела себя так, словно и не собиралась иг-

рать в тайну, а раскрывалась спокойно, и ничуть не постыдны были ей ее занятия для добывания куска хлеба.

Прошли они действительно всего два дома, когда женщина свернула под арку, вошла в пространство большого неосвещенного двора и, взяв Огарева за руку («Горячая какая ладонь»,— подумал он с нахлынувшей вдруг нежностью), поднялась на несколько ступенек и через легко открывшуюся дверь, коридорчик и снова дверь — в комнату. Исчезнув из виду на секунду, она зажгла газовый рожок над широкой деревянной кроватью. В комнате стоял небольшой шкаф, а возле стола, придвинутого к окну,— два жестких полукресла. На стене висело большое зеркало, полностью воспроизводя нехитрую обстановку.

— Я сейчас...— с какой-то тревожной поспешностью сказала женщина и юркнула за дверь.

Откуда-то послышались два голоса, неразличимо и быстро бубнящие что-то друг другу. Огарев припомнил вдруг досужие рассказы о том, как лондонские проститутки заманивали к себе денежных клиентов, и те исчезали, чтобы всплыть спустя неделю где-нибудь в канале под мостом. Убивали не сами женщины, а их дружки-сутенеры. Подумав, он поймал себя на том, что страха не было,— что ж, может, это и есть лучший выход из создавшегося положения, кто-то неведомый разрубит сейчас самым простейшим способом гордиев узел. Не о смерти подумал, не о боли, а о грязной воде канала и содрогнулся от омерзения. Впрочем, ведь ощущений уже не будет. Ей-богу, это к лучшему, кажется. И еще подумал вдруг: хорошо бы это не сразу, а после, очень уж миловидная и женственная эта Мэри, и сам засмеялся своей мысли. Страха не было, но не было и целодневной сегодняшней тоски, стало тепло, уютно, радовало, что предвкушение радует. Он достал свою обкуренную пенковую трубку, медленно и вдумчиво набил ее и с наслаждением закурил. Мэри появилась так же неслышно, как выскользнула.

— С кем это вы там? — спросил Огарев.— У вас есть соседи?

— Нет, я живу одна,— уклончиво ответила Мэри и подошла к столу.— Выпьем? — Она обернулась к Огареву.

И он немедленно забыл о вспыхнувших подозрениях, словно их и не было вовсе и не слышал он ничего и знать ни о чем не знал. Он шагнул к ней, и она не повторила предложения выпить, а легко наклонила шею, полуобернувшись, чтобы расстегнул позади пуговицы на ее платье.

А потом он уснул мгновенно, провалившись неведомо куда, и спал без единого сновидения, так же резко пробудившись от исчезнувшей было и ярко вспыхнувшей, больно разбудившей мысли. Вздрогнул всем телом и открыл глаза, не совсем проснувшись. Так же горел рожок, было тихо, женщина, опершись на локоть, смотрела на него внимательно и серьезно. Улыбнувшись навстречу его взгляду, она сказала:

— Вы спите, как ребенок, а дергаетесь во сне, как подросток. Что-нибудь привиделось страшное? Хотите воды? Вам понравилось быть со мной?

Все это она произнесла без запинки, ласково и прямо глядя на Огарева. Он засмеялся и откинулся на спину. Полузабытое ощущение покоя блаженством охватило его.

— Да, понравилось, вы очень хорошая женщина, Мэри,— серьезно ответил он.— Я сейчас, наверное, пойду. Который час?

— Только что было десять,— ответила она, выскальзывая из кровати и быстро надевая платье. Он оценил профессиональную неназойливость. Она вышла, давая ему возможность одеться, минуты через три снова появилась и, скользнув по нему отчужденным взглядом, ловко прибрала постель. Он хотел спросить, сколько должен, но передумал и молча положил на стол заведомо большую плату. Она мельком взглянула на деньги и благодарно улыбнулась. Ее лицо можно было даже назвать красивым, но глав-

пым в нем была миловидность, проявляющая характер и пока не стертая ремеслом.

— Ты сегодня еще будешь выходить? — спросил Огарев.

— Благодаря вам нет,— ответила она очень серьезно.

— А можно, я останусь на ночь? — неожиданно для себя спросил Огарев, и ему очень захотелось остаться.

В глазах женщины мелькнула та же тревога, что и два часа назад, и в ее мгновенном «разумеется» тоже слышалось беспокойство. Огарев молчал. Она секунду помедлила и сказала:

— Вы простите...

— Ник,— подсказал он.— Просто Ник.

— Вы позволите мне покормить сына? Я думала, что вы сразу уйдете, и не дала ему еды. Можно?

Огарев громко засмеялся. Она недоуменно смотрела на него, а он вспомнил свои мысли двухчасовой давности.

— Ведите его сюда,— сказал он весело.— Мы поужинаем втроем.

Все, что промелькнуло на ее лице, наполнило его радостью и чувством силы, мужским, прекрасным, забытым чувством, которое много лет сопутствовало ему и раньше было частым гостем, ибо был он добр и отзывчив, никогда не стыдясь своей отзывчивости и доброты.

Мэри привела плотного, аккуратного мальчика лет пяти, который сказал, что его зовут Генри. Все остальное время он молчал, только очень серьезно и внимательно разглядывал Огарева, когда тот не смотрел на него.

«Он совсем не видит мужчин,— пояснила Мэри.— Здесь, я имею в виду»,— добавила она и вдруг зарделась. Они ужинали втроем, Огарев много говорил и только однажды замолк надолго, вдруг поймав себя на ощущении, что находится в собственной, давным-давно привычной семье. Усилием воли стряхнул он это чувство, как наваждение, и продолжал говорить о чем-то, а Мэри молчала, слушая его то

с улыбкой, то серьезно, и лицо ее было прекрасно.

Потом она увела Генри спать (он обернулся к Огареву, решившись, кажется, что-то спросить, но не осмелился) и очень быстро вернулась обратно, и они еще молча покурили. А потом была глубокая ночь, спать обоим не хотелось. Мэри сидела, легко облокотясь о стену и обняв руками колени, на которые опиралась подбородком, и он почувствовал, что может ее спросить.

— И давно ты уже так, на улице?

— Два года,— ответила она.— У меня сбежал муж. Был и сбежал. Нанялся на какое-то судно и пропал. А у вас, у тебя есть семья?

И Огарев заговорил вдруг о том, о чем ни одной душе в мире ни разу не рассказывал. О том, что мучило его давно и сидело где-то глубоко безвыходной, неизлечимой болью, постоянно напоминая о себе — как осколок пули при любом движении. От затаенности и невысказанности боль эта саднила еще сильней. В каждом самом кратком разговоре с Герценом ситуация эта создавала сложную подоплеку любой фразы, а совместные завтраки, обеды, ужины, прогулки, встречи превращала в пытку. Он рассказывал сейчас, откинувшись на подушку, глядя в несвежий потолок, не переводя глаз, и одна за другой проходили перед ним картины того, о чем впервые говорил он вслух.

Наталья Тучкова, которую он любил до сих пор, с которой прожил семь лет в согласии и понимании, которая бросила ради него любимую семью и страну и столько перенесла с ним, вот уже год как стала женою Герцена. Вскоре после приезда почувствовал Огарев, что сделалась она холодна и отчужденно внимательна с ним, словно все время начеку была, превозмогая в себе что-то тайное. Они тогда все время проводили втроем, особенно дорожа вечерами, когда уходила Мальвида — воспитательница детей, порывавшаяся быть доверенным собеседником и у взрослых. Радостно собирались они в огромном кабинете Герцена,

более похожем на зал. Огарев играл что-нибудь любимое всеми тремя или импровизировал, часто пел или пела и играла Натали, говорили обо всем на свете, читали, спорили. А порой просто сидели: двое на диване, а третий — кто придется — рядом на большой медвежьей шкуре. Часто Герцен касался руки Натали или клал свою руку ей на плечо, даже гладил по голове, говорил, как любит ее и как счастлив, что все они здесь. Но однажды, много месяцев спустя по приезде, Огарев увидел — и почувствовал немедленно и остро,— что на этот раз как-то не так, совсем не так, как обычно, держит руку его жены ближайший друг и что она не отнимает руки. И Натали перехватила его взгляд — недоумевный, тоскливый, прозревающий. Уже с месяц они не были вместе — Натали жаловалась на какое-то недомогание и уходила в свою комнату одна, а в тот день попросила Огарева зайти к ней. Он и сам не понимал, отчего так точно знал, что и как она ему сейчас скажет. Может, оттого, что ему уже один раз говорила это любимая женщина?

Нет, сначала она не плакала. Заплакала чуть позже, билась в истерике, пыталась обнять его за ноги, поцеловать руку, потом ударить. Кричала, что он камень, что он бесчувственный зверь, что пусть он увезет ее отсюда, что она ничего с собой поделать не может. И опять упрекала в каменном равнодушии к ней. А поначалу она очень спокойно, чуть замявшись, но быстро взяв себя в руки, сказала, что должна объясниться. Сказала, что любит Герцена. Любит давно, еще с Италии, куда ее возил отец, где девчонкой она познакомилась с Герценом и его женой. Но тогда она заставила себя забыть нелепую девчоночью влюбленность, и вот теперь она вдруг вспыхнула снова, и ничего ей с собой не поделать. Сказала, что и Герцен ее любит, что он говорил ей об этом, и вот она решила объясниться, потому что дальше так тянуться не может. Она не ищет и не просит оправданий, все происходящее с ней —

гадость, мерзость и измена, но она не любит больше Огарева и считает это нечестным скрывать.

Он слушал ее очень-очень спокойно. Потому еще, что плохо слышал все, что она говорила. Некстати приходили в голову какие-то обрывки их жизни — то деревня и их комната наверху, где стоял огромный рояль, на котором он играл по ночам, то вдруг Крым, русло пересохшей речки, молодая загорелая Натали и колючая зелень в тени под черно-серой скалой.

— Что же, друг Наташа, вы...— спросил он вдруг, ужаснувшись мертво-спокойному своему тону.

— Нет! — перебила она, вспыхнув.— Я не такая, как ты думаешь сейчас обо мне. Я...

— Извини, ради бога,— мягко перебил Огарев.— Ты неправильно меня поняла, я другое собирался спросить... Хоть и не совсем другое,— добавил он, невесело усмехнувшись.— Я спросить собирался только: вы уже объяснились полностью с Сашей? Хотите ли вы жить вместе?

— Да,— сказала она с вызовом.— Мы хотим жить вместе. Я буду воспитывать его детей...

— Но ты и сейчас воспитываешь их отчасти,— зачем-то неловко вставил Огарев.

— Я хочу воспитывать их на правах жены их отца. И я хочу родить собственных детей.

Огарев опустил голову.

— Извини,— сказала Натали и быстро добавила: — Нам ведь неизвестно, по твоей или по моей вине у нас нет детей.

— Конечно же по моей,— твердо возразил Огарев.

— Спасибо за твое неизменное великодушие, но я сбилась, я сейчас говорю о другом. О главном: я люблю его и хочу с ним жить. А тебя я... Я не знаю, что со мной происходит. Огарев, я тебя тоже очень люблю.— И, выговорив это, Натали неудержимо зарыдала.

Огарев молча смотрел куда-то в угол. Истерика разрасталась, он усилием воли держал себя в руках, когда она кинулась к нему, то лепеча несвязное что-то, то внятно выговаривая слова и целые фразы. Он за плечи, чуть не силой усаживал ее на место, наливал успокоительных капель, потом неловко поднимал за руки, когда она кинулась ему в ноги, односложно говорил бесконечное «ну, Наташа, ну успокойся, ну успокойся, мы сейчас поговорим, ну, Наташа» и старался не сделать ни одного движения, даже слегка напоминающего те объятия, которыми он всегда успокаивал ее.

Слезы у нее высохли неожиданно и так же внезапно, как брызнули, только красные глаза с припухшими веками и красный кончик носа напоминали об отошедшей истерике.

«Как, однако, не идет ей плач»,— вдруг мельком подумал Огарев и ужаснулся своему спокойствию. Они сидели некоторое время молча. В комнате было тихо-тихо, издали с улицы донесся чей-то выкрик, и Огарев с ясностью начал снова видеть проплывающие одну за другой картины их совместной жизни. Была Москва, поздний час, только недавно разошлись друзья, и Натали в сиреневом пеньюаре сидела у него на коленях, обняв за шею голыми руками, и, кисточкой от пояса халата поводя по лицу, щекотала. А потом посерьезнела и сказала: «Знаешь, Ник, мне очень не нравится, что ты настолько старше меня, потому что ты умрешь, а я без тебя не буду жить ни единой секунды, и выходит, что я из-за тебя проживу слишком мало». А он смеялся, остро ощущая, что счастлив и, конечно, бессмертен.

— Ты бесчувственный и равнодушный,— раздраженно сказала Натали, прерывая длительную тишину.— Ты просто сам меня ничуть не любишь и в глубине души рад, что отвязался от меня и свободен. Я вижу тебя насквозь.

— Давай, друг Наташа, договоримся таким образом,— очень спокойно сказал Огарев, по-прежнему глядя в угол и пощипывая рукой бороду. Он помедлил.— Да, давай именно так и договоримся. Я не очень-то уверен, что нашу с тобой жизнь можно еще склеить. Но я так же не очень уверен, что с Герценом у вас все будет хорошо, а главное — что влечение ваше друг к другу не случайно и прочно.

— Как ты черство и безразлично говоришь,— желчно выговорила Натали.— Откуда в тебе, поэте, столько холода и рассудительности?

— Не злись, Наташенька, я просто очень огорошен... Я-то ведь люблю тебя, как любил,— мягко сказал Огарев. Тут опять мгновенно полились слезы, но он уже взял себя в руки окончательно. Тоном тусклым, вялым и бесцветным он договорил все, что хотел сказать: — Так вот, относительно дальнейшего. Выполнить все, что ты наговорила сейчас, невозможно по несовместимости. Я перечислю по порядку твои идеи и просьбы. Восстановление наше вряд ли возможно, но мы еще поговорим и об этом. Ты предложила на выбор: убить тебя, отправить к отцу в Россию или сдать в сумасшедший дом. Впрочем, и тюрьма предлагалась. Это мы обсуждать не будем. Остается единственное, и здесь у меня к тебе просьба.

Теперь они оба сидели прямо, неподвижно глядя друг на друга. Размеренно, будто к обоим не относясь, звучали слова Огарева.

— Просьба очень простая, и просить я могу об этом тебя одну. Подождите. Проверьте ваши чувства. Я не препятствую, не скандалю, не проклинаю. Ты знаешь мои взгляды на эмансипацию женщины. И я не изменю их, даже если они коснулись моей собственной семейной жизни. Ты свободна. Но Александр — человек увлечения, о себе ты все знаешь сама. Подождать и подумать — вот единственное, о чем я прошу сегодня. И прости, я теперь

уйду. Нет, нет, нет, не давай мне обещаний, я вовсе не хочу тебя связывать. Это просьба. И спасибо, что ты сказала мне все.

Он ушел, она не шелохнулась. Странная воцарилась в доме обстановка, странно и неловко строились их отношения. Герцен пытался поговорить с Огаревым, но тот твердо отказался что-либо обсуждать, проговорил что-то не очень внятное: неужели из-за личных трудностей замедлим, задержим наше главное общее дело — Вольную печать?

А потом взяли свое живые чувства, сказался темперамент обоих, и Огарев видел, как это происходило, и молчал, и старался не замечать то неестественного оживления, то сумрачности бывшей своей жены, не хотел видеть и собачьей виноватости в насмешливых всегда и живых глазах единственного друга. Снова Герцен пытался поговорить с ним и заплакал, когда Огарев отказался, и тогда Огарев очень твердо сказал ему, что клянется всем самым дорогим на свете, что ни в чем его не винит. А три двери в три их комнаты были по-прежнему наверху рядом, и он слышал, иногда помимо желания, как две из них открывались и закрывались.

Все это он рассказывал сейчас, глядя в несвежий потолок, и ему было хорошо от возможности рассказать это кому-то впервые.

— Бедный,— сказала вдруг Мэри и всей ладонью, поглаживая, как ребенка, провела рукой по его виску, глазу и щеке. И больше ничего она не сказала, а возможно, и сказала что-то, но он уже спал, крепко прижимаясь щекой к ее задержавшейся ладони.

Утром он проснулся другим и ощутил это, едва раскрыл глаза и осознал, где находится. Куда-то невозвратно ушла тяжесть последних месяцев. Он зажмурился, чтобы снова ощутить сполна вернувшееся чувство жизни. Услышал легкий смех и посмотрел: Мэри сидела за столом,

смотрела на него и негромко, затаенно смеялась. Он еще не слышал ее смеха, и сейчас ему очень понравились его глуховатые переливы.

— Вы жмуритесь, как бородатый котенок,— сказала она.— Я сейчас подам кофе.— И вышла, немедленно возвратившись с кофейником и двумя чашками.

— Через три минуты, ладно? — спросил Огарев, и она послушно выскользнула.

Он сидел за столом задумчиво и молчаливо, и она тоже молчала, с каждой минутой обретая настороженную отчужденность. Он заметил это не сразу, но, заметив, понял ее покорную готовность с минуты на минуту распроститься с ним навсегда, ничего не спрашивая и перечеркнув вчерашнее. Мало ли что может наговорить случайный клиент, потому и раскрывшийся ненароком, что случайный. Он усмехнулся несложной своей проницательности и спросил:

— Скажи мне, Мэри, сколько ты зарабатываешь за неделю?

Она молча показала подбородком на его деньги, еще лежавшие с вечера на столе.

— Всего-то? — переспросил Огарев.

Она пожала плечами так же молча и улыбнулась слабой улыбкой. Уже ничто не напоминало в ней ни утреннего оживления, ни вечерней благодарной распахнутости.

— А где же Генри, почему он не завтракает с нами? — спросил Огарев, впрочем, все сам отлично понимая.

Но она покорно объяснила:

— Ни к чему это ему, потом будет спрашивать, куда вы исчезли.

— Вот что я попрошу тебя, дружок,— сказал Огарев, сам себя слушая с радостью, ибо говорил как нечто давно решенное и твердое то, что вовсе не обдумывал и не проговаривал про себя.— Позови-ка сейчас сюда Генри, а

будет спрашивать, скажешь, что я приду послезавтра. Впрочем, это я сам ему скажу. Я буду тебе каждую неделю давать эту сумму, даже большую, но с условием, что ты на улицу не пойдешь. Хочешь так? Договорились? Почему ты не отвечаешь?

Лицо ее на глазах оживало и светлело. Слез не было, но и произнести она ничего не могла. Много позже она призналась Огареву, что почему-то все утро, пока он не проснулся, сама не понимая отчего, ожидала этого.

— Пожалуйста,— наконец сказала она.— Пожалуйста, Ник, не обманите меня, если сможете.

В типографии, куда он поехал, не заезжая домой, все стояли возле стола, за которым сидел, важно рассказывая что-то, их друг и компаньон по типографии Тхоржевский. Увидев его, радостно вскинулись навстречу: уже приезжал Герцен. Был взволнован, бледен и, куда-то торопясь, снова кинулся его искать.

— Мне показалось,— сказал ему Тхоржевский,— что Герцен почему-то боится, что вы утонули. Что это он так? Вы подавали основание?

— Бог с вами,— улыбаясь, сказал Огарев.— Бог с вами. Как можно даже подумать об этой грязной и вонючей воде, когда в России тебя ждет замечательно намыленная веревка?

— Поберегите себя, пан Огарев,— сказал очень серьезно Тхоржевский.— Вы ведь даже сами не знаете, как вы нам здесь всем нужны.

— Это на самом деле такое счастье, пан Тхоржевский,— так же серьезно ответил ему Огарев,— когда знаешь, что кому-то очень нужен, такое счастье, что словами все равно не выразишь.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Есть в течении человеческих жизней связи более странные, чем обычное переплетение судеб. Это особенно становится заметно, когда скрещиваются судьбы сразу многих людей, объединяясь временем, событием и пространством, и не знаешь, кого избрать, чтобы рельефней стало главное. Тут обычно и проступают наружу эти непостижимые связи. Психологи, препарируя век от века глубже и тоньше, назовут, быть может, явление это принципом или законом дополнительности. Ибо не по контрасту и не по созвучию, не по сходным чертам или поступкам, а также не по диаметральности их, но часто неясно почему судьба и облик одного человека проступают ярче и яспей рядом с обликом и судьбой другого. Именно этого конкретного другого, а не второго, третьего, случайного. И никак не сформулируешь почему, но жизнь и образ Огарева, к примеру, дополняются не столько Герценом (несмотря на хрестоматийную их неразрывность, а может быть, как раз из-за нее), сколько неким третьим, забытым уже почти, очень краткое время прожившим с ними, и вообще прожившим очень мало,— странным человеком Василием Кельсиевым.

Уже было несколько за тридцать и Герцену и Огареву в тот год, когда десятилетний Василий Кельсиев, сын третьеразрядного таможенного чиновника, поступил в коммерческое училище, предвещавшее ему отцовскую стезю. Для обоих друзей это было крутое время: окрепло мировоззрение, и разлад с неразлучными приятелями вдребезги разносил их кружок. Никогда раньше споры у них не переходили в ссоры и размолвки, а теперь отчетливо становилось ясно, что не всем по пути, что близость была лишь временной идиллией, порожденной молодостью,

талантом и терпимостью. Лишь недоумевать оставалось, почему один порывает с друзьями из-за разности взглядов на загробную жизнь, другой — из-за сочного слова в присутствии его жены, третий — просто уплывает куда-то, и неясно, куда его несет течение, ясно лишь — в сторону. Еще более стало тогда очевидно и Александру и Нику — что они вдвоем навсегда, а то, что разно искали пути, ничуть их не разъединяло.

Василий Кельсиев годы своей учебы провел не без пользы для разума и души. И успехам его, чисто академическим, не мешало ничуть пристрастие к одиноким долгим прогулкам по огромному старинному парку, окружавшему коммерческое училище. Был Кельсиев яростным мечтателем, и запущенный парк немало тому способствовал. Ощущая в себе силы и жажду для великих, небывалых свершений, он еще не решил, что именно выберет себе как почву, чтобы удивить человечество. Потому и гулял он в парке.

В четвертом классе обучаясь, узнал он вдруг — говорили об этом шепотом и украдкой,— что какие-то люди арестованы в Петербурге. Настоящий заговор, настоящее тайное общество. Чего они хотели — неизвестно, но, скорее всего, свергнуть царя. Петрашевский — фамилия главаря. Собирался учинить бунт. И вот уже Василий Кельсиев в воображении был ближайшим другом Петрашевского, и они, надвинув на глаза шляпы, пробирались куда-то ночью на лодках по холодной Неве, чтобы в подвале древнего дома принять клятву верности от сподвижников и всем вместе расписаться кровью на черепе неизвестного покойника.

Вырос — и не оставили его мечты. Только теперь они начали носить куда более реальный характер, да и сам Кельсиев относился к ним серьезней. Например, он теперь воочию видел, как едет с караваном лошадей и верблюдов по глубинам неизведанного Китая и привозит в

Европу новости небывалые и ошеломительные: о тайных нравах и обычаях, о сокровищах и медицинских секретах. И настолько ему было ясно, что уж эта-то мечта может обернуться явью, что он принялся учить китайский язык, всерьез готовясь к путешествию. И, надо сказать, преуспел: когда, окончив училище, поступил в университет на филологический факультет, очень прилично уже владел китайским. Теперь дело было за тем, чтобы мечта сохранила свое обаяние. Но Василий Кельсиев уже не собирался становиться великим путешественником. Впрочем, языки продолжал изучать. И кормили его переводы с немецкого и с английского, которые делал он по заказу Российско-Американской торговой компании.

Началась Крымская война, и Кельсиев загорелся войной. Теперь или никогда! Но оказалось, что вольноопределяющихся приказано до поры держать в резерве, и он немедленно остыл и прошения подавать не стал. В это время он увлекался славянской филологией — можно было (и нужно было!) так преобразовать языки, чтобы все славяне легко понимали друг друга. Но здесь остыл он еще быстрее, когда понял, что язык недоступен кавалерийской атаке, что растет он естественно и меняется лишь с веками. Очень хорошо, и не надо! Забросив почти совсем занятия в университете, Кельсиев увлекается расцветающим только-только естествознанием. И снова быстро остыл, зато познакомился с ранее неведомыми ему людьми непонятных воззрений. Они верили, что именно успехи естествознания выведут Россию из рабства и духовного застоя. Оттого способные люди валом валили в естествознание, и господствовали среди них крайне освободительные, радикальные до нигилизма идеи. Ими Василий Кельсиев пропитался быстро. Между тем торговая компания, для которой он делал переводы, предложила ему поехать служащим на Аляску. Чтобы добраться туда, предстояло пройти Тихий и Атлантический океаны и, обогнув Аме-

рику с юга, вновь подняться до ее северных широт. А потом наречия полудиких северных народов, их обычаи и нравы, их предания и шаманские чудеса — это стоило всех маньчжурских, и китайских, и монгольских чудес. Он опишет их, изучит, проникнет вглубь, станет первым, кто откроет европейской цивилизации то, от чего она надменно отворачивается. Он согласился, взял деньги и выехал — кстати, уже с женой и ребенком. Жена в дороге заболела, у компании удалось испросить отпуск, и при первом же промедлении, как не раз уже бывало с Кельсиевым, он стремительно остыл, вдруг с запозданием сообразив, что едет он не вольным путешественником, а вполне заурядным подчиненным — старшим помощником колониального бухгалтера. Так что покуда он застрял в Англии — без гроша и с больной женой. Вскоре заболел и ребенок. Хотя Кельсиеву этой весной пятьдесят девятого года было уже двадцать четыре, в главном он ничуть не переменился. По-прежнему готов был вспыхнуть, сгореть, жизнь положить не колеблясь, но за что-то крупное и высокое, что сразу бы поставило его вровень с теми людьми истории, коих он считал себе ровней по способностям, изнутри распиравшим его. Так он жил, неистовствуя и терзаясь, а жена, однажды безраздельно и навсегда поверившая в него, безропотно и усердно справлялась с невыносимой нуждой, забывая о своих болезнях и горестях.

Для вольной русской книгопечатни это время было зенитом успеха. Ежедневно приходили десятки писем-сообщений, писем-благодарностей.

«Вы сила, вы власть в России», — писал издателям давний знакомый, требуя от них именно на этом основании осмотрительности и узости линии. Другие на том же основании требовали решительности и диктата, советов и рекомендаций, как поступать тысячам молодых людей, готовым на любое действие, если его продиктует «Колокол».

Но из Лондона не только ничего не навязывали и не рекомендовали, а наоборот — подчеркивали во всех статьях, что они лишь орган русского голоса, полузадушенного дома, русской мысли, дома почти безгласной, и потому ничего не советуют и не навязывают, предоставляя площадку всем, кто хочет и может принять участие в обсуждении русских дел. Валом валили посетители — большинство, чтобы просто пожать руку и выразить восхищение. Да к тому же домой в то время просто стыдно было возвратиться, если Герцена в Лондоне не повидал. Даже в одном из справочников дом его был занесен в список столичных достопримечательностей Англии. «Колоколом» чиновники пугали друг друга. «Колокол» читали при дворе. «Колокол» использовала как справочник комиссия по крестьянскому вопросу. «Колокол» покупался и продавался втридорога. Тем, как провезли пачку «Колокола», хвастались на вечерних пирушках возвратившиеся домой россияне всех сословий и состояний. Им зачитывались студенты как в обеих столицах, так и в провинции. Попадал он в гимназии и семинарии. Дружеские и родственные семьи обменивались им, как моднейшим романом. И даже то, что за чтение и распространение «Колокола» некоторые подверглись репрессиям, ничего не могло изменить.

Однажды утром Кельсиев подумал, что ведь он может писать! Многим это недоступно по убогости и темноте, а он полон знания и мыслей, ему есть что сказать человечеству, страждущему света. И конечно же сказать такое, что в России никогда и ни за что не пройдет через цензурные рогатки. А тут под боком — вот же она, книгопечатня! Только спешить не надо. Надо оглядеться, познакомиться, для начала, быть может, просто попросить о работе. А статьи предлагать потом. Потому что после первой же статьи, по естественной человеческой слабости убоявшись такого конкурента, издатели могут вообще от-



казаться от знакомства и общения с ним, а работа нужна позарез.

Кельсиев написал письмо, получил приглашение зайти, приехал.

Был Василий Кельсиев очень молод, очень худ, взъерошен, немного грубоват от застенчивости, много знал, тем начитанным, книжным знанием, что витает блестящей пылью, не улегшись ни в какое мировоззрение. От начитанности казался скептиком, но светила в нем, нескрываемо и привлекательно, та прекрасная молодая цельность, что ждет и жаждет единственного служения. Он понравился Огареву сразу и безоговорочно, что нисколько, впрочем, не было удивительным, ибо Герцен давно уже обещал ящик шампанского тому, кто приведет такого человека, чтоб не понравился Огареву. Но и Герцену Кельсиев понравился. Оттого они и принялись оба — вперебой, горячо и сострадательно — убеждать его вернуться в Россию.

— Потому что вы там полезней. Каждый человек полезней на родине. Ведь в России сейчас можно в общем писать многое из невозможного еще вчера, а любое честное слово, сказанное в России вполголоса, стоит долгих и громких криков отсюда. Почему же мы? Потому что у нас так сложилось, нам поздно поворачивать обратно и каяться, вы же ничем себя в глазах властей пока не скомпрометировали. Нет, вы себе не представляете, что такое тоска по родине. Ностальгия — это слово пустое, отдает болезнью, а болезни кто из нас боится, пока не скрутит. Нет, батенька, именно тоска — постоянная, сосущая, неистребимая, никакой удачей не заглушенная, душу выворачивающая тоска. Ну, нам поздно уже, нам нельзя, нам никуда не деться от того, что мы на себя приняли и взвалили, а коль знали бы, не уверен, что решились бы. Правда же? Ну вот видите, это у обоих, несмотря на разницу в характерах. А ощущение подвешенности, словно почва из-под вас вынута, и неясно, где вы ходите

и на что опираетесь,— ах, вам оно уже известно? Так вот это сотая доля того чувства бессилия и вздернутости в воздух, что поселится в вас навсегда и прочно. И потом — вы очень русский по своей душевной конструкции, сколько мы сумели ее распознать, разумеется. Русский, он нигде уже не пустит корней. Может быть, как раз из-за тюремности нашей жизни, от духовной нашей незрелости, только ни у кого, как у русского, не сохраняется так навечно пуповина его связи со страной. Вы зачахнете здесь, измучаетесь, кинетесь в немыслимые теоретические крайности. Вам нельзя, нельзя, нельзя здесь оставаться!

Вперемежку и вместе говорили все это Кельсиеву Герцен и Огарев, а он отвечал спокойно, рассудительно и несколько неожиданно, что ищет правды, справедливости и покоя в беззаветном служении. И что, именно будучи русским человеком, последователен и тверд в этих поисках, как всегда были последовательны русские люди, отчего до крайности и доходили. Из самой истории это видно. Вот хотя бы великий князь Владимир: начал, как известно, с братоубийства, а раскаявшись, уже настолько всякое убийство отвергал, что прощал и не казнил разбойников, несмотря на лихое время. Или Илья Муромец, настоящий народный герой: тридцать три года сидел сиднем, а как понял, что сила есть, стал немедленно думать, где у земли кольцо ввинчено, чтобы ее своротить, мать сыру землю, а также где от неба столб опорный, чтобы и его порушить.

— Или вот старуха, например,— тихо сказал Огарев,— начала с какой мелочи, заметьте, а дошла до желания стать морской царевной и владычицей золотой рыбки.

Герцен одобрительно захохотал, а Кельсиев даже не улыбнулся.

— Что же, я готов, как она, кончить у разбитого корыта, но попробовать, сколько можно, хочу!

— Все это бесполезно здесь,— так убежденно сказал Герцен, что даже Огарев искоса и быстро глянул на не-

го.— Да, да, да, бесполезно, я повторяю. Мы бьемся, изнемогая, чтобы сокрушить мелочи, которые до нас доходят. Мы кипим и советуем, а решатся в конце концов все центральные и узловые вопросы только дома.

— Ах, ты об этом,— негромко сказал Огарев.— Тут ты прав, разумеется, а я уж было насторожился, думал, ты от плохого настроения всю нашу жизнь зачеркнешь второпях. Все-таки наша каторга имеет какой-то смысл.

— Ты в этом всегда уверен? — спросил вдруг Герцен сумрачно.

Огарев рассмеялся, далеко закидывая голову.

— Саша,— сказал он,— Саша, мы ведь сейчас не свои болячки зализываем и не свои сомнения обсуждаем. Вон у тебя на столе какая груда писем, и небось у меня по твоему указанию половина сложена. Грех нам жаловаться, что с Россией обоюдонужной связи нет. Только это никак не зачеркивает все, что мы вам говорили.— Он посмотрел на Кельсиева приветливо.

Кельсиев доверчиво улыбнулся в ответ и, с лица улыбку не сгоняя, отрицательно покачал головой.

Еще долго говорили они, но переубедить его не удавалось. Они были искренни в своем желании уберечь его от болезненного жжения, неизбывного у обоих, всей душой и естеством принадлежавших России. А он этого по молодости не чувствовал и не открывал им своей главной мысли, что отсюда мнились ему слава и величие грядущих свершений.

Одно было ясно и Огареву и Герцену, что надо будет кормить и определять этого молодого решительного мужчину. И ушел он в тот день от них, снабженный деньгами, с договоренностью насчет уроков, которые он будет давать дочери Герцена, и с уговором принести статью на тему, какую пожелает.

Очень скоро нашлась ему работа: перевести на русский язык Библию. Перевод Пятикнижия сделал он охот-

но, хоть перевод и не получился. Кельсиев задался целью перевести буквально, отчего текст был тяжел и темен. Надо, впрочем, сказать, что лондонское предприятие вскорости побудило российский Синод распорядиться о переводе, и наконец в России впервые появилась Библия на русском языке.

Кельсиев и статью принес — об освобождении и раскрепощении женщины. И была эта статья так плоха, так витиевато написана, так прямолинейна и неубедительна, что, когда Герцен решительно ее забраковал, добряк Огарев, смущаясь и отводя глаза в сторону, полностью согласился с его мнением. Кельсиев обиделся, упал духом, прямо на глазах увял, и тогда, чтобы его подбодрить (все равно ведь надо было давать работу!), Герцен попросил его разобрать тот огромный мешок корреспонденции, куда складывали они все письма, относящиеся к раскольникам, ибо руки до них покуда не доходили.

Нехотя согласился Кельсиев, хмуро попрощался и ушел, неловко за собой приволакивая тяжелый этот мешок. Два дня он не появлялся, очередной урок пропустил, и уже хотели было за ним посылать, как вдруг он сам появился утром, вдохновенный и сияющий.

Мир российского старообрядчества и раскола, открывшийся ему в этой связке неразобранных рукописей и писем,— это был его, органически его мир, в который он почувствовал готовность незамедлительно окунуться с головой. Мир замкнутый, фанатичный, романтический, озаренный духовностью жаркого разномыслия. Мир таинственный, сумрачный, глубокий, насыщенный раздирающими страстями разума, души и плоти, несгибаемый и уклончивый. Громадный, чисто русский по живучести и упорству. Стоило посвятить жизнь его изучению, а потом, возможно, и объединению. Материалы же разобрать и напечатать.

Скоро Кельсиев сделался своим человеком в доме

Герцена и Огарева, бывал у них чуть не ежедневно, просиживал часами, часто и работал там, присматриваясь с удивлением и непониманием к этим двум столь непохожим людям.

Да, они были старше Кельсиева чуть не вдвое, но не в возрасте крылись корни его непонимания. Да никто из них в долгих и постоянных спорах обо всем на свете не ссылался на возраст как на критерий зрелости ума и мысли. С Огаревым, впрочем, спорили только о России, ибо всех европейских дел для него словно и не существовало. Огарев Кельсиеву был особенно непонятен. И, как все самолюбивые и самоуверенные люди, Кельсиев даже слегка невзлюбил его за это. Например, его крайне изумляла та подчеркнутость своей роли как второй, о которой Огарев не забывал ни разу и ни при каких обстоятельствах. Он-то, Кельсиев, отчетливо видел, как Герцен абсолютно во всем советуется с Огаревым, как порой негодует, выходит из себя и оспаривает его мнение, а потом уступает, соглашается, идет на попятную, ищет приемлемой середины. И снова советуется с Огаревым. При этом Огарев то ли в шутку, то ли всерьез называет Герцена в разговорах принципалом, патроном, шефом, в свою очередь утрясая или обговаривая с ним все проблемы. Кельсиев бы так никогда не смог. И поэтому не понимал. Себя с другими сопоставляя, измеряет человек качества, понятные ему самому, а о мудрости любящей доброты Кельсиеву задумываться не приходилось. Спустя недолгое время сказал ему о том же в случайном разговоре Бакунин.

— Николай с его полным отсутствием тщеславия и властолюбия,— говорил Бакунин,— страшно обманывает всех кажущейся мягкостью. Он любому предоставляет играть во все, что тому заблагорассудится,— хоть в Сократа, хоть в Наполеона. А не приведи господь переиграть и чего-нибудь от Огарева потребовать, что противно его воззрениям,— раз, и лбом об камень. Да откуда же камню

было взяться? Трешь ушибленное место, и опять перед тобой будто бы творог. Ох уж эти русские добряки с чуткой совестью!

И захохотал оглушительно, всему на свете радуясь, а всего пуще — любым своим словам и мыслям, что немало Кельсиева раздражало.

2

Бакунин появился в Лондоне вдруг, внезапно. Позади годы и поступки, ставшие уже легендарными и оттого обросшие выдумкой, хоть и правда была достаточно впечатляющей.

Окончательно порвав с Россией, обреченный на каторгу в случае возвращения, Бакунин окунулся в европейское революционное брожение сороковых годов, произнося при этом одну за другой речи, каждая из которых заслуживала каторги.

Вскоре наступило время практических действий, и Бакунин ринулся в них с головой. Разразилась французская революция. Бакунин немедленно оказался в Париже. Речи, собрания, сходки, процессии, демонстрации — всюду появлялся он и всюду успевал. Решительно и вмиг оставил Париж, услышав о революции в Австрии. Это все-таки ближе к России, и, быть может, волна занесет его туда! Арест в Берлине (отпустили), восстание в Праге (было подавлено), перемена городов, метания (уже числится злейшим врагом российского самодержавия и опаснейшим европейским смутьяном), наконец, Дрезденское восстание, неудачливое и слабое, бегство, арест, тюрьмы Саксонии и Австрии. Арестованный с оружием в руках при отступлении из Дрездена, Бакунин считался самым опасным из революционеров, а на прогулку его выводили закованным в цепи. Одиночная камера, допросы, ожидание неминуемого смертного

приговора. Приговор вынесен, следует помилование, срок заключения — пожизненный. Затем передача его в Австрию, новое следствие, снова смертный приговор, снова помилование, ибо решено вернуть его России. Все совершается в глубочайшей тайне и с огромными предосторожностями, ибо есть подозрение, что за Бакуниным целая партия заговорщиков, вооруженных до зубов, иначе трудно объяснить невозмутимое спокойствие этого неугомонного славянина. Передают Бакунина на границе, австрийский офицер педантично требует вернуть австрийские цепи, и Бакунина заковывают в русские. Петербург, Алексеевский равелин.

Император предлагает Бакунину, чтобы тот написал ему подробное изложение своих взглядов и поступков — некое письменное покаяние, после которого он примет решение о его дальнейшей судьбе. Узник соглашается и с радостью пишет свою знаменитую «Исповедь» — документ, увидевший свет лишь несколько десятков лет спустя и вызвавший самые противоречивые толкования. Бакунин кается, считает ошибкой и заблуждением все свои подвиги, но вместе с тем пишет, например, такие слова:

«Когда обойдешь мир, везде найдешь много зла, притеснений, неправды, а в России, может быть, более, чем в других государствах. Не от того, чтоб в России люди были хуже, чем в Западной Европе; напротив, я думаю, что русский человек лучше, добрее, шире душой, чем западный; но на Западе против зла есть лекарство: публичность, общественное мнение, наконец, свобода, облагораживающая и возвышающая всякого человека. Это лекарство не существует в России... В России главный двигатель страх, а страх убивает всякую жизнь, всякий ум, всякое благородное движение души...»

И здесь же рядом — критика развращенности и цинизма западной жизни, весьма приятная сердцу монар-

ха, и длинные отречения от прошлого безрассудства. Хитрость? Может быть. Сдача на милость победителя? Не исключено. Измена былому? Вряд ли. Такова и подпись: «От искреннего сердца кающийся грешник».

Только это не помогло. Бакунин остается в заключении. Тянется оно бесконечные семь лет. Мысли о самоубийстве сменяются надеждой, снова отчаяние, страх отупеть и потерять разум, вспышки гнева, покорность судьбе... В пятьдесят седьмом новый самодержец отправляет его в ссылку в Сибирь. Спустя четыре года Бакунин бежит — и как! — через Дальний Восток, почти открыто, с безумием обреченного, удачно. Из Америки сообщает в Лондон: совершилось.

И вот он уже приехал, и весь дом накануне готовился его встретить, и словно помолодели Герцен и Огарев, ибо это их молодостью, человеком оттуда был Бакунин. И Кельсиев хоть и приходил без приглашения когда угодно, а в тот день пришел попозже, тактично дав обняться и выговориться старым друзьям.

Пришел и застал их разомлевшими и уставшими от волнений и расспросов. Они перебрали уже всех былых знакомцев.

— В Польше только демонстрации,— раздавался голос Герцена,— да авось поляки облагоразумятся, поймут, что нельзя же подыматься, когда государь только что освободил крестьян. Собирается туча, но надо желать, чтоб она разошлась.

— А в Италии? — спросил Бакунин.

— Тихо.

— А в Австрии?

— Тихо.

— А в Турции?

— Везде тихо, и, кажется, ничего не предвидится.

— Что ж тогда делать? — спросил огорченно и разочарованно Бакунин.— Неужели ехать куда-нибудь в Пер-

сию или в Индию и там подымать дело? Эдак с ума сойдешь,— я без дела сидеть не могу.

И все трое рассмеялись, хотя каждый (это Кельсиев понимал) смеялся своему и о своем.

И сам Бакунин озадачивал Кельсиева, и отношение к нему обоих друзей. Герцен установил Бакунину нечто вроде постоянного денежного пособия, предложил писать, сотрудничать. А сам не раз открыто и за глаза подсмеивался над ним — за шумливость, за браваду, за апломб, за нетерпеливое стремление ввязываться, организовывать и сокрушать, за обилие в нем бенгальского огня. Герцен пересказал однажды Кельсиеву легкую полушутку одного француза, что такие, как Бакунин, незаменимы в первый день любого восстания, а на второй их непременно следует повесить. Но когда Кельсиев выразил сдержанное недоумение, Герцен расхохотался и сказал:

— Милый, милый Василий Иванович! Да ведь таких людей земля только раз в столетие производит, и то только в России-матушке, как же вы не понимаете этого?

Кельсиев не понимал. Видел он и крайне любовное — ну, положим, это неудивительно, молодость оставляет чувство,— но еще и уважительное отношение к Бакунину Огарева. Это и вовсе непонятно. Сам Кельсиев образован куда лучше и глубже Бакунина, серьезнее, трезвее и обстоятельней, но к нему такого отношения не было и в помине. А Бакунин приставал ко всем приезжим, вымогал деньги, а потом сорил этими деньгами, как табаком (боже, как он сорил повсюду трубочным табаком и пеплом!), раздавая их случайным людям на какие-то бессмысленные, пустые осведомления и поездки. Бакунин рассуждал о чем угодно вкусно и громогласно, глупость на глупости городя. Кельсиев слышал, видел это — и недоумевал сокрушенно.

Кельсиев, например, подготовив сборники о раскольниках, пришел с изумительной идеей: съездить в Мол-

давию и Турцию, свести короткое и тесное знакомство с тамошними раскольниками, выходцами из России, и у них организовать склады лондонских изданий для переправки по их каналам единоверцам и знакомым через границу. Кроме того, можно было предложить им завести типографию для собственных изданий, а самих постепенно воспитать в том духе, что всем им по пути с освободительным российским движением, среди прочих свобод добивающимся и свободы вероисповедания.

Как прекрасна была бы эта картина, порой она виделась ему по ночам: от скита к скиту, по деревням и городам, повсеместно распространяется его, Василия Кельсиева, напутственное слово, примиряющее разномыслия. Тайная, как подземный пожар, крепнет, распространяется вширь и вглубь великая реформация русского раскола. А потом он приезжает куда-то, и ему говорят: закончено. Это совершили вы, земное спасибо вам от почти десяти миллионов верующих, сегодня одинаково настроенных поступить по единому мановению вашему, чтобы климат российский реформировать и оздоровить. Вся раскольничья Россия, замерев, ожидает вашего слова.

Герцен с Огаревым решительно воспротивились этому: если, мол, понадобится им типография, то раскольники приедут сами, а объединять нечего и незачем — Кельсиев все по-своему истолковал. Он потом писал об этом эпизоде: «Но, мне кажется, у них была и задняя мысль, впрочем, весьма основательная: моя поездка, моя чисто агитационная деятельность непременно выдвинула бы меня впереди, и мое имя загородило бы их имена, так что их значение как публицистов померкло бы перед моим значением агитатора... Разумеется, мне не было это высказано, но не понять их мотивов было нельзя».

Как бы смеялись они, когда-нибудь это прочитав: Герцен, высоко поднимая плечи, очень громко, Огарев —

потише, закидывая голову, с наслаждением. Но они этого не прочли никогда. А в тот день снова и снова пытались объяснить молодому Кельсиеву, от обиды исподлобья глядевшему на них, то, чем они жили и дышали:

— Мы не организуем подпольные общества, поймите же, Василий Иванович. И безнравственно было бы с нашей стороны отсиживаться здесь в тепле и безопасности, остальных подбивая на риск. Мы совсем не крови хотим, без которой переворота не бывает, мы хотим, чтобы Россия поняла себя и осознала. Мы, если хотите, уж простите натянутость сравнения, голосовые связки ее совести и пробуждающегося разума. Ведь сейчас всех, кто может быть с нами, объединяет только презрение к сегодняшней власти. Прежде договориться надо, не спешите мину подкладывать, ведь никому еще неясно, что нам строить. Мы только мысль организуем, а людей подождите трогать, они сами соединятся во благовременье.

Это, впрочем, больше Герцен говорил, и Кельсиев заметил, что Огарев чаще помалкивает, хотя тоже настроен решительно против поездки.

— Дайте осмотреться и отдышаться русской мысли, дайте срок надавать пощечин подлецам и палачам, дайте, наконец, время разобраться в русской истории. Согласитесь, Василий Иванович, невозможно ничего в стране, которая лишена истории,— мягко сказал он.

Против этого Кельсиев не возражал.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Огарев не поехал туда послезавтра, как обещал. С утра его остро пронзила мысль об ответственности, которую он взваливает на себя. Зная свое болезненное чувство долга, которое потом не позволит ему предать, об-

мануть или отстраниться, он отчаянно сопротивлялся вспыхнувшему в нем влечению. Это не было скоротечной любовью молодости, не было взрывом страсти. Странным обещанием душевного покоя повеяло на него тогда, и теперь именно это ощущение манило его более всего. Но и пугало необычностью своей, ясно представимой, четко очерченной картиной обязательств, которые он принимал на себя, уступая этому влечению. Он вспоминал в подробностях все, что было, перебирал мысли свои, слова, припоминал все бывшее и небывшее и к вечеру совсем изнемог от внутренней непрекращающейся борьбы. А он наступил, обещанный позавчера Мэри вечер, и уже сидели в кабинете Герцена гости, и уже шли жаркие споры о том, можно ли полагаться на раскольников, а он сидел, сидел, сидел.

Может быть, в тот вечер и зародился у кого-то из споривших тот хрестоматийный образ Огарева, что пошел потом кочевать сперва по воспоминаниям, потом по толстым монографиям о высокой и трудной жизни двух неразлучимых изгнанников. Образ Огарева-молчальника, Огарева, прочно ушедшего в себя, Огарева, будто конфузившегося среди людей и отстраненного слушателя любых дискуссий и бесед.

С ним заговаривали, он откликался нехотя, отвечал вежливо и отчужденно, снова упрятывался куда-то. А в разуме, в душе, в сердце отчетливо, как перед глазами, мелькали калейдоскопом: Генри, кабак, Мэри, комната с газовым рожком и опять Мэри, как она сидела, облокотясь о стену выгнутой обнаженной спиной, а он говорил, глядя в потолок, то, что не говорил никому на свете. Раза три он вставал, чтобы ехать, снова опускался в любимое свое кресло, будто прячущееся за столом Герцена, снова думал, курил. В десять он понял, что уже не поедет, в одиннадцать вскочил как ошпаренный, подумал, что поздно.

— С тобой что-нибудь происходит, Ник? — спросил вполголоса Герцен, заслонившись спиною от гостей.— Я тебе помочь не могу? Или ты мне теперь не доверяешь? Это длится уже третий месяц, Ник.

— Нет, Саша, это длится всего второй день, я тебе завтра расскажу, ладно? — Огарев хотел встать с кресла и покачнулся. Герцен подхватил его под локоть.

— Ник,— заговорил он быстро и горячо,— давай, давай обсудим с тобой, что нам делать. Нельзя длить, не договорившись. Ты простил меня? Ты можешь меня понять и простить? Ты думаешь, я счастлив, Ник? Если бы это было не с тобой! Если бы! Почему ты не отвечаешь мне, Огарев?

— Потому что я нисколько на самом деле не обижен, Герцен,— сказал Огарев очень честно,— мне даже немного неудобно, что я, наверно, твердокаменный болван, если я не ощущаю трагедии. Но вся штука в том, Саша, что я, честное слово тебе даю, нами с тобой обоими клянусь тебе, ни оскорбленной гордости не чувствую, ни ревности, ни даже — ты не поверишь, Саша,— даже сожалений.

— Столько времени пытаться поговорить с тобой, искать в себе силы, искать удобного повода, чтобы вот так вдруг здесь, среди стольких чужих услышать все это,— огорошенно сказал Герцен.— Я тебе верю, как себе. Это ты теперь имеешь право не верить мне, но я еще заслужу перед тобой это право. А сейчас ты меня радуешь невероятно, у меня с сердца камень свалился, у меня слов нету...

— У тебя-то,— сказал Огарев, улыбаясь.

— Это с самого начала так? — спросил Герцен.

— Вот вопрос, достойный мужа,— сказал Огарев серьезно.— Нет. Конечно нет. Но теперь могу ответить точно: со вчерашнего утра, Саша.

— Это когда ты вернулся откуда-то. Откуда?

— Вот об этом поговорим потом. Думаю, что через недельку-другую.

— Это любовь? Женщина?

— Через неделю, Герцен,— сказал Огарев.— Если сегодняшним вечером я не испортил себе сам всего-всего.

— Поедем вместе,— быстро сказал Герцен.— Сейчас. Хочешь? Куда угодно. Я не спрашиваю, куда и зачем. Я одеваюсь?

— Спасибо, милый.— Огарев кивнул головой благодарственно и устало.— Спасибо. Я сам завтра. А сегодня — я уйду сейчас.

— Уедешь?

— Нет, спать,— меланхолически сказал Огарев. Отходя, он увидел, как через всю комнату следила за ними, не смея, как раньше, запросто подойти, Натали Тучкова-Огарева... «Натали Тучкова-Огарева, Натали Тучкова-Огарева»,— повторял Огарев про себя, снова и снова убеждаясь — с удивлением, страхом, благодарностью,— что ни слова неправды Герцену не сказал — не было в нем уже ни гнева, ни ревности, ни боли. Мэри! Как же он не поехал к ней? Но и впрямь было уже поздно.

Ночью ему снились страшные и одновременно сладостные кошмары. Он спешил по узкой лондонской улочке вслед за Мэри, уходящей под руку с рослым моряком в колониальном пробковом шлеме. Чем быстрее Огарев бежал за ними, задыхаясь и уже не в силах бежать, тем скорее они шли, расстояние все никак не сокращалось. И одновременно с отчаянием от невозможности их остановить в нем не исчезало ощущение того, что Мэри знает, кто бежит сзади, и не оборачивается лишь потому, что решила где-то обождать его и отвязаться от моряка. Ее узкая фигура казалась хрупким тростником рядом с массивным моряком, то и дело наклонявшим к ней свой шлем и что-то шептавшим. А Огарев бежал, бежал, зная,

что все будет прекрасно и спокойно, и проснулся с острой сердечной болью.

Целый день он работал, не разгибаясь, и то сладостное, с ночи не покидавшее ощущение неизбежности перемены в его судьбе не оставляло ни на минуту. Он переделывал статью, похваленную Герценом, ибо ясно видел все длинноты и вялость ее. Нет, публицистом он не рожден. Только ведь от проектов, докладов и планов государственных преобразований, которые писали в России высокие чиновники и мужи совета, никто и не требовал стилистических красот и яркости изложения. Доказательность, логичность, фактическая обоснованность и глубина — вот что требовалось. А полемику с этими проектами вел поэт, и человеческое сердце билось в его статьях-дискуссиях, почти каждая из которых демонстрировала незаурядные знания, острое понимание и горячий интерес к судьбе страны. Да еще трудился он, времени не жалея, над их доступностью, чтобы даже Герцен, особенно требовательный к близким, имел минимальное число поводов съязвить, читая, или, вежливо извинившись, пройтись своим легким пером.

К вечеру стало невмоготу глушить в душе ожидание назначенного утром срока, и в семь он кинулся искать экипаж. Минут сорок они ехали, петляя, и Огарев сошел на углу, чтобы купить (так загадал с утра) табаку в том же счастливом кабачке.

Там находилось всего человека три, вяло и молча пивших что-то, закутавшись в дым трех трубок. На душе у Огарева мгновенно стало пусто и холодно: Мэри сидела за тем же столиком, от которого два дня назад он увел ее навсегда. Так же кружка пива стояла перед ней, и лицо ее было опущено к столу. Словно почувствовав на себе неподвижный взгляд Огарева, она подняла голову, и глаза их встретились. Лицо у нее ничуть не изменилось, только стремительно отвердело. Многое можно

было прочитать на нем: вызов и вину, упрек и радость, упрямство и раскаяние. Темные круги синели под застывшими глазами, старя ее. Он подошел к столу, она не шелохнулась.

— Мэри,— мягко сказал Огарев,— зачем ты здесь? Ты ведь обещала мне?

— Тебя не было вчера,— медленно сказала она, с трудом произнося слова.— Я ждала тебя с шести вечера всю ночь.

— Мэри,— успел сказать Огарев, и из глаз ее потоком полились слезы.

— Пожалуйста,— заговорила она быстро,— пожалуйста, зайди ко мне на десять минут. Просто зайди и уйди. Генри очень ждет тебя. Только из-за него зайди.

И Огареву ясно стало, прозрачно и отчетливо ясно, что все уже решено в его судьбе. И, негромко засмеявшись, он отпил пива из ее кружки и спросил, будто именно это было сейчас самым важным:

— Слушай, Мэри, а я ведь даже твоего полного имени не знаю. Скажешь?

— Сатерленд,— ответила она, продолжая плакать.

— Мэри Сатерленд,— сказал Огарев негромко,— запомните эту обстановку вокруг себя. Эти стены, этот дым из трех трубок, принадлежащих трем чурбанам, эти бутылки и эти столики. Вы их видите ясно, Мэри Сатерленд?

Она недоуменно кивнула головой, глаза ее уже улыбались, а на левой щеке блестела задержавшаяся слеза, отражая микроскопический газовый рожок, висевший сбоку.

— В такой обстановке, Мэри Сатерленд, и в подобных заведениях, Мэри Сатерленд, вы отныне будете появляться только в сопровождении старого, но весьма пристойного, как вы можете заметить, джентльмена

по имени Николай Огарев. Это ясно вам, Мэри Сатерленд?

Она смотрела на него застывшими мокрыми глазами, в которых светилась такая преданность, что он оставил свой торжественный тон и отвернул голову к стойке, выбирая, что бы лучше всего взять с собой. Было у него сейчас полузабытое уже сладостное и высокое ощущение того, что он полный хозяин своей жизни, значимой и многообещающей жизни. Нужной не ему одному.

А потом они долго-долго разговаривали в тот вечер, и странно чувствовал себя Огарев, когда не в силах был ответить на простейшие вопросы женщины, никогда нигде не учившейся. Здравый разум диктовал их? Житейское разумение, которое выше многих образований, ибо питается могучим инстинктом сохранения человеческого рода? Бог весть. Огарев тщательно подыскивал слова и доводы, ежился, смеялся, сознавал свою беспомощность и спохватывался, что, оказывается, он совсем не готов именно к простейшим вопросам.

— Почему ты уехал из России? — спросила Мэри, когда они остались одни.— Ты очень бедствовал там? Не мог найти работу?

— Нет, все не так,— охотно ответил Огарев, думая, что объяснить очень просто.— У меня было очень, очень много денег, Мэри. Куда больше миллиона, должно быть.— И, заметив недоверчивую улыбку, промелькнувшую на губах ее, добавил торопливо: — Я клянусь тебе всем самым дорогим мне на свете, ну зачем я стал бы тебя обманывать.

— Ты разорился! — просияла она.— Да? Разорился и поехал искать счастья сюда?

— Это не совсем так, Мэри,— медленно сказал Огарев.— Я действительно тратил деньги, не считая, проделывал разные опыты, но не с целью разбогатеть, а глав-

ное, главное — знаешь, ну никакого отношения деньги к моему отъезду не имели.

Она молчала, вопросительно глядя на него.

— У тебя очень милое лицо, Мэри,— сказал Огарев.

Она улыбнулась ему и долго смотрела на него с этой сияющей улыбкой, от которой множество морщин бежали от ее глаз и вдоль носа и почему-то совсем не старили ее. А потом улыбка сбежала с лица, и она сказала:

— Не понимаю. Пожалуйста, объясни мне, если это не тайна. Может быть, ты заговорщик, да?

— Тоже нет, Мэри,— пожал Огарев плечами.— Я попробую тебе объяснить. Видишь ли, я писатель, поэт, я пишу стихи, статьи, хотел бы писать книги.

Она серьезно и важно кивнула головой, что понимает. И тут он вдруг отчетливо, стремительно понял, что ничего, ничего он ей не объяснит. Хотел писать? Разве не мог? Выпускать? Но стихи печатались, по журналам их было множество, книжка вышла летом после отъезда, а другие, неподцензурные, он мог печатать за границей. Черт возьми, тогда в России все выглядело так беспробудно и беспросветно и все, все мысли и планы воедино сходились, будто в фокус: уезжать. Герцен? Но, положа руку на сердце, разве он ехал только из-за него? Конечно, нет. Что такое? Что за глупости, почему же он уехал, в самом деле, он, с головы до ног, от кончиков ногтей до кончиков волос русский, без России жизни себе не представляющий?

— Душно,— проговорил он вслух.— Это необъяснимое состояние, милая Мэри. Душно.

Она смотрела, не кивая. Он почувствовал, что начинает злиться. На кого? Только на себя и можно злиться. Он сообразил вдруг, что давно и невозвратно исчезла, испарилась, будто и не было ее вовсе, та ненависть, которая питала в России всю его жизнь и все его поступки. Ненависть ко всем несообразностям российской жизни,

к произволу одних и бессильной покорствующей апатии других. Ненависть к болотному, гнилостному застою, которого он был свидетелем и который доводил его, бывало, чуть не до скрежета зубовного. Были теперь только тоска, любовь, жажда любой ценой помочь стране, которую сейчас, отсюда, воспринимал как одно целое, родное и попавшее в многовековую беду. Он сказал мягко:

— Мэри, а вообще ты что-нибудь знаешь о России?

Она неуверенно кивнула головой и сказала медленно:

— Очень холодно у вас везде, и царь всех казнит.

Огарев расхохотался в голос. Мэри сперва посмотрела на него с неудовольствием, но тоже поддалась заразительному его смеху. Потом он замолк, отер набежавшую слезу и подумал, что давно уже не смеялся так легко и открыто, и благодарно поцеловал Мэри.

— Знаешь, Мэри, на самом деле Россия мало отличается от Англии. Только у нас, дружочек, до сих пор рабство. Это невозможно рассказать, это надо знать и видеть. Человек страшен, когда владеет другими людьми, просто страшен, милая Мэри. А тот, кто свободен, тоже не во всех своих поступках волен. Достаточно ему написать, например, что-нибудь, несогласное с действиями власти, и на него обрушивается масса бед, ломающих его жизнь,— ссылка, тюрьма, каторга. Даже за знакомство с такими людьми, и то можно пострадать, словно ты сам преступник. А жаловаться некому, кара идет не от закона, а сверху... Слушай, ведь я ничего тебе этим не объясню.

— Почему же,— сказала Мэри вежливо.— Но ведь можно не нарушать, если знаешь, чего нельзя.

Огарев задумчиво улыбнулся. «Черт побери, а чего все это стоит, если я не могу ничего объяснить? — подумал он.— Нет, не все же так просто. Надо по порядку. О воле для крестьян? А как объяснить это сложное чувство соб-

ственного рабства, недавно еще такое острое, а сегодня лишь блеклое воспоминание?»

— Знаешь, Мэри, ты поверь мне на слово,— неуверенно сказал он.— Человек, в котором живет человек, ему в России душно, унизительно, скучно и невыносимо тяжело. Это как климат, как погода, вся душа начинает пропитываться унижением, скукой и бессилием что-либо изменить. Понимаешь, в России, как только начинаешь думать иначе, чем большинство, жить становится невозможно... Слушай, я говорю что-то совершенно не то. Удивительно, как я ничего не могу тебе объяснить.

— А знаешь,— сказала Мэри,— ты ведь мне уже многое объяснил. Если такие люди, как ты,— враги тому, что делается в вашей стране, то я уверена, что там делается неладное. Но когда-нибудь ты объяснишь мне получше, ладно?

— Ладно,— ответил Огарев.— Я обязательно постараюсь объяснить.

Это было его единственное обещание Мэри, которое он оставил неисполненным. Последующая близость их длилась около восемнадцати лет. Мэри похоронила Огарева. Он вырастил и воспитал ее сына, который обожал его и не называл отцом только оттого, что ему все в свое время рассказали. И все восемнадцать лет, что прожила с Огаревым (очень счастливо), Мэри Сатерленд боготворила его, не понимая. То, что так легко облекалось у него словами, когда он писал для русских, так и оставалось непонятным очень неглупой английской женщине. И с годами Огарев стал думать, что, наверно, это естественно, коли так, уже и ничего не пытался разъяснять. Впрочем, это и не надо было Мэри. Все, что делал ее муж, заведомо представлялось ей в ореоле непреложной справедливости и правоты.

2

Если на истории страны (а вернее — когда, ибо явление это непрерывно) сказываются явственно и ярко идеи и дела крупной, выдающейся личности, то впоследствии, в описаниях и обсуждениях прошедшего периода, образ этого человека, естественно, оказывается в фокусе внимания. Рядом с такой личностью, однако же, существует всегда множество других, оказывающихся в тени незаслуженно — и не столько по делам своим (бывает, не случилось крупных дел), сколько по острой характерности, с которой воплощают они в себе психологические особенности времени. Нескольких таких людей, равно удаленных от центральных фигур времени, нам здесь никак не опустить ради полноты и точности описания.

Один из них — человек судьбы кристальной и трагической, Артур Бенни. Ему казалось, что он участник освободительного российского движения, тогда как на самом деле колесо этого движения просто переехало его жизнь безжалостно и бесповоротно. Он, правда, если соблюдать точность скрупулезную, не был обойден вниманием: две книги написаны о нем, а статей — куда больше. Но сама тональность и книг и статей говорила о его второстепенности, более обвиняя или сожалея, нежели воздавая должное характерной по своей цельности фигуре.

Артур-Иоганн Бенни, сын провинциального пастора из местечка Томашова Царства Польского Российской империи. Младше Огарева и Герцена на целых двадцать семь лет: сорокового года рождения. Погиб в Италии тридцати лет от роду (даже не было еще, кажется, тридцати), сражаясь в армии Гарибальди.

Отец его, маленький пастор маленького прихода, полунемец-полуангличанин, волею неизвестной судьбы заброшенный в польское местечко (женатый, кстати, на

англичанке, и домашний язык — английский), более всего на свете обожал классику и античность. Любовь эта рано передалась трем его сыновьям, а на впечатлительном Артуре сказалась более всего. Отец разговаривал с ним часто и подолгу, и мальчику попеременно западали в душу рассказы то о Спарте, то об Афинах, то о Риме, смешиваясь с рыцарскими романами. В большом саду они с братьями играли в спартанцев: ходили с оружием, пытаясь не расставаться с ним, как и полагалось доблестным воинам, даже во время еды и ночью, несмотря на протесты матери. Долго обсуждали, стоит ли убивать детей, родившихся болезненными и слабыми; отражали превосходящие силы врага, не покидая боевого места. Средний по возрасту Артур однажды целый день носил за пазухой кота, надеясь, что тот, как лисенок древнему спартиату, прогрызет ему живот и он не издаст ни звука. Потом отец вдруг обращал их внимание на то, что казарменная воинственная Спарта не дала миру ни одного крупного мыслителя и что лучшие скульпторы и поэты были все из Афин, города древней демократии. И братья начинали играть в афинян, часами беседуя, как умели, о мирах, о вечности и красоте. Играли они и в римлян, и в средневековых рыцарей, и от всего этого юношеского сумбура осталось у Артура Бенни яростное пожизненное влечение к справедливости, честности и чистоте. Остались влечение и интерес (и способности обнаружились) к языкам и устройству общества, осталась жажда равенства и милосердия. Цельный, словно вычеканенный, характер (римляне), безрассудная готовность к жертвенности (спартиаты и рыцари), желание такого социального устройства, чтобы благоденствовали равно все (понятые по-детски афиняне). Первые удары жизнь нанесла ему в гимназии. Отец, много говоривший о разных странах, глухо и неохотно говорил о России. О том, что в России рабство, Бенни узнал только в гимназии.

Там же он впервые узнал, что Россия насильно русифицирует Польшу, но жалости к Польше и любви к ней как своему отечеству, такой же горячечной, как у ровесников по гимназии, он не испытал, ибо ему не понравились многие черты впервые увиденных вблизи соотечественников. А ненависть, с которой относились они к «москалям», была ему непонятна,— отдельные люди не отвечают за дела государства. Одинокий, кончил он гимназию, проявил незаурядные способности к языкам, поехал учиться в Англию. Экзальтированность горячей его натуры до поры скрытой пружиной таилась внутри. Здесь сведения о его жизни разноречивы: то ли он вместо учебы стал работать секретарем у какого-то лорда, то ли в арсенале по ведомству военного министерства. Известно только, что зарабатывал много, запоем читал все, что попадалось под руку, жарко мечтал о каком-нибудь деле, чтобы захватило целиком и на всю жизнь. О знаменитом русском изгнаннике Герцене слышал он давно, видел его фотографии, мечтал познакомиться с ним, но не решался и однажды случайно встретился в книжном магазине. Бенни был приглашен в дом Герцена, стал там завсегдатаем, и жизнь его перевернулась мгновенно.

Он впервые узнал, что именно в России, стране рабов и поработителей, в непонятной ему, неизвестной и загадочной стране, уже давным-давно существуют ячейки того общества, о котором только мечтал начитавшийся книг социальный романтик. Существуют община и артель с общим трудом на благо каждого, со справедливым распределением доходов, с коллективным решением всех вопросов, с упоительным равенством и братством.

Огарев некогда писал об общине как о «равенстве рабства», ведь община рассматривалась прежде всего как ячейка будущего свободного общества, когда рабство уже будет отменено. Он был молод, Артур Бенни, его душа изнывала по учителю, такому, каким был отец, он

искал лидера, вожака, наставника. И он нашел его в Александре Герцене. Мягкий и меланхоличный Огарев не годился в наставники двадцатилетнему, словно порохом начиненному мальчишке. А Герцен принимал молчаливое его поклонение спокойно и естественно. И Россия, где глубоко внутри зрел зародыш будущего справедливого устройства, Россия, где созревала революция, Россия, где единственно можно было с толком отдать жизнь за всеобщую справедливость, стала казаться Бенни землей обетованной и вожделенной. Оставался только повод, предлог, чтобы ринуться туда сломя голову. Отыскался этот предлог очень быстро в виде хитроватого и сметливого сибирского купца.

Он приехал в Лондон по каким-то делам своим и конечно же не преминул посетить Герцена. В это время считалось просто стыдным и неприличным, побывав в Европе, не заехать в Лондон к знаменитым изгнанникам. Упоминался, впрочем, один Герцен, Огарев упорно и усердно с удовольствием оставался в тени, и, даже когда в 1858 году он наконец раскрыл в «Колоколе» свое имя, неповоротливые российские власти еще полтора года не объявляли его «вне закона». Приезжали студенты и военные, чиновники и купцы, аристократы и литераторы. Целый поток людей проходил еженедельно через дом, чтобы только пожать руку, выразить восхищение, обменяться незначащими фразами или что-нибудь рассказать вопиющее. А главное — чтобы по приезде домой рассказывать, излагать в подробностях и красках, как беседовали, что сказал и что должно свершиться в России по его просвещенному предвидению. Этот поток поклоняющихся достаточно смешил и Герцена и Огарева, но отказаться от него было невозможно: со многими приходили сведения. С одними — существенные и конкретные, с другими — дыхание российской жизни. А с иными — статьи и письма, документы и бесценные рукописи.

Впрочем, таких было мало. В основном шел надоедливый и неостановимый поток любопытных и желающих воздать хвалу. Роль оперных теноров здорово отвлекала от работы, поэтому для посетителей такого рода установлены были вполне определенные часы — не чаще, как заметил Огарев, чем прием в Москве у градоначальника по частным делам.

Купец был веселый, смекалистый, сам себя неожиданно перехитривший. Уловив общий тон разговоров и от общества отстать не желая, стал он сетовать на крайнюю нужду в «Колоколе» для своих родных краев. И что там-де даже перепечатывать его можно было бы, а читателей тьма-тьмущая. И корреспонденты найдутся. В одном только закавыка главная (закрывал тут купец дорогу возможному предложению воплотить все говореное) — нет человека надежного, энергичного, самоотверженного и вместе с тем грамотного, чтобы все это начать и поставить.

— Как это нет? — живо возразил Артур Бенни.— Вот он я — к вашим услугам!

Купец оторопел, но деваться было некуда. Из Лондона выехали вместе.

Вообще с поручениями и предложениями к таким случайным посетителям в Лондоне обращались не часто. Видеть, как на глазах человек стремительно скисает, как зрачки его начинают бегать, а лицо тускнеет, слышать, как язык лепечет что-то жалкое и неопределенное,— штука малоприятная: руки опускаются, и меняется отношение к людям. С просьбами обращались лишь к знакомым, уже проверенным. Здесь, однако, случай был чересчур соблазнителен, да и купец вел себя молодцом, виду не подав, что попался.

У него, впрочем, явился свой план, и он его с блеском осуществил. Перво-наперво, получив бесплатного и надежного спутника — Бенни, он уволил нанятого им

переводчика. Вслед за тем поехал в Париж, где предался всем возможным радостям существования, пообещав юному и девственно чистому Артуру, что вскорости он со скверной покончит и они отправятся восвояси заниматься настоящим делом. Бенни терпеливо и доверчиво ждал, пока купец утолит свой азарт и страсти. Время это наконец наступило. Но когда они доехали до Берлина и предстоял им уже прямой поезд в Россию, купец просто-напросто избавился от незадачливого попутчика. Здесь, правда, сведения раздваиваются. Одни впоследствии утверждали, что купец немедленно после Лондона принялся вести себя с Бенни по-хозяйски, самоуверенно и хамски и Бенни сам его оставил, решив приехать в Россию в одиночку. По второй версии (и куда более правдоподобной, ибо запомнил ее и изложил человек правдивый и отменной памяти) купец, как и было сказано, попользовался Бенни как переводчиком, а потом прогнал его, посмеявшись над растерянностью юноши и даже пригрозив, что сдаст его в России в полицию. Словом, так или иначе, купец этот поступил истинно по-купецки, а размах надувательства вполне соответствовал его широкой сибирской натуре. Однако первый ощутимый щелчок реальной жизни не отрезвил Артура Бенни, и он отправился в Россию. Адреса у него были — из Лондона.

3

Человек, с которым судьба немедленно свела Артура Бенни, был двадцатилетний чиновник Андрей Ничипоренко.

Высокий, нескладный, энергичный, но чахлый и болезненный, он был тщеславен и самоуверен, апломб покрывал невежество. Неудачник из тех, кого никто не жалеет, однажды наткнулся он на золотую жилу. Было

это еще в коммерческом училище, которое заканчивал с грехом пополам, томясь своим ничтожеством, пустотой, отсутствием близких приятелей и неуемной жаждой деятельности и признания. Обожал спорить по любому поводу, горячился, грубил и ничем не брезговал, чтобы последнее слово осталось за ним. Если к этому прибавить еще поразительную его неряшливость, какую-то неумытость и привычку во время разговора выдавливать пальцем глаз из орбиты попеременно со сладостным ковырянием в носу, то облик его обретает необходимую полноту. Так вот однажды, не найдя убедительного довода в очередном споре, полез он было в бутылку, закипятился и неожиданно для самого себя сказал, что факты, подтверждающие его правоту, есть, но собеседнику их знать не полагается, ибо некие осведомленные люди связали его, Ничипоренко, обещанием молчать до поры. Мгновенная и уважительная готовность собеседника отступить открыли Ничипоренке блистательный путь преуспеяния. Теперь он обо всем говорил загадками, многого не договаривал, на многое намекал или многозначительно отмалчивался, усмехаясь спокойно и пренебрежительно. Так появилась у него репутация тайного деятеля тайного до поры освободительного сообщества. А отрицательные черты обрели теперь прямо противоположный характер, становясь несомненными признаками высочайших достоинств. Его лень, неряшливость и нечистоплотность объяснялись наличием куда более важных забот и попечений; наглость и самоуверенность — осведомленностью глубокой и тайной; трусость невероятная — разумнейшей осторожностью; плебейская распущенность в выражении плебейских мнений — категоричностью прогрессивной радикальности; даже хилость и расхлябанность — подвижническим пренебрежением к своему здоровью; необразованность и невежество — погруженностью в практические дела.

Ничипоренко так стремительно превратился в объект подражания и поклонения, что и сам незамедлительно поверил в собственную значительность. А несколько его мелких корреспонденций о местных злоупотреблениях и несправедливостях, тайно посланных в «Колокол», дошедших и напечатанных, окончательно упрочили его репутацию.

Впервые в жизни поймал он устремленные на него заинтересованные женские взгляды, что было невыразимо сладостно. Ровесники просто и неприкрыто искали близости с ним, заискивали, смотрели в рот. Время на дворе было, когда уже безопасно (и еще безопасно), но уже чрезвычайно почетно носить тогу радикального преобразователя русской жизни. Теперь Андрей Иванович Ничипоренко безапелляционно решал грядущие судьбы России. Перемены предстояли гигантские, и неведомые люди служили верной порукой скорых коренных изменений. Когда же его разыскал (по рекомендации бывшего соученика в коммерческом училище Василия Кельсиева) приехавший из Англии Артур Бенни и на вопросы, кто это такой, Ничипоренко (каждому в отдельности под секретом) шепнул, что это эмиссар Герцена, прибывший к нему лично, ореол вокруг него сомкнулся окончательно, сияя невыразимым блеском.

У Артура Бенни планы были не очень обширные, а главное — неясно осознаваемые. Он собирался встретить разветвленную организацию революционеров (чтобы к ней примкнуть беззаветно), познакомиться поближе с Россией, которую не знал совсем, а также — это дело он считал самым первоочередным — подписать у множества влиятельных и авторитетных людей составленный им адрес царю. Адрес он написал вместе с Тургеневым, познакомившись с ним в Париже и понравившись писателю своей образованностью, горячностью и чистотой. Этот малоизвестный эпизод из жизни великого писателя (под-

тверждаемый документами из его архива) очень характерен для той поры. Тогда многие писали коллективные письма самодержцу, преданно излагая приблизительно одно и то же в целях коренной поправки гибельного русского климата. Писали, что в связи с несомненной мудростью взятого курса на отмену крепостного права хорошо еще было бы созвать в России Земский собор или что-нибудь подобное, чтобы выработать если и не конституцию, то что-нибудь вроде того. Кампания по подаче патриотических адресов прекратилась довольно быстро, для патриотов-доброжелателей относительно безболезненно: порицания, смещение с должностей. Адрес, написанный Бенни совместно с Тургеневым, он впоследствии сжег, но прежде испытал с ним немало горечи и разочарований: первым никто его подписывать не желал. Отнекивались, вроде бы соглашались, но лишь после того, как поставят свои подписи люди более известные. Например, либерал и англоман Катков (было в его жизни такое время, охранителем он стал потом), прочитавши адрес, вернул его в пакете неподписанным и даже без сопроводительной записки. Впрочем, это было для Бенни не самым большим потрясением. Тяжелей оказалась поездка по России. Ибо сопроводителем кому было стать, как не Андрею Ничипоренке, раз уж он расшептал всем по секрету, что наивный человек с английским паспортом — личный герценовский эмиссар?

Бенни уезжал из Лондона, убежденный, что существует некая организация, готовая положить головы за дело русской свободы. Люди, встреченные им в Петербурге, рассказали, что дело обстоит куда более блистательно: все Поволжье готово подняться с оружием в руках, а во множестве других городов и деревень есть уже опорные пункты революции. Они поехали с Ничипоренкой на ярмарку в Нижний Новгород. Многое повидал Бенни: пьяную гульбу, азартное торжище, всеобщую тем-

ноту, апатию и покорство. Кроме одного: любой маломальской готовности и организованности. Ничипоренко изворачивался, хитрил, врал. Он говорил, что простые люди в России никогда не откроются первому встречному, уверял, что за ними следят. А то вдруг заводил со случайными знакомыми разговоры такой наглой и беспардонной прогрессивности, что из двух домов, куда были им даны рекомендательные письма, их просто выгнали. В одном Ничипоренко проповедовал свободный брак, причем в выражениях столь грязных, что Бенни пришел в ужас еще прежде ошеломленных хозяев. А в другом, где гордились былым знакомством с покойным профессором Грановским, принялся честить его за веру в загробное существование. Это их совместное путешествие описано было впоследствии Лесковым, с которым по возвращении Бенни очень подружился. Холодное отчаяние овладело Бенни: Ничипоренко-то ведь был из лучших, из тех, кого рекомендовали ему (Кельсиев дал письмо и адрес Ничипоренко, а потом новые знакомцы в России подтвердили его репутацию).

Но восторженного Бенни ожидало еще одно куда более крупное потрясение. Вернувшийся в Петербург несколько ранее, Ничипоренко был, естественно, жадно и с интересом расспрошен о том, как проходило небывалое доселе путешествие в народ. Ничипоренко, издавна наловчившийся все промахи свои и неудачи излагать так, что оказывался в них повинен не он, а российский климат, и здесь вывернулся привычно: дал понять достаточно прозрачно (а друзьям — прямо сказал), что произошла трагическая, но, к счастью, пока поправимая ошибка. Благодаря проницательности Ничипоренки никаких трагических последствий не будет, но ухо надо держать востро: герценовский эмиссар при ближайшем исследовании оказался агентом Третьего отделения. Дело было житейское, тогда подозревали всех и каждого, и,

чем меньше вины знал за собой какой-нибудь болтун, тем пуще говорил он всюду о всепроникновении провокаторов и сыска, так что версия о Бенни пришлась как нельзя более кстати.

Вернувшись в Петербург, Бенни сполна испытал, что означает быть так ославленным: его сторонились, не подавали руки, отмалчивались, при встрече переходили на другую сторону улицы. Бенни оказался один, без денег, без знакомых, с плохой репутацией. Был краткий период, когда он всерьез подумывал, не прервать ли ему столь неудавшуюся жизнь, но взял верх оптимизм молодости. Он решил попытаться прежде всего восстановить свое доброе имя, собрался и поехал в Лондон. Хотел просить у Герцена бумагу, удостоверяющую, что он человек порядочный и действительно является представителем редакции «Колокола». Герцен, однако же, наотрез отказал ему в каком бы то ни было удостоверении.

Попался Бенни под дурное самочувствие или настроение издателя «Колокола», объяснил ли Герцен Бенни, что они с Огаревым не организация, а потому и письменных удостоверений давать никому не собираются, неизвестно. Бенни никому не рассказывал об их разговоре, после которого написал Герцену письмо, разрывающее отношения. Писал он в письме и о радетелях прогресса, встреченных им в Петербурге.

С Огаревым Бенни не стал разговаривать, когда, сконфуженный и разгоряченный, выскочил из кабинета Герцена. Не до вторых номеров ему было, когда номер первый проявил холодную бесчеловечность. Жизнь следовало начинать заново. Но как, с чего?

Впрочем, жизнь сама подсказала продолжение странным и неизъяснимым, но просто неодолимым желанием вернуться в Россию. Бенни прекрасно понимал, какой кошмарный прием, какие кривотолки ожидают его после

бесплодной и компрометирующей поездки, но ничего не мог с собой поделать. Это было похоже на наваждение, и месяц спустя он снова оказался в Петербурге.

Готовый к самому худшему, он не очень заботился о своей репутации, это пренебрежение не замедлило великолепно сказаться: грязный ореол мигом померк и почти исчез. Он устроился работать в газету, много писал и переводил, был прекрасно принят в нескольких домах, где по достоинству оценили и ум его, и образованность, и тактичность и где самую пылкость его натуры, мятущейся и неустоявшейся, воспринимали с доброжелательством. И уже опять исподволь и незаметно точило его нетерпение участвовать в устроительстве перемен. И хотя по совету новых друзей готовился он сдавать экзамен на присяжного поверенного, еще хватало у него времени помогать устройству коммуны, заводить типографскую артель на свободном женском труде (Бенни пришлось кормить артельщиц, пока они не разбежались кто замуж, кто неизвестно куда) и участвовать во множестве безупречно прогрессивных, незамедлительно лопавшихся начинаний. И был он занят, загружен, счастлив.

А Ничипоренко? Что же он? Никаких укоров совести в отношении Бенни не испытывая, продолжал свои прежние разглагольствования, прерванные лишь для того, чтобы съездить на собранные почитателями деньги к издателям «Колокола».

Непостижимое явление — как могли они отнестись всерьез к Ничипоренке? Воплощение пошлости, всего расхожего, дешевого, поверхностного, сального, плоского и едва ли не пародийного в своей банальности. Ну хорошо, положим, Огарев действительно был слепо приветлив к людям, это еще скажется не однажды. Но Герцен? Ведь кроме проницательности незаурядной было у него наконец незаурядное чувство юмора! Ничипоренко —



типически комедийная фигура. Это благодаря ему и ему подобным самое время однажды было названо комическим. А свойственная Герцену брезгливость отчего не подсказала нужного отношения? Легко напрашивается объяснение поверхностное и чрезвычайно удобное: люди вообще видят то, что они хотят видеть. Ничипоренко врал, притворялся, сочинял — да притом еще более искусно, чем ранее. Его снабдили горячими рекомендательными письмами к различным самым близким людям, и вообще он уполномочен был действовать как представитель Герцена и Огарева во всех вопросах и делах. Были у него письма и к видным революционным деятелям Европы, буде он захотел бы с ними свидеться. И он захотел.

Впрочем, самая судьба всех доверенных ему писем исчерпывающе говорит об Андрее Ивановиче Ничипоренке. Он набирал письма и бумаги, так высокомерно отмахиваясь от напоминаний о грядущем таможенном досмотре на границе, что снискал себе еще большее уважение. У всех оставалось впечатление, что он знает нечто, о чем не говорит попусту, но что обеспечивает ему надежнейший и спокойный провоз чего угодно. А на самом деле он (смесь Ноздрева и Хлестакова в одном лице) просто не задумывался над этим, упоенный произведенным эффектом. Самогипноз этот спал решительно и мгновенно, когда со своим спутником он оказался в зале австрийского таможенного досмотра по пути в Италию. Первым же поползновением и действием вмиг побледневшего и позеленевшего Ничипоренко было отдать толстенный бумажник с письмами своему тихому, скромному попутчику. Тот с удивлением отказался: ведь ему предстояло идти на досмотр. Тогда Ничипоренко, уже ни секунды не задумываясь, часть бумаг торопливо порвал, а часть выбросил под стол в зале ожидания. Досмотр сошел благополучно, и они выехали в Италию.

Планы у них были обширные, а у Ничипоренки имелось два рекомендательных письма (с крайне высоким мнением о нем) к самому Гарибальди.

Но только что пережитый смертельный страх словно подменил этого человека. Уже утихла нервная дрожь во всем теле, прошла землистая бледность, а он все сидел, оторопело уставившись в пространство. Впервые в жизни вдруг ощутил он, что игра, приносившая ему столько радостей и превращавшая изъяны его в достоинства, начинается всерьез. От этого сознания сердце в груди колотилось, как пойманная муха, а слабость в ногах и руках не давала шевельнуться. Однажды у него уже был довольно сильный приступ трусости — когда они с Бенни ночевали в гостинице в Нижнем Новгороде, а по коридору, разыскивая какого-то воришку, ночью ходили полицейские. Ничипоренко тогда вопреки протестам недоумевающего Бенни сжег в печи толстую пачку «Колокола», прихваченную ими для распространения, и, мгновенно успокоившись, уснул сладким сном. Но разве мог сравниться тот легкий приступ страха с этим до тошноты доводящим ужасом?

И потому, что-то быстро и неловко соврав своему спутнику, наскоро и отрывисто поговорив с приятелем, Ничипоренко прервал путешествие и поспешно сел на пароход до Одессы. Оттуда он немедленно уехал, позабыв о Петербурге, на свою родину в тихий малороссийский город Прилуки, где принялся служить чиновником, постепенно оправляясь от пережитого кошмара.

Но беда состояла в том, что бумаги, брошенные им на австрийской границе, подобрали австрийские таможенники и в виде копий передали по долгу вежливости и службы российским коллегам. Бумаги эти быстро пошли наверх для прочтения в соответствующих инстанциях.

Надо сказать, что по времени это почти совпало с

еще одним крупным успехом сыска: в доме Герцена стал если не завсегдатаем, то довольно частым гостем на воскресных многолюдных обедах один расторопный и наблюдательный сотрудник. В частности, он заметил, что, несмотря на всю раскрытость и распахнутость разговоров в большом обеденном зале у Герцена, никому никогда не дается никаких поручений, не излагаются просьбы и почти не упоминаются общие знакомые в Москве и Петербурге. Покуда он посылал лишь донесения о составе присутствующих, но очень быстро у него возникла великолепная идея. В эти дни уже третий раз приходил в гости к обеду некто Ветошников, скромный и тихий чиновник лет тридцати, приехавший в Лондон на международную выставку земледельческих машин от торгового дома, где он служил. Его привел сюда знакомый, он пригрелся и с почтением слушал окружающих, сам в разговорах участия не принимая. Впрочем, два анекдота он рассказал Герцену. А когда со всем пылом своего горячечного темперамента насел на него Бакунин, Ветошников, отказавшийся ранее везти домой литературу, согласился взять письма. Бдительный сотрудник сыска, блестяще сопоставив разговоры Ветошникова и Бакунина с недолгим исчезновением Ветошникова во время прощального обеда в комнате Бакунина, дал знать об этом в Россию. На границе Ветошникова ожидали два безупречно вежливых человека в штатском платье. Письма были найдены немедленно, а в них — более десятка адресов и фамилий. Последующие аресты дали еще большее количество имен, хотя не все письма были с адресом. В частности, для одного из писем — очень короткого — адресат так и не выявился: «Вы точно без вести пропали, ни слуху, ни духу (далее — рекомендация подателя письма). Крепко жму вашу руку. Скажите когда-нибудь о себе живое слово. Ваш Огарев».

Это он разыскивал Хворостина, соскучившись по

нему. Но записку адресат не получил. А потому и не был привлечен к судебному дознанию, а затем и к судебному процессу, тянувшемуся почти три года — так много людей оказалось в связи с лондонскими пропагандистами. Семьдесят два человека! И это только те, кого выявили. Судьбы многих переменились решительно, а у двоих оборвались сразу. В том числе у Ничипоренки. От ужаса. Но перед смертью он успел дать показания такой исчерпывающей, даже излишней, полноты, что казалось, будто ему хочется вывернуться наизнанку, чтобы власти увидели и поверили наконец, что теперь-то он окончательно чист.

И конечно же колесо событий не могло не проехаться по Бенни. Английского подданного, напомним, ибо это оказалось существенно важным, не схватили сразу и насовсем, а, расспросив, отпустили, обязав невыездом.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Весной шестьдесят второго года в вагоне третьего класса, шедшего из Берлина в Петербург, ехал худой и высокий, очень молчаливый молодой человек. Он почти все время дремал и лишь изредка вступал в общий оживленный разговор. Всего три дня назад он пересек границу государства Российского, предъявив пограничникам визированный в Берлине паспорт турецкого подданного Василия Яни. Русские солдаты, возвращавшиеся из Польши, усиленно выпивали, дымили наперебой, и в сизом воздухе витали нетоопливые разговоры о разгоне в Польше демонстраций и о том, как радовались мужики-поляки, что их панов хватают и арестовывают. Солдаты своими ушами слышали, как мужики толковали: «Дай боже, чтобы и наш пан во что-нибудь замешался».

Это очень веселило солдат, радуя их крестьянские души,— приятно было разделаться хоть с чужими папами. Дремлющий пассажир в разговоры не вступал, хотя слушал порой внимательно, открывая глаза и всматриваясь в попутчиков сквозь клубы дыма. Он все время сидел с закрытыми глазами не потому, что устал, и не потому, что нервничал, и не оттого, что боялся. Паспорт у него был прекрасный, прислал его знакомый купец, визы были оформлены всюду, где полагалось, начиналось его заветное путешествие в Россию прекрасно и благополучно. Только вот немедленно началось и продолжалось непрерывно разрушение всех иллюзий, которыми он жил последнее время.

Вспоминался февраль прошлого года, манифест об освобождении крестьян, огромный транспарант на вечерней лондонской улице, подсвеченный газовыми светильниками: «Сегодня в России получили свободу двадцать миллионов рабов». И банкет, огромный банкет, который устроил Герцен в честь освобождения. А перед самым началом банкета принесли сообщение о том, что в Варшаве опять стреляли и много убитых и раненых. Мрачный Герцен произносил тост за освобождение и просил простить его за хмурость,— ведь лилась в Польше братская кровь. Стали доходить слухи о крестьянских волнениях, рассказывали о расстреле в селе с угрюмым названием Бездна вожака протестующих крестьян Антона Петрова.

Ожидали крестьянских выступлений в России, и они где-то были, доходили вести и толки, но все постепенно успокаивалось, и становилось ясно, что Россия молча и благородно приняла даже куцее освобождение. Огарев писал в «Колоколе», что народ царем обманут, и подробно развивал эту мысль, а страна молчала.

Кельсиев хотел немедленно по приезде податься куда-нибудь вглубь, чтобы все посмотреть самому, начал

перебирать знакомых, к кому мог бы, не опасаясь, обратиться. Вдруг подумал опять тревожно — а казалось, уже ушли эти мысли,— что с ним будет, если опознают. В лучшем случае каторга или поселение. В худшем — каземат на долгие годы. Он припомнил живописные рассказы Бакунина о камере в Петропавловской крепости, и на душе стало муторно. Нет, в Петербурге он задерживаться не станет. Да тем более что все адреса старообрядцев, данные ему в Лондоне, относятся к москвичам. Адреса дал человек интересный и непонятный — первый старообрядец, появившийся вдруг ниоткуда, словно голубь с масличной веткою в клюве. Кельсиев давно ждал, что кто-нибудь откликнется на его сборники материалов о расколе, засланные в Россию. И уже потерял всякую надежду, когда внезапно поляк Тхоржевский, торгующий книгами Вольной типографии, сказал, что заходил к нему какой-то человек, взял книги, расспрашивал о Герцене, хотел бы повидать составителя сборников о расколе. Как был счастлив и озарен Кельсиев! Он знал, верил, что они приедут к нему и он еще соберет всех воедино, толки и разномыслия устранив.

Приезжий был чуть старше Кельсиева, около тридцати, не более, невысокий, щупловатый, бледный. Говорил медлительно, но не вяло, отвечал с достоинством и спокойно. Незаурядно был умен и скрывать это вовсе не собирался. Был когда-то купцом, после бросил все и несколько лет провел в Молдавии в скиту, дав обет молчания. Теперь — богослов старообрядческой церкви.

Кельсиев приоткрыл глаза и вновь закрыл их, едкий махорочный дым мешал сосредоточиться. Несколько дней оставалось Кельсиеву, чтобы узнать: приезжал к нему в Лондон и смиренно-дружески беседовал с ним его преосвященство епископ коломенский, старообрядческий владыко Пафнутий.

В Лондоне он назвался Поликарпом Петровым. И понравился всем без исключения. Сдержанный, ничему не удивляющийся, терпеливый и тактичный, с памятью невероятной. Он так знал писания отцов церкви, что всегда называл страницу, а порою и абзац издания, где находился приводимый им текст. Эта его начитанность сочеталась прекрасно с гибким и острым умом явно полемического склада и характера. Посмеиваясь, он рассказывал, как, бывало, в спорах с ним старообрядцы иных согласий и толков в ужасе осеняли его крестным знамением, полагая, что это сам сатана явился разбивать их заветные верования и каноны. Был он сам приверженцем чисто древнего православия, и отличалась вера его лишь старинной обрядностью и приверженностью к старым книгам. Кельсиев сказал в первом же разговоре, что если светские похожести отыскивать, ближе всех ему должны быть сегодняшние славянофилы. Поликарп вежливо улыбнулся и не скрыл, что мало интересуется светским движением умов. Честно и прямо объяснил, что далекое путешествие совершил, чтобы познакомиться с лондонскими издателями,— «Колокол» и старообрядцы читают, даже грозятся при раздорах написать что-нибудь туда друг на друга. Интересы раскольников состояли в том, чтобы молельные дома не закрывали, чтобы попритихли ущемления и поборы, чтобы можно было где-нибудь погромче схлестнуться с раскольниками разных согласий, привлекая их на свою сторону, чтобы наконец Европа знала об их церкви. Отсюда идея завести в Лондоне старообрядческую вольную типографию. Но об этом надо было говорить в Москве с его паствой, которую он хотел бы подвигнуть на денежные взносы не сам, а посредством кого-нибудь из Лондона. Вот и ехал в Россию Кельсиев.

Петербург встретил его ветром, снеговой пургой, холодом и непередаваемым, остро нахлынувшим, согреваю-

щим чувством родины и дома. И тоски от собственной чужеродности, накопившейся за эти годы. Два дня прожил он в гостинице, непрерывно ощущая страх и неприкаянность свою: страх — от возможности встретить знакомых и быть узнанным (каторга обеспечена в этом случае), неприкаянность — от бесплодности устроенных ему разговоров. На третий день переехал жить к Николаю Серно-Соловьевичу.

Изумительная личность, чистой пробы человек — и умом своим, и характером. Герцен впоследствии писал, что это был «один из лучших, весенних провозвестников нового времени в России». Серно-Соловьевич был образован и серьезен не по годам. Кончил Александровский лицей — училище, готовившее чиновников для ответственной государственной службы, и открывалась ему прямая дорога к преотличной и заведомой карьере. Ибо за все годы учения, как писалось в его аттестации, «выказывал отличные успехи и примерную нравственность». По окончании был определен в канцелярию государственного секретаря. Но, едва окунувшись в течение российских дел, очень быстро ясное и полное представление о них составив, юноша нашел в себе мужество не молчать. Он составил «Записку» — очерк общего положения дел в государстве, очерк далеко не светлый, как он сам впоследствии говорил, и вручил его в руки государю, подкараулив монарха во время утренней прогулки. Слух о сумасбродном поступке стремительно облетел Петербург. Смельчаку предсказывали разную участь, большинство склонялось к тому, что его упекут в сумасшедший дом. Но царствование только начиналось, самодержец был полон великодушных планов, молодого вольнодумца велел поблагодарить и поцеловать. Что и выполнил шеф жандармов, не удержавшись при этом присовокупить, чтобы задумался молодой человек, что было бы с ним, соверши он такой поступок несколько

раньше. Впрочем, несмотря на верховное снисхождение, перевели служить его в Калугу, но спустя немного времени вернули в Петербург. Но Серно увлекся публицистикой, писал великолепные и глубокие статьи и оставил службу, полагая нравственно невозможным служить, когда не согласен с тем, что происходит. Пробыл год за границей, подружился с Герценом, оставаясь в рамках почтения, истово и преданно полюбил Огарева, с которым спорил до хрипоты по всем вопросам, вернулся в Петербург и открыл книжный магазин с читальней при нем, считая просвещение первой надеждой для России. Ничего не боясь, пренебрегая маской псевдонима, издал под своей фамилией в Берлине книгу о российских неотложных проблемах, в лондонских же «Голосах из России» — «Окончательное решение крестьянского вопроса». Все удачно сходило ему с рук, и вырабатывался он в яркого передового публициста, надежду и отраду Чернышевского, гордившегося дружбой с ним.

Несколько месяцев оставалось ему до ареста и осуждения на вечное поселение в Сибирь, когда перебрался к нему на житье Кельсиев. Впрочем, знай об этом Серно-Соловьевич заранее, ничего бы не переменилось в его радушной приветливости и горячей готовности обсудить проблемы гостя из Лондона.

Говорили они о том — так, во всяком случае, Кельсиев припоминал позднее,— что все нынешнее движение умов может для России не пользою, а вредом обернуться, если Герцен так и останется в избранной им роли пропагандиста и обличителя, а не организатора и направителя действий. Будто бы говорил с волнением и страхом Николай Серно-Соловьевич (Кельсиев же сам давно так считал), что «Колокол» вызвал к жизни лучшие силы образованного сословия, взбудоражил их и взволновал донельзя и теперь они просят дела, объединения, планов. Жизненно необходима организация, говорил Кельсиеву

Серно-Соловьевич, от правительства ни в чем не зависящая, говорящая правду всем, кто хочет ее услышать, в том числе и самому правительству. Кельсиев согласно кивал головой, он и сам полагал точно так же, более того — знал с определенностью и уверенностью, кто мог бы возглавить такую полулегальную организацию, придав ей должное направление и размах. А Серно-Соловьевич не знал и не понимал, на что способен его гость и собеседник, и об этой роли для Кельсиева даже не заикнулся. Ну и Кельсиев ничего не говорил пока.

В Петербурге же, в день отъезда в Москву, улыбнулась Кельсиеву удача, которая, впрочем, только усугубила его предчувствия о бесполезности всей поездки. Он искал встречи с кем-нибудь из беспоповцев — этой многочисленной ветви русского раскола. Были у беспоповцев свои святые наставники, среди них в особенности славилось имя некоего Павла Прусского, настоятеля большого монастыря в Пруссии, откуда и получил он свое имя. И случайно вдруг узнали для Кельсиева, что великий этот инок ныне находится в Петербурге. Обратились к купцу: дескать, приезжий, знающий все веры наперечет, хотел бы с ним повидаться. Назначен был час свидания. Сам хозяин, вяловатый и полный человек средних лет, в пиджаке и с европейским пробором (торговать приходилось ведь со светскими), оказался любителем вокала, так что Кельсиеву два часа пришлось слушать пение его приказчиков, и от всех этих кондаков, стихир и тропарей невыносимо раскалывалась голова. А потом был разговор о вере, с веры перешел на наставников. Кельсиев выжидал минуту и в удобную высокопарно сказал, имитируя выученный стиль, что много слышал о великом учителе, слава которого прошла по всей вселенной, трубными звуками восхищая последователей, обличая противников к полному их уязвлению и тревожа сердца и души. Купец растаял, как и ожидал того Кель-

сиев, и сказал польщенно и важно, что учитель этот, Павел Прусский, ныне живет у него и он сейчас их немедленно познакомит. Часто-часто билось сердце Кельсиева; казалось, вот он — вожделенный миг.

Высокий, моложавый, черноволосый, с пронзительным глубоким взглядом больших и очень ярких глаз, в черном подряснике и в черной пелерине с красною оторочкой, в круглой шапочке с околышем — камилавке, Павел Прусский в своем монашеском одеянии дониконовских времен выглядел бы внушительно и строго, не освещай его умное, сухое лицо несходящая улыбка. Разговор завязался сразу, в Павле Прусском не было ни учительства, ни превосходства, ни осторожности. Он же, кстати, и сказал сразу Кельсиеву, кто был тот Поликарп, что приезжал в Лондон.

Зря, сказал он, многоглагольный Пафнутий хоть не сильно, а все же обнадежил Кельсиева — не было на самом деле у лондонских пропагандистов никакой надежды сварить кашу со старообрядцами.

— Но постой же, отче,— Кельсиева снова охватило тоскливое предчувствие неудачи,— ты ведь сам толковал мне час назад, что сегодня правит миром антихрист. Так ведь с властями нынешними, с этими предтечами антихристовыми, неужели же воевать не следует? За свободу веры, чтобы дышать полегче стало, неужели же никто не встанет?

— И никто,— сказал Павел Прусский так же улыбчиво и спокойно.— Мы в мирские дела никогда вмешиваться не станем.

Тут заговорил до сих пор почтительно молчавший купец.

— Например, господин хороший,— сказал он быстро, весь вперед подавшись, отчего из своего европейского пиджачка будто вылез в иные пространства,— нам даже весьма сподручно, что какая-никакая, а власть порядок дер-

жит. И сегодня мы его хотя хулим, обижаемся порою и плачем, а на деле-то за ним безопаснее, спокойней, да и утешительней — ведь не зря страдаем, воздастся.

— Вот он, голос паствы нашей, вот, пожалуйте,— сказал Павел Прусский.— А печатни мы свои имеем, благодарствуйте на добром слове.

Месяц спустя, на обратном пути, уже в Пруссии, Кельсиев заехал в монастырь.

— Что же вы успели в Москве? — спросил Кельсиева наставник Павел, улыбаясь точно так же, как тогда в Петербурге.

— Ничего я не успел, отче, ровно ничего не успел, ты во всем прав оказался,— медленно ответил Кельсиев.

— А я думал тем временем о тебе,— сказал ему спокойный собеседник,— и решил, что все же великая польза может быть от вашей печатни.

Кельсиев смотрел на него огорошенно. А настоятель монастыря продолжал, улыбаясь:

— Наша ведь печатня маленькая, капиталу на нее у меня нет, а охота знать о России, какова она есть и что думает. Печатал бы ты все подряд, хорошо бы это вышло. И за нас печатай, и против. Доброе вы затеяли дело в Лондоне, я только теперь обдумал все это. Сам буду посылать тебе рукописи, даже против нас писанные.

— Удружил ты мне, отче, благодарствую.— Изумленный Кельсиев будто снова возвращался к жизни. Все-таки он будет — неужели? — голосом вот этой России? Жажда знать о ней все-таки соединяет людей.

— Разной мы идем дорогою,— продолжал наставник беспоповцев,— но в тебе есть любовь к людям, оттого и польза от тебя будет, верю. Несколько рукописей тебе с собой дам.

Кельсиеву закладывали лошадей, они стояли, прислонясь к забору. Павел Прусский меланхолично молчал, чем-

то неуловимо напоминая Кельсиеву кого-то очень знакомого, вот такого же всегда спокойного и доброжелательного, мягкого и твердого вместе. Кого же? Ладно, хоть печатать они будут. Неужели людям ничего не нужно больше, чем то, что доступно им без усилий? В руках у Кельсиева было красноватое, печеное яйцо, он машинально вертел его в руках.

— Знаешь, отче,— сказал он невесело,— кто хочет услужить людям, должен согнуться перед ними в три погибели. Голоден человек, и мало, что принесешь ему яичко. Нет, ты же его испеки, да ты же его облупи, разрежь, посоли, в рот положи, да еще и поклонись, чтобы скушал. И не до благодарности, где там.

— Правда твоя,— ответил ему отец Павел. И улыбка, не сходящая с лица, превратилась в невеселую усмешку.— Только знаешь что я тебе скажу? Может, не спешить тогда с яичком? Не на пользу голодному оно пойдет, если вложено насильно или уговором чрезмерным.

И, обнявшись, они расстались. И когда уже кони его несли, монастырь из виду скрывался, Кельсиев сообразил, кого напоминал ему наставник. Огарева напоминал — повадкой. А слова его последние — огаревские. Горячился как-то Кельсиев, говорил о свободе и движении и что надо ехать, собирать, устраивать, и тогда-то ему примерно то же самое и сказал Огарев:

— А не думаете ли вы, Василий Иванович, что насильно освобождать не следует? Уж на что еда — вещь хорошая, а с демьяновой-то ухой прав Крылов. А свобода куда тоньше, она должна внутри созреть, иначе человек ни сам за нее бороться не станет, ни рабом быть не перестанет. Помнится, еще римляне говаривали, что-де самые плохие люди — вольноотпущенники. Странным человеком оказывается тот, кто в самом себе до воли не дошел. Так что вряд ли торопиться следует. Пусть внутри

поспеет. Очень ведь, согласитесь, долго рабство кровь нашу пропитывало.

Вспоминая этот разговор, Кельсиев еще большей преисполнился радостью от того, что не зря ездил, что новым отсюда показавшийся замысел — вольное и широкое слово нести России — подкреплен был рукописями. И еще одной немаловажной удачей: Кельсиев обнаружил в границе брешь.

Собственно говоря, эта брешь давным-давно существовала, точнее — пролом целый, но никто в Лондоне этим не занимался, ибо хватало путей для доставки напечатанного в Россию. Приезжавшие брали целыми кипами, провозили в тюках, обложив сверху другими бумагами или тканью, в жерлах орудий на военных пароходах, ухитрялись переправлять на торговых судах, минуя все таможенные досмотры. «Колокол» был жизненно необходим пробудившейся от спячки стране, и десятки россиян бескорыстно и безвозмездно ввозили и распространяли газету. Имелись свои каналы и у издателя — тысячи экземпляров газеты ежемесячно проникали в Россию.

И все-таки было необходимо упорядочить и оградить от случайностей этот ввоз.

Кельсиев обнаружил в Кенигсберге целую улицу контор под вывесками «Экспедиция и комиссия». В окнах стояли, как по стандарту выделанные и заведенные, модели нагруженных повозок с возницею и шестеркой лошадей. Были это, как выяснилось, замечательно отлаженные транспортные бюро для контрабанды любого вида. Заведенные на широкую ногу, с немалым оборотом, ибо и бухгалтер сидел, и кассир, и писцы, и экспедитор. Разговор в этих заведениях (Кельсиев обошел с десяток) был трогательно однообразен. Кельсиев потом превосходно воспроизводил его:

«— Я бы желал поговорить с вами наедине.

— Вам переслать что-нибудь нужно?

— Да. Только наедине...

— О, не беспокойтесь, у нас нет секретов, это наша профессия.

— Понимаю, только товар мой...

— Оружие, может быть, или порох? Мы привыкли к этому, вы можете говорить прямо.

— Книги и газеты,— решаюсь я наконец, оглядываясь по сторонам. А на меня никто внимания не обращает, так к этому привыкли.

— На какую сумму?»

Вот и все, что их интересовало. Далее обговаривались условия (кстати, не очень дорого,— очевидно, брешь была оптовая, и работа шла хорошо), затем, если у клиента оставались, судя по выражению лица, какие-то сомнения и страхи, ему предлагалось справиться у таких-то и таких-то негоциантов. А в двух-трех конторах, посчитав Кельсиева поляком, еще добавили:

— Нам очень лестно, поверьте, посодействовать вам в деле просвещения этих русских свиней и в разрушении их варварских законов о печати.

Гигантские размеры промысла, сама обыденность повадок и обходительность конторщиков, будто они занимались не контрабандой, а перевозкой мебели из дома в дом, успокоили и развеселили Кельсиева. Вернувшись в Лондон, он радостно предъявил уже заключенный контракт на первую перевозку. Дело стояло лишь за тем, чтобы приискать в Петербурге получателя грузов. Но Серно-Соловьевич уже был вызван в Кенигсберг и сейчас был занят поисками такого человека.

«Хворостин, вот кто не откажет»,— мелькнуло было у Огарева. Однако вскоре оказалось, что не только искать и уговаривать — отказывать приходилось, очень уж многие хотели хоть чем-нибудь послужить России.

Кельсиев рассказывал долго, все упирая в главное, что пора, пора, пора сплачивать, соединять и организовывать.

Герцен очень внимательно его слушал, а потом сказал, усмехнувшись:

— Знаете, Василий Наполеонович, съездили вы, конечно, замечательно. Смелости вашей и отваге честь и хвала. Но пожалуйста, остыньте немного и давайте вместе поразмыслим. Нам отсюда не с руки и неприлично побуждать людей к риску. Это, впрочем, только первый пункт. А второй состоит в том, что сегодня именно государь меняет все российские порядки. Нам еще не совсем в разные стороны. Третье, что не менее существенно, в том состоит, что пути и цели наши не выработаны. А толкать других подниматься за что-то смутное нам никак не годится. Все от нас решения и указа требуют, а мне это представляется проявлением рабства. Там, в России, должен быть первый шаг сделан. Мы только зовем живых оглядеться и найти себя. А в генералы не годимся, да и не на что пока подниматься. Я уверен в этом, Василий Робеспьерович. А ты как считаешь, Ник?

— А я еще подумаю, Саша,— Огарев был явно с ним не согласен, и Кельсиев злорадно подумал, что это Бакунин поворачивает Николая Платоновича. И ушел, вовсе не приторможенный отказом Герцена, ибо ощущал в себе сейчас такие силы, что не нужны ему были эти старики, обомшелые от покоя и удаленности.

2

Странным, взбудораженным и многое определившим оказался этот год для Бенни. Поздней весной появилась в Петербурге прокламация «Молодая Россия». Отпечатанная во множестве экземпляров, полученная самыми разными людьми по почте, передаваемая из рук в руки, долго и всюду обсуждавшаяся, она породила первое беспокойство, тревожное ожидание событий, заведомо неприятных. Тон

вид был вызывающий, содержание — удивляло и пугало одновременно. Вот что писалось там, к примеру, сразу за перечислением всяких российских неурядиц:

«Выход из этого гнетущего, страшного положения, губящего современного человека, и на борьбу с которым тратятся его лучшие силы, один — революция, революция кровавая и неумолимая,— революция, которая должна изменить радикально все, все без исключения, основы современного общества и погубить сторонников нынешнего порядка. Мы не страшимся ее, хотя и знаем, что прольется река крови, что погибнут, может быть, и невинные жертвы; мы предвидим все это и все-таки приветствуем ее наступление...»

И одновременно, словно исполнением изложенных в листке угроз и намерений, в Петербурге вспыхнули пожары. Начавшись в середине мая, продолжались они всего две недели, но и этого было достаточно. Около двух десятков пожаров (почти по два пожара пришлось на каждую часть города) потрясли столицу. А венцом был пожар Апраксина рынка, длившийся двое суток. Гигантское черное облако удушливого дыма висело над городом. Дул сильный ветер, и пылающие головни перелетали через Фонтанку на крыши домов, где день и ночь дежурили жители с водой. Пожарные обозы, густо скопившиеся вокруг, ничего не могли поделать, пожарники, хоть и падали от усталости, продолжали качать воду. На улицах ютились погорельцы. Не редела толпа любопытных и сочувствующих. Полицейский патруль с трудом отбил нескольких длинноволосых молодых людей, принятых за поджигателей. О пожарах писали все газеты.

Описанием пожаров полны мемуары, письма, книги того времени. Основное в них — не ужас перед огненной стихией, а страх перед неведомыми поджигателями. Мнение было единодушное, все считали, что поджигали студенты, настроенные революционно благодаря лондонской пропа-

ганде, поляки, озлобленные и мстящие за унижение родины, и профессиональные революционеры, уже подготовленные лондонской печатью, а возможно, и специально засланные оттуда. Слухи ширились, варьировались, обрастали лживыми деталями, но главное в них было — страх, возмущение, негодование. Чувства эти разделялись всеми снизу доверху: толпой, либеральной интеллигенцией, чиновниками всех мастей. Сразу и резко все оказались воедино перед лицом бушующего огня, и странно и страшно читать письма и записки того времени.

Литератор, профессор, цензор, академик Никитенко (дневник): «В поджигательстве никто не сомневается... Несомненно, кажется, что пожары в связи с последними прокламациями».

Литератор Боткин (вчерашний друг Герцена и Огарева, участник их дружеского кружка) — Тургеневу: «Внутри России страшные пожары, и нет никакого сомнения, что поджигают поляки. Это месть за неудавшееся восстание... Эта бессильная злоба растравляет только ненависть русского народа».

Академик Куник — историку Погодину: «Настоящие совратители молодежи, от которых идет поджигательство, это журналисты».

Архимандрит Порфирий: «Пойманы поджигатели Петербурга — студенты здешнего университета. Открыт заговор. Заговорщиков восемьсот. В числе их есть и литераторы».

Журналист Катков (он же начинает открытую кампанию против издателей «Колокола»): «От петербургских пожаров отрекаются революционные агитаторы,— отрекаются с добродетельным жаром. Но все их отличие от простых поджигателей в том только и состоит, что те поджигают по мелочи, а они — в большом масштабе».

Тютчев — своей жене: «Теперь ясно, что горсть негодя-

ев, одобряемая безнаказанностью, порешила перейти от слов к делу».

Профессор Кавелин (вчерашний друг, доброжелательный оппонент, корреспондент, мыслитель, видный публицист): «Боже великий! Да такой прогресс заслуживает только картечь и виселицу!»

Тургенев — Анненкову: «Страшно подумать, до чего может дойти реакция, и нельзя не сознаться, что она будет до некоторой степени оправдана. Государственная безопасность прежде всего».

В эти дни корреспондент газеты «Северная пчела» Артур Бенни писал: «Я только что возвратился с пожара или с пожаров — право, не знаю, как сказать. Впрочем, и ум, и тело утомлены непрерывной шестичасовой работой, а потому и слог мой не будет очень гладок и изящен».

Услышав в толпе гневливые толки о том, что поджигатели — студенты, Бенни крикнул, что это ложь, что студенты помогают гасить огонь, и вскочил на пожарную машину, заменив у помпы выбившегося из сил пожарника. Толпа была в восторге, но никто не вызвался помогать. До позднего вечера он простоял у помпы. На душе было смутно и тяжело. Будучи хорошо знаком со многими поляками (в том числе и с теми, кто уже организовывал восстание), он понимал, что они вовсе ни при чем. Бессильная ярость охватывала его, когда он слышал, что корни событий тянутся в Лондон — чем и как, да и кому мог он доказать безумие подобных предположений? И чуть с ума не сводила его единодушная (такая вдруг единодушная!) сплоченность всех (а ведь умнейшие, грамотнейшие люди, и проницательностью не обделила природа), кто еще вчера сочувствовал освободительным попыткам, откуда бы они ни шли, а сегодня, как испуганные дети к юбке матери, приникли вдруг к самым злостным охранительным мнениям. Решительный и энергичный, Бенни поступал всегда так, как диктовала его совесть и взбалмошный, честнейший харак-

тер. Он предложил генерал-полицеймейстеру города организовать добровольческие отряды для тушения пожаров — смысл был еще и в том, что работала в них молодежь, и таким образом снять с нее страшное подозрение. Газета поддержала его идею, генерал обещал посоветоваться наверху, а потом уклонился от ответа. Кто-то объяснил горестно недоумевающему Бенни, что на бедствие чиновникам наплевать, а если появятся добровольные дружины, то пойдут разговоры, что власти сами не в силах справиться со стихией, а такие толки куда страшнее огня. Дело было еще глубже, пожалуй, но Бенни и не смел подозревать до поры. Он метался, уговаривал, отчаивался, вызывая смех.

Месяц спустя, когда чуть утихло общее волнение, он шел, усталый и опустошенный, к себе домой, где поселились у него нахлебниками четверо молодых прогрессистов, принципиально не желавших трудиться. Они обирали и объедали его, вели пустые «освободительные» разговоры. Бенни понимал истинную им цену, но не хватало сил прогнать бездельников. Домой он шел нехотя и угрюмо.

Взвизгнув осью, прямо у тротуара остановились рядом с ним извозчичьи дрожки, из которых его окликнули полувопросительно:

— Господин Бенни?!

Вздрогнув от неожиданности, Бенни остановился. На него, приветливо улыбаясь, смотрел человек лет сорока пяти или чуть больше, высоколобый, бледный, с густой шапкой седеющих волос и глубокими темно-зелеными глазами, спокойными и пристальными.

— Господин Артур Бенни? — повторил человек.

Бенни молча кивнул головой.

— Не окажете ли мне честь побеседовать? — сказал человек, улыбаясь и рукой приглашая сесть к нему в дрожки.

— Но я вас не имею чести знать,— сухо ответствовал Бенни.

— Пустяки! — улыбнулся человек еще шире.— У нас

с вами есть превосходный общий знакомый — Николай Платонович Огарев.

Бенни весь внутренне насторожился, напрягся, хотел отречься от общего знакомства, но было в странном человеке, так открыто и спокойно произносящем запретное и опасное имя, что-то очень располагающее и доброе. И неожиданно для себя Бенни вдруг неприязненно и хмуро сказал:

— Вы, должно быть, не осведомлены, милостивый государь, что я...

— Агент Третьего отделения! — захохотал человек так заразительно, что и Бенни усмехнулся, ощущая, как тает у него внутри неподвижный лед последнего года.— Конечно, осведомлен. Кто же не осведомлен об этом нынче? Садитесь, пожалуйста, окажите любезность,— и незнакомец уже обеими руками указал на место рядом с собой.

Бенни, не колеблясь более и не отнекиваясь, вскочил в дрожки. Отчего-то ему было весело и покойно. Минуты две они молча рассматривали друг друга.

— Фамилия моя Хворостин, зовут меня Иван Петрович,— заговорил высоколобый человек просто и дружелюбно.— Мы довольно много общались и даже, смею сказать, подружились с Николаем Платоновичем, но судьба, как видите, резко развела нас. Думаю, что навсегда.

— Вы так просто произносите вслух это имя,— осторожно заметил Бенни.

— А потому что,— Хворостин опять засмеялся, и Бенни тоже улыбнулся непроизвольно, сам не зная почему,— потому что у меня вовсе нет мании величия.

— Не понимаю? — сказал Бенни.

— А у нашего брата мания преследования, страх — в основном от гордыни, от мании величия, от ощущения, что он персона значительная и все его мнения и связи значимы и опасны для правительства.

Идея эта понравилась Бенни, и он одобрительно засмеялся, проникаясь доверием и покоем.

— А я гордыни всякой чужд, обыватель в чистом виде,— говорил Хворостин.— Прошу вас, господин Бенни. Я сейчас живу в Москве, переехал, в Петербурге бываю редко, так что не обессудьте, приму вас в гостинице. Впрочем, у Демута полное ощущение домашней жизни. Будь добр, милейший,— это он говорил уже гостиничному служителю, почтительно осклабившемуся навстречу,— в мой номер какой-нибудь холодной закуски. Вы коньяк пьете? — спросил он у Бенни.

А Бенни в это время вспоминал, как они пустились с Ничипоренкой в то злополучное путешествие по России и Ничипоренко в первом же трактире почти немедленно вслед за высокими словами, непрерывно лившимися из него, грязно обругал и толкнул мальчонку-полового, принесшего не совсем то, что было заказано.

— Пьете коньяк? — повторил Хворостин, открывая дверь в просторный, чистый номер, заваленный книгами.

— Нет, я не пью ничего,— сказал Бенни.

— Ну шпион, конечно же шпион,— засмеялся Хворостин.— Если не пьет, кто же, как не шпион. Я, знаете ли, эту чушь про вас давно слышал и еще тогда хотел познакомиться. Очень я по Огареву соскучился.

— А почему, собственно, вы так уверены, что это чушь? — по-мальчишески задиристо спросил Бенни.

— Понимаю ее происхождение,— спокойно ответил Хворостин.— Усаживайтесь... Курить я вам не предлагаю. Не курите, конечно? Представьте себе, невзлюбил я кого-то или просто мне кто-то неприятен,— к примеру, видит меня насквозь, что я сукин сын, и лгун отчаянный, и пустое место. Как я могу ему за эту проницательность отплатить? Дураком ославить? Глупо, разберутся, что дурак не он, а я. Негодяем или подлецом? Нужны факты. А шпио-

ном — легко и надежно. Проверить нельзя, опровергнуть невозможно. Шпионы всем вокруг чудятся, как бес в средневековье. И карьера человека кончена, одни сторонятся молча, а другие открыто руки не подают. Тем более что в вашем облике и поведении есть достаточные к тому основания.

— Какие? — хрипло спросил Бенни.

— Явственные,— охотно объяснил Хворостин.

Вошел половой, неся на подносе обильную и разнообразную закуску. Пока он накрывал на стол, оба молчали. Хворостин достал початую бутылку и налил себе и Бенни.

— Явственные,— повторил он.— Человек сдержанный, деловой, энергичный. Вертится в кругах, где все до единого обладают чертами, ему противоположными. Кто же он? Организатор, эмиссар, глава или подосланный провокатор. Чужой вы в этих кругах... Артур?

— Отца моего звали Иоганном,— медленно проговорил Бенни, оглушенный точностью объяснения.

— Артур Иванович, значит, не правда ли? — Хворостин поднял рюмку.— Выпьем за Николая Платоновича, чтобы он был счастлив. Он заслуживает этого. Ну пригубьте хотя бы, я ведь не настаиваю.

— С удовольствием,— сказал Бенни.— Только, признаться честно, я плохо знаю Огарева, хотя больше года бывал у них очень часто. Он замкнут, меланхоличен, весь в себе.

— Да вы еще по молодости больше Искандеру в рот смотрели, не правда ли? — засмеялся Хворостин, собирая лоб складками, отчего и глаза у него поднимались к бровям.

— И это правда,— Бенни широко улыбнулся. Впервые за долгие месяцы он был раскован и весел.

— Это и потому, быть может,— Хворостин накладывал Бенни в тарелку закуски, делая это ловко, с предвкуше-

нием удовольствия,— что вы с ним чрезвычайно, до невероятия похожи.

— Мы? — Бенни от удивления опорожнил рюмку.

— Да, конечно, чрезвычайно,— подтвердил Хворостин.— Не говоря уже о душевной чистоте, которая на расстоянии светится в вас обоих, есть еще сильнее общее. Такая...— Он замялся, подбирая слово.

Бенни вспомнил свои ощущения, связанные с Огаревым, и поторопился сказать:

— Не стесняйте себя, не бойтесь обидеть.

— Что вы! — воскликнул Хворостин.— Наоборот! — Он проницательно и быстро взглянул на Бенни.— Да вы совсем не поняли своего подобия! Совсем. Удивительно. И понятно вроде бы. Это черта, которой люди стыдятся. Этакая высокая романтическая слепота, побуждающая человека совершать поступки, легко трактуемые как глупость.

— Понимаю вас,— сказал Бенни.

— В литературе этот тип всего полнее представлен Дон-Кихотом,— очень серьезно и грустно продолжал Хворостин, и две глубокие складки пошли по его лицу от глаз почти вертикально.— Только русские ветряные мельницы — зло реальное и нападающих бьют наотмашь. Да вы, мне кажется, и не ждете добра от своей жизни.

— Иногда жду,— откликнулся Бенни.

— Вот это правильно! — Хворостин опять посветлел.— Я за вашу сохранность пью,— сказал он ласково.— Не за физическую, разумеется. В этом смысле вы обречены. За духовную.— Он чокнулся с пустой рюмкой Бенни, съел кусок лимона и вытащил из кармана трубку.

— Ну, а кто же вы-то будете по литературному прейскуранту? — заинтересованно спросил Бенни. Он впервые видел такого человека и сейчас ощущал к нему острый интерес и безграничное доверие.

Хворостин зажег трубку и не торопясь вкусно затянулся.

— Мы это с Николаем Платоновичем обсуждали,— сказал он, выдыхая медвяной дым.— Но тогда еще ответа не было, хоть идея и приходила мне в голову. А вот теперь господин Гончаров ее воплотил. Думаю, что я Обломов.

— Ну, не скажите,— Бенни хотел было горячо запротестовать, но замолчал, вдруг осознав, что Обломов — это не обязательно диван и полусонная неподвижность.

— Право, это мало интересно,— сказал Хворостин.— Поговорим лучше о вас, если позволите. Что вы поделываете сейчас?

— Да вот пожары тушил,— скупо улыбнулся Бенни.

— Ну как же, это я все читал.— Хворостин перестал курить и вертел трубку, не сводя глаз с Бенни.— А с поджигателями все та же неизвестность?

— Пока сознались двое — сумасшедший учитель, который поджег свое училище...

Хворостин закивал головой усиленно.

— ...и лавочник ради страховой премии. А все остальные, больше трех десятков задержанных, ни в чем не повинны.

— Значит, так никто и не изобличен, по сути? — упорно повторил Хворостин.

— Толки продолжаются те же, только ассортимент стал побогаче: уже не только поляки, студенты и революционеры виноваты, но будто бы даже и помещики, недовольные отменой крепостного права.

— Смешно,— задумчиво сказал Хворостин, не улыбаясь.— И ни одного изобличенного. А знаете, между прочим,— продолжал он,— мне приятель рассказывал, что всюду разослана инструкция с очень забавным названием: «О порядке производства следствия о пожарах, когда не открыто ни преступления, ни преступника».

— То есть инструкция, как заминать дело? — удивился Бенни.

— Ну да, да,— кивнул головой Хворостин, продолжая с полуулыбкой в упор смотреть на собеседника.— Как будто известно заранее, что настоящий поджигатель пойман никогда не будет.

— Вы хотите сказать...— в ужасе произнес Бенни.

— А неужели вы в самом деле не догадались ни о чем, варясь столько времени в самом пекле? — спросил Хворостин.

— Послушайте, это невозможно.— Бенни был так ошарашен, что на лбу у него выступили капли пота. Он наскоро отер их.

— Я и не утверждаю,— сказал Хворостин медленно,— что все так уж прямо: отдали откуда-то сверху приказание, обсудили и указали, где и чему гореть. Вовсе нет. От решения в тишине, от недомолвок, взаимопонимания, молчаливого уговора и согласия до конкретных исполнителей — пропасть, невосстановимая уже цепочка, которую никогда не обнаружить. Но посудите сами: кому это в конечном счете на пользу?

— Это несомненно,— хрипло откликнулся Бенни. Он все никак не мог прийти в себя.

— Только власти это и на пользу,— спокойно продолжал Хворостин.— Посмотрите-ка, как мгновенно сплотилось русское общество: снизу доверху жмется сейчас к начальству, как ребенок, до поры капризничавший и даже склонный попроказить и вдруг увидевший, к чему ведут проказы. Притом обратите внимание: все люди самых разных убеждений. Тот, кто был противником отмены нашего рабства, увидел воочию — и не где-то в Тьмутаракани Сызранского уезда, а посреди столицы,— что такое красный петух и как это будет выглядеть, если рабы станут освобождаться сами. Либералы, мечтающие о революции, чтобы зажить на английский манер с роскошными свобо-

дами для их роскошных личностей, столь же воочию увидели, через что им придется пройти, если расцветет столь любезная им сегодня крамола. И вообще все, все увидели, что только на власть и надежда, а значит — будут оправдываться все до единого ее деяния. Утихомирить революционную пропаганду? — умоляем, благодарим, надеемся. Стереть с лица земли Польшу при малейшем ее новом побуждении? — благодарствуем и благословляем. Я тут из одной газетки даже наизусть фразу запомнил.

И Хворостин продекламировал с чувством:

— «Если бедствие народа идет не от власти, то оно ведет не к разрыву, а к более тесной и близкой связи народа с властью».

— Просто вот так, без жалости и сочувствия, по одному разумному, холодному расчету? — спросил Бенни. Ему стало ясно сейчас, как смешно он выглядел, когда лез по инстанциям с предложением о добровольной команде студентов-пожарников.

— Дело государственное,— пожал плечами Хворостин.— Разве тут до жалости, когда речь о пользе идет? Да, вот и еще один симптом: вы обратили внимание, как мгновенно появились всякие лубки и гравюры, изображающие народное бедствие? А ведь печатались далеко — в Германии, небось посольство торопило и участвовало. Чтобы у всех пожар перед глазами явственно и подольше стоял.

— Да, да,— подтвердил Бенни.— А вы видели гравюру — проект памятника Герцену на сгоревшем Толкучем рынке?

— Нет, эту не видел,— заинтересованно и даже весело сказал Хворостин.

— Пьедестал, а на нем Герцен, в руках топор и факел, а внизу надпись: «Искандеру от разоренного народа».

— Красиво,— протянул Хворостин.

Если бы Хворостин мог прочитать чуть позднее доклад министра внутренних дел Валуева, человека мудрого и

деятельного, он бы поразился созвучию своих мыслей с мнением, излагаемым для государя. Торжествующим тоном констатировал проницательный министр достигнутое всеединство населения:

«Чуткое чувство самосохранения возбудило другие чувства, которым следовало бы пробудиться и ранее майских пожаров. В эту эпоху совершился первый благоприятный переворот в общественном мнении... В некоторых литературных органах стала заметною перемена направления; наконец, в них появились прямые протесты против изменнических действий наших заграничных агитаторов, до тех пор пользовавшихся в России непостижимым кредитом».

Далее министр внутренних дел с тем же деловым торжеством заверял государя, что отныне любые решительные и энергические меры правительства будут встречены, несомненно, всеобщим сочувствием населения, независимо от сословий и вчерашних воззрений. В скором времени потопление в крови польского восстания убедительно показало его правоту.

— Так что, выражаясь судебным языком, правительство не изобличено, но остается в сильном подозрении,— сказал Хворостин, усмехаясь.

— Страшную вы мне мысль сообщили,— поежился Бенни.

— Огарева мне до чрезвычайности жаль,— продолжал Хворостин.— Сейчас их влияние и само внимание к ним, доверие резко пойдут на убыль. Помяните мои слова.

— Вам лично Огарева жаль или самое их дело? — спросил Бенни.

— Николая Платоновича я полюбил очень,— медленно ответил Хворостин.— Дело в том, дражайший, что мы оба вам в отцы годимся, и оттого только я не сумею объяснить вам, как в наши годы привязываешься к человеку... Он ведь... ну да что говорить. Может, и нету таких других. А дело их мне тоже по душе вполне. Приятно, знаете ли,

слышать голос российской совести и одновременно сознавать, что он в безопасности.

— Ах, так это ваши слова,— по-мальчишески восторженно воскликнул Бенни, и глаза его засияли от удовольствия,— я их давно уже, давно слыхал!

— Да что в словах толку,— пожал плечами Хворостин, хотя восторженность эта явно польстила ему. Он снова разжег трубку.— Я ли произнес их или другой — слова пустяк. А их престиж обреченный — жалко очень, как бы и вовсе не свернулась газета. Кроме них, ее никто не возобновит.

— Но они воспитали целое поколение,— осторожно заметил Бенни, стараясь тоном своим показать, что не о собственном самолюбии он сейчас говорит.

— Оставьте.— Хворостин брезгливо скривился и, глянув искоса на Бенни, добавил: — Вот на вас, кстати, я бы положился вполне, только вы не русский, а Россию надобно чувствовать для такого дела. А другие...— Он замолчал, и Бенни молчал, ожидая, чтоб разъяснилось мнение, столь же неожиданное для него, как гипотеза об источнике пожаров.

— Вы хотите, чтобы я объяснился? — медленно заговорил Хворостин.— Извольте. Прежде всего, ваши коллеги по освободительным идеям катастрофически необразованны. От их суждений так и несет незаконченной семинарией или гимназией, брошенной по нехватке времени. Отсюда крайняя узость мировоззрения, жесткость и недалекость мышления, полная нетерпимость к несогласному мнению. И, извините меня, хамство, которое молодостью не оправдать.

— Вы не преувеличиваете? — спросил Бенни.

— Конечно, преувеличиваю,— сказал Хворостин спокойно.— Только ведь польза преувеличений очевидна, если хочешь что-нибудь видеть отчетливей и ясней.

— Вы знаете Ничипоренко? — спросил Бенни с надеждой.

Хворостин негромко рассмеялся.

— Нет, батенька, не знаю. Видите, вам хочется, чтобы сказанное относилось к конкретному лицу. Значит, с характеристикой вы согласны, правильно ведь я понял?

Бенни кивнул головой. Слов для возражения он не находил.

— Внутренней свободы в них нету,— безжалостно продолжал Хворостин,— той свободы, которая и другого человека полагает свободным. Собакевич постеснялся бы так поносить честных и глубоких мыслителей, как это делают они только из-за своего несогласия. Чем это отличается от барских зуботычин или конюшни для любого ослушника? Словом, простите, я увлекся, больная для меня тема. За Искандером и Огаревым пошла какая-то пустота, это страшно, и сколько так продлится — не знаю.

— В самом деле,— заинтересованно сказал Бенни,— вы обнаружили горячность, вам, кажется, не очень свойственную. Чего же тут обидного, вы-то ведь ни в чем не участвуете?

— Милый мой Артур Иоганнович,— сказал Хворостин, сморщив лоб и широко раскрыв глаза, словно гримасничая, чтобы сгладить и снизить серьезность своих слов,— вы по молодости лет, уж простите мне, старику, это запретное в споре упоминание о зелености вашей, полагаете, что добра своей стране желают лишь те, кто в вашем лагере. А кто-де не с вами, тот ретроград, консерватор и темный барин.

Бенни усмехнулся чуть сконфуженно и пожал плечами.

— Не обессудьте,— мягко попросил Хворостин.— Не обижайтесь. Я это по доверию к вам говорю. Единственно, чтобы на своей печальной уверенности настоять: Герцена с Огаревым покуда заменить некем. А их престиж и к ним внимание рухнут не сегодня завтра. Больно хороший под них подкоп устроен. Уж не знаю, право, на чем они сорвутся, но с горечью вижу неминуемость. А я не только

по-человечески им успеха желал, а и по другим чувствам. Это ведь на самом деле неизмеримо, что они для страны сделали. Воздух свободы сюда вдували. Настоящей свободы, мыслящей, черт возьми! Ну да вы меня понимаете.

— Понимаю,— сказал Бенни, вставая,— и спасибо вам за беседу.

— Это вы благодарствуйте, душу отвел. Заходите, поболтаем еще, ведь сегодня я один говорил.— Хворостин тоже встал и подошел к окну, тяжело наступая на отсиженную ногу.— И поберегите себя,— сказал он вдруг Бенни,— поберегите. Видите, вон фельдъегерская к заставе поскакала. Кто поручится, что это не за одним из ваших приятелей? А они, взяты будучи, протекут мгновенно, помяните мое недоброе слово. Больно уж они друг к другу требовательны и нетерпимы. А такие, нажми на них, очень податливые оказываются. Твердые, те со своими мягки. Помяните мое слово.

Бенни пожал Хворостину руку и вышел, переполненный чувствами смутными, будоражащими, освежающими, как холодный дождь в горячий полдень. Что-то очень, очень важное понял он сегодня.

Но было уже слишком поздно.

Ибо вскоре пошло, разворачиваясь и ширясь, дознание о связях и знакомствах несчастного Ветошникова, схваченного на границе с письмами Герцена и Огарева. Что ни день, распухало «Дело о лицах, обвиняемых в сношении с лондонскими пропагандистами». Восьмитомным стало оно ко времени суда, а упоминалось в нем более семидесяти человек.

Нити следствия вели в разные города. Отовсюду привозили арестантов, так или иначе причастных к вольному лондонскому станку. Несколько из них почти сразу же, как и предсказывал печальный провидец Хворостин, протекли полновесными искренними признаниями, полагая сыскать облегчение своей участи. Ничипоренко, наговорив-

ший больше всех и на всех, кого знал, умер во время следствия, не перенеся терзающего страха. Один сошел с ума и обвинял государя в личных связях с Бакуниным и разбрасывании возмутительных прокламаций.

Артур Бенни, о котором и ранее ходили смутные толки, в это время как ни в чем не бывало разгуливал на свободе, правда, на допросы его вызывали, но каждый раз отпускали под расписку. И опять поползли слухи. Существует давняя логика: коли забрали — есть за что; если остался нетронут — провокатор. Многое множество бед породило это правило, всем своим невыносимым грузом легши теперь на чистейшего Бенни. А дело-то заключалось в том, что оставался он британским нодданным, и, хотя далекой Британии наплевать было на своего заблудшего сына, российская полиция забирать его, однако, не осмеливалась. Понимали: и так не сбежит. Но ведь каждому это не объяснишь! И тогда Бенни совершил очередной безрассудный поступок: подал заявление с просьбой о даровании ему российского подданства. Он писал, что понимает, почему, в отличие от остальных, избавлен от мер подследственного пресечения, и поэтому «желал бы добровольно отказаться от этого преимущества именно теперь». Но ответом его не удостоили.

Приговоры вынесли довольно мягкие, ибо суд пришелся на время, когда уже явственно падало влияние «Колокола» и люди, причастные к нему, казались не слишком опасными. Самый главный на процессе человек — Николай Серно-Соловьевич — получил вечную ссылку в Сибирь, где вскоре и умер. Сослан был и несчастный Ветошников, тоже умерший в Сибири. А Бенни приговорен был всего к трем месяцам тюрьмы с последующей высылкой за границу. Через два года умер он в Италии, раненный в одном из последних сражений освободительной армии гарибальдийцев. В госпитале, не зная, что умирает, написал в Россию длинное послание, умоляя разрешить ему вернуться...



ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

— Значит, что же у нас сегодня? Январь фактически уже прошел. Не правда ли? — спросил наборщик. Впрочем, вопрос был чисто риторический и задавался он самому себе. Наборщик хмурил брови, высчитывая возможные сроки. Огарев терпеливо ждал.

— Что ж, к середине февраля наберем. Годится?

— Этого года, я надеюсь? — Огарев скупо улыбнулся.

— Этого, этого, шестьдесят третьего,— захохотал наборщик.— Уж это я вам, Николай Платонович, твердо обещаю. Вы сейчас домой?

— Нет, я пройдусь немного,— рассеянно ответил Огарев, пожимая сильную руку.

— Стихи? — понимающе осведомился наборщик.

— Стихи,— согласился Огарев.— Успеха вам. Не нарушайте срока, раз уж обещали...

И, сутулясь, вышел на свежий воздух. От запаха типографской краски начинало ломить голову. Он соврал, дело было не в стихах. Он никогда не писал их на ходу. Ему нужен был для этого стол, перо и бумага, чтобы рисовать закорючки, пока приплывают, укладываясь в народившийся ритм, неведомо откуда берущиеся слова. Пешком из типографии он ходил часто, никому не говоря почему. Да и как было объяснить, что всего в километре отсюда маленький канал чуть заворачивал куда-то и на углу его, пробив мостовую, скучился пяток деревьев и стоял небольшой особняк, близко подступая к ограде канала своими полуоблупленными стенами. Что-то здесь неуловимо напоминало Москву, и хотя Огарев не мог бы точно сказать, что именно, но, бывало, простаивал здесь часами. Особенно в плохом настроении. Сегодня оно было из рук вон. Вчера, подходя к дверям герценовского кабинета, он услышал, как громко, навзрыд плачет Натали. Снова, оче-

видно, происходила одна из бесконечных ссор. Жизнь их не заладилась. Герцен был вечно занят, углублен в себя, разговаривал с десятками людей, уставал, раздражался, не терпел никаких возражений. А в Натали вдруг проявились упрямство, истерическая капризность, требовательность. Раньше этого не было никогда. Как-то размышляя, Огарев с хмурой усмешкой решил, что просто это он очень податлив и мягок и всецело был обращен к ней, а теперь вот нашла коса на камень. Он пытался однажды поговорить с Герценом, сочинил мирную первую фразу задолго до разговора, приступить к которому опасался. И, выбрав момент, сказал вдруг:

— Я, конечно, понимаю, Саша, нету бóльших семейных деспотов, чем борцы за освобождение человечества...

Герцен резко перебил его:

— Очень тебя прошу, Ник, никогда не пользуйся тем, что нам с тобой невозможно поссориться. Предоставь мне самому расхлебывать мною же заваренное. И поверь, я говорю так из любви к тебе, а не от гордыни.

— Но Наташа,— сказал Огарев.

— Она требует невозможного,— жестко сказал Герцен.— Она требует меня всего. Ты-то ведь понимаешь, что, даже не занимайся мы тем, что делаем, я не в силах раствориться до конца только в семейном счастье. А она тем требовательнее, чем я уступчивей. Это самое большое, милый Ник, что я могу тебе сказать. И прости меня, постарайся понять, чужому я рассказал бы больше.

И вчера, услышав этот плач, Огарев повернулся, чтобы уйти, но против желания расслышал ее восклицание:

— Я уеду! Я в Россию вернусь! Не позволите, буду жить отдельно! Не могу! Не могу я больше, не в силах!

И вслед за криком зажурчал спокойный, негромкий голос Герцена. Огарев отошел от двери и уже не слышал его слов. Два года назад уже было такое. Неужели два? Да, Лизе уже почти четыре. Лизе, отцом которой считается он, Ога-

рев, и никому не известна истина. Они молча решили, не сговариваясь, никому ничего не говорить, ничего не выносить наружу. И вот у Огарева уже есть прелестная четырехлетняя дочь. Интересно, будет ли она, выросши, так походить на Сашу, что возникнут неловкости и косые взгляды? Очень возможно: Александр Герцен-младший вон как походит на отца. Правда, внешностью и более ничем, но ведь и здесь все дело как раз во внешности.

Да, два года назад была очень крупная размолвка. Уехав на лето с маленькой Лизой в Берн, чтобы там встретиться с друзьями из России, Натали осенью отказалась возвращаться. Уже нагрянули холода, и как раз проездом из Италии, куда отправился сразу после Лондона, в Берн приехал, чтобы ее навестить, Николай Серно-Соловьевич. Чистейший, благороднейший Серно. Он сразу понял, как далеко зашел семейный разлад, пожалел бедную одинокую женщину и с прямотой своей и искренностью почел непременным долгом своим написать Огареву письмо, чтобы выразить свою горечь и боль.

Грузный, немолодой мужчина, стоя у ограды канала в распахнутом пальто с непокрытой головой, только ветер ерошил длинные волосы, вдруг громко и тоскливо рассмеялся. Оглянулся, его никто не слышал. И он опять рассмеялся, уже тише. Да, да, ему, Огареву, написал тогда Серно-Соловьевич. Он ведь, как и все другие, ничего не знал и ни о чем не догадывался. Он писал взволнованно, с любовью, требовательно.

В этом письме Серно-Соловьевич выразил тогда очень точно и прямо жесткие обязательства, лежавшие на них обоих — на Огареве и Герцене — в связи с тем, что тысячи глаз устремлены на них зорко и неотрывно.

Та нравственная высота, на которой стояли добровольные лондонские изгнанники, так несовместима была в представлении боготворившего их Серно-Соловьевича с любой, самой мелкой человеческой слабостью, даже с обык-

новенной размолвкой! Он описывал, как во время первого их дневного разговора на террасе вздрагивала Тучкова то ли от холода, то ли от сдерживаемых рыданий, вечером же непроизвольные слезы пробивались у нее. Нет, она не жаловалась, она говорила, что во многом виновата сама, что размолвка временна, что все в порядке, отвечала уклончиво, обиняками, туманно. Все это Серно-Соловьевич, естественно, соотносил с Огаревым. И, к нему обращаясь, писал:

«Вдумайтесь ради всего в жизнь, на которую осуждена теперь эта женщина, и дайте себе отчет, спрося только собственное сердце, что она должна выстрадать в течение каждых суток. Дайте себе ясный отчет, умоляю вас, что за невыносимая жизнь женщине, одной, в чужой стороне, среди чужих! Нескончаемые, холодные, сырые дни тянутся беспрерывной вереницей, принося один, как и другой, одиночество, тоску, грусть, горе, физические лишения, душевные терзания, оскорбленное и, быть может, оскорбляемое самолюбие... Будучи в Лондоне, я часто подмечал у вас обоих тоску по России... Подумайте же, если вы, мужчины, погруженные в дело, имеющие призвание, знающие, что каждый час вашей работы приносит громадную пользу, чувствуете, как зачастую щемит сердце — что же должна ощущать женщина, оторванная от родины, дважды от семьи, одна, без призвания, без всякого дела? Страшно подумать, если бы самому пришлось быть в таком положении!.. Я решительно не могу придумать преступления, за которое можно было бы, при наших убеждениях, осудить женщину на такие страдания».

Только благородством и любовью продиктовано было это письмо, дышавшее чистотой и заботой.

«Пойдут бесконечные отвратительные сплетни, действие которых будет тем сильнее, что они будут опираться на факт. Черня лично вас, будут клеветать и марать нашу

общую святыню, наши убеждения и начала. И нам только нечего будет отвечать, потому что при каждом слове будет приправа: «Огарев бросил жену и ребенка», «жена Огарева не была в состоянии выносить жизнь с ним» и тому подобное. Что ни возражай, как ни объясняй дело — за них будет факт вашей разлуки».

Он писал, одно и то же повторяя,— умоляя, заклиная, уговаривая,— многословный от отчаяния и желания быть услышанным, чего бы это ни стоило ему, так недавно еще знакомому, настолько младшему, вряд ли имеющему право голоса перед такими людьми. Но — писал.

«В семейных делах судей быть не может, но наверно всегда есть доля вины на обеих сторонах; можем же ли мы равнодушно видеть, что всю тяжесть неприятностей несет одна, слабейшая? Как бы вина ни была велика...— такой образ действий был бы непростителен даже людям деспотизма. Поверьте мне, дорогой друг, если б даже право было безусловно на вашей стороне, в глазах ваших друзей вы не можете быть правы нравственно. Я сужу по себе. Конечно, сильнее любить вас, быть с вами более заодно как я — невозможно. И до чего меня коробит, как подумаю о Наталье Алексеевне, я и сказать не умею. Что же скажут другие, более или менее равнодушные? Умоляю вас, во имя всего, что вам дорого...»

Другие, более или менее равнодушные... Разумеется, от многих не было тайной, что не так уж хорошо все в этом доме на жилом, а не на приемном этаже. Это ведь никогда не укроешь. И естественно,— к кому же иначе? — относили это все к Огареву. Очевидно, к скрываемым чертам характера, может быть — к тому, что он болен. Да мало ли, что можно придумать, если хочется заметить и объяснить.

Снова громко и горько засмеялся над самим собой человек, стоявший у ограды канала. Мало, что он потерял эту женщину, последнюю женщину, которую так любил,—

он еще должен теперь нести полную ответственность за тот внешний рисунок жизни, что сложился у нее с другим. Что же, значит, будет еще и это. Впрочем, ведь и они мучаются вместе с ним. Однажды он видел письмо Натали, Герцен показал одну фразу, отогнув листок сверху и снизу. Она писала: «Боже мой, когда же я перестану даже невольно быть казнью для него?» Никогда, Наташа, никогда. Мы все трое прекрасно это знаем. И ничего тебе не сделать с собой. С твоим характером, от которого ты сама плачешь после каждой вспышки, с твоим одиночеством, хоть есть у тебя семья. Ничего. Значит, этот крест нести и нам. Многих уже вовсе нет.

Огарев смотрел на медленно плывущие по каналу разрозненные листья и думал, как банальна эта картина: стоит поэт, смотрит на плывущие осенние листья и размышляет об ушедших людях. С листьями хоть все ясно, а куда вот они девались — ушедшие?

С год назад появился в типографии молодой человек, назвавший себя Дубровиным и не скрывавший, что имя выдуманное. Говорил, что поручик, окончил училище юнкеров, направлен был в полк, но из отпуска исчез — как растаял. В Лондон пробрался через Финляндию. Отчего сбежал, толком объяснить не мог. На расспросы отмалчивался или говорил невнятицу. Проработал год наборщиком и исчез так же неожиданно, как появился. Нет, не убежал, отнюдь — объяснил, что без России жить не может. И пропал — куда, неизвестно. Разыскать его так и не удалось, как ни расспрашивали приезжих. Ну да велика она, Россия. Более пятидесяти лет спустя подняли в старых архивах дела, и оказалось, что поручик Бейдеман — таково было подлинное имя Дубровина — без суда и следствия заточен был в Алексеевский равелин, ибо, схваченный, обозначил себя на следствии как цареубийца. Дескать, для того собирался убить царя, чтобы народ, видя в нем, убийце, помещика, мстящего за освобождение крестьян, под-

нялся бы на уничтожение дворян. В них Бейдеман видел главную пагубу для России. Невообразимые зигзаги совершала русская освободительная мысль. В крепости за двадцать лет сошел с ума и кончил свои дни в Казанской больнице Всех Скорбящих.

Огарев понимал, что толкнуло его на побег в Россию. А они разве могли без России? Как-то раз, когда только близкие остались, Герцен аккуратно закрыл дверь в свой кабинет, обернулся и сказал весело:

— А сейчас, господа, давайте сделаем вот что: сядем и споем все вместе.

Все равно было, что петь, лишь бы песня была русская, памятная с дальнего детства. И тогда опять вспомнил Огарев про поручика, не вынесшего разлуки, и всем сердцем позавидовал ему.

Было, кстати, в этом странном, быстро забытом наборщике еще одно: тщеславие, что ли, или честолюбие, но болезненное, язвительное. Проявлялось это в мнительном внимании к тому, часто ли приглашают его в дом просто погостевать. А Герцен придумал форму поощрения и осуждения: переставал звать в гости, если был кем-либо недоволен. Дубровин очень злился на это. Ну да бог с ним, где-то он сейчас, интересно. И вот еще что интересно: тщеславен ли Николай Платонович Огарев? Честолюбив ли? Вроде бы по всему получалось: нет. Огарев засмеялся по-мальчишески жизнерадостно, закурил и решил присмотреться пристальней к этому поэту, настолько странному, что не тщеславен и не честолюбив. Ибо качества эти не просто для поэта естественны, они необходимы ему, они — часть того целого, что побуждает работать. Неужели он и вправду их лишен? Может, оттого и ленив? Ну, в поэзии ладно, тут вообще все неясно. Он-то знал, как это бывает: не можешь вдруг не писать, словно кто-то тобой пишет, как живое перо тебя используя. А вообще? Но не было у него никогда желания стать предметом восхищенных взгля-

дов, слов, междометий. В Петербурге только, пожалуй, когда таскали из дома в дом почитать стихи, ахали, брали переписать, исполняли, ожидая авторского мнения. Ну приятно было, не более. Как будто сладкая теплота где-то глубоко внутри разливалась, и хотелось продлить ощущение во что бы то ни стало. Правда, тоже потом ушло, но было. И еще. Позже. Когда стали приезжать из Петербурга люди и советов спрашивать, как объединяться. С помощью воскресных школ, читален, клубов всяких, как угодно, но сплотиться, соединиться. Действовать и легально и подземно, чтобы тайный центр был, организация и знать во имя чего. Приняли в основу его прокламацию «Что нужно народу?». Более того, название своей организации, центру своему дали по его же словам, по заголовку: «Земля и Воля».

Разные среди них были люди. Настолько разные, что даже Огареву не все по душе пришлись, хоть любимой темой шуток Герцена было его полное неумение разбираться в людях. Зато те, кто понравился, ведь и впрямь удивительные люди. Тот же самый, к примеру, Николай Серно-Соловьевич. А вот брат его не понравился. Нервозностью, апломбом, резкостью. Зато Обручев очень пришелся ко двору: умница, спокойный, чистый. Что ему надо в движении? Профессор, процветание. Есть люди, которых изнутри как ознобом трясет от несправедливости. Этакий странный гражданственный непокой. С Обручевым и связано было воспоминание об удовольствии, доставляемом почитанием. В нем совершенно ведь не было заискивания, лести, приниженности. Даже наоборот, скорей, величественная скромность. Но он так разговаривал с Огаревым, так выслушал его и так расспрашивал, что отношение его сладко согрело Огарева. Так согрело, что помнит и посейчас. Впрочем, разве это тщеславие, разве честолюбие? Разве было ему хоть раз обидно или больно, что повсюду, где он с Герценом, он второй? Никогда. На-

оборот. Так хотелось. Так казалось справедливо и разумно. Впрочем, черт с ним, с этим странным Огаревым, интересно вот, что станется с «Землей и Волей»? Эти аресты, этот глупый провал все смешали, сорвали и разметали. А уже ведь все так и складывалось, что их органом становился «Колокол», и глядишь, получилось бы что-нибудь. Или все равно не получилось бы? Много мифа было в «Земле и Воле». Вроде бы возникла организация, но уж очень каждый сам по себе. Трудно с образованным сословием. У каждого свои идеи, и амбиция, и неосторожность, и несдержанность, и нетерпимость. А быть может, постепенно сумели бы подготовить широкие круги, чтобы разом отовсюду и во весь голос потребовать Земского собора? А собор бы решил что-нибудь? Даже если бы даровал его царь? Как писал неизвестный тот автор? «Много лет губит Русь наша вера в добрые намерения царей». Дескать, звать ее пора к топору. Против этого Герцен тогда статью написал. Да и Пушкин, конечно, прав о российском бунте: бессмысленный и беспощадный. Только, может быть, в нем и выход? Ох, не знаю. Вот Мартьянов знает. Интересно: появляются люди, своей убежденностью одно из твоих сомнений доводят до такого абсурда, что и сомнение отпадает, и ясным становится непригодность этого пути. Удивительный человек Мартьянов. Чисто русская, непостижимая, мятущаяся, в противоречиях, и в то же время цельная и последовательная душа...

Сын крепостного крестьянина, сызмальства вдоволь хлебнувший рабства, Петр Алексеевич Мартьянов личностью был и впрямь необыкновенной. Вырос на Волге, с юности сметку и энергию проявил, рано стал самостоятелен, занялся хлебной торговлей. В двадцать с небольшим стал уже известен в округе как честнейший и доброжелательный человек, собственным умом и настойчивостью добившийся и состояния и авторитета. Мечтой о воле распаленный, самолюбивый, ценивший независимость пуще все-

го на свете, был он крепостным знатного вельможи, графа Гурьева, который увековечил свое имя знаменитой «гурьевской кашей» собственного изобретения и неустанно совершенствовал этот густой фруктово-рисовый полусуп. На робкую просьбу о воле граф ответил смутным обещанием, и Мартьянов принялся еще ревностнее сколачивать деньги для выкупа. Вскоре управляющий графа спросил его от имени хозяина, сколько Мартьянов может заплатить. Тот от нетерпения предложил сумму вдвое большую обычной выкупной цены. Управляющий, хмыкнув неопределенно, обещал сообщить вельможному владельцу. А через некоторое время ответ передал: граф гневаются и говорят, что мало. И назначил цену всемеро большую, чем назвал спервоначалу Мартьянов. От желания воли, от нестерпимой, невыносимой жажды никому, кроме себя, не принадлежать Мартьянов не стал ни ужасаться, ни прибедняться, ни умолять управляющего-холуя. Кинулся обратно в губернию и принялся, зубы сжав, набирать требуемую сумму. Страшную по тем временам, непомерно и неподъемно большую. И набрал бы, набрал непременно — к осени или к весне следующей. Но пришло письмо от управляющего (то ли развлекался граф, то ли и впрямь нужны были деньги срочно): или выкуп немедленно, или увеличится сумма. Слезно просил Мартьянов отсрочки: хоть месяца два, весна, уже вот-вот двинутся караваны с купленным хлебом на поставку по казенному подряду. Двинутся, придут — и будут деньги. Тут же и ответ пришел: немедленно или никогда. Плюнул, влез в долги, приехал. Граф его никак не мог принять: занят был подготовкой церемонии освящения Исаакиевского собора. Наступало лето, выходил срок договора о поставке хлеба по подряду — назревала выплата неустойки. Только через месяц принял его граф, милостив был и снисходителен. Выкуп, вольная, домой, как на крыльях. И немедля обнаружил, что разорен. Поработал, как оглушенный, немного в пароходстве «Кавказ и

Меркурий», все пытался выпутаться, опомниться до прежней ясности и подняться на ноги, но ничего уже не выходило. Тут пришла ему в голову прекрасная мысль счет убытков своих выставить хозяину. Дело неподсудное вроде, только есть ведь поступки, разбираемые выше чем по суду — по совести, по душе, по справедливости. А чтоб граф, вельможа именитый и всесильный, не достал его мгновенно, потянув за полицейские ниточки, коими любой россиянин в любой момент перевязывался наглухо, выправил себе Мартьянов паспорт, одолжил малую толику и вскорости оказался в Лондоне. Тут без языка и без денег начал бедствовать, но писал, однако же, письма. Первое графу — увещевательное. Разумеется, ответа не последовало. Далее он писал поочередно: великому князю, российскому консулу в Англии, матушке-императрице, даже шефу жандармов. Последнему предложил, что вернется, и если власти предержащие требование его сочтут несправедливым, то готов он до скончания лет отрабатывать как клеветник на каторге. Из канцелярии вежливо ответили, что проблема не по их ведомству. Тут Мартьянов совсем пообносился, поголадывать стал, дичать, выяснил в книжной лавке адрес Герцена («Колокол» читал, кстати, еще дома) и пришел просить о помощи. Внутренне был очень напряжен (самолюбие осталось, усугубилось еще от несчастий), но над ним никто не смеялся. Расспросили, накормили, дали денег. Он и дома много читал, как читают все способные самоучки, здесь же смешал дни и ночи, спал часа по три в сутки. Только-только ему исполнилось двадцать пять. И довольно быстро презрел он свое попечение одного себя защищать, а хотел теперь ходатайствовать сразу за всю Россию. За мужицкую, разумеется, Россию. Так, одна из идей его состояла в том, что если вырезать под корень все дворянское семя по России, то естественным совершенно путем установится в ней справедливое народовластие типа гигантской общины. Последовательность

его, наивность и искренность доходили до того, что ничуть он не собирался скрывать: и злейший враг разорительнегодяй граф Гурьев, и задушевный в Лондоне друг, советчик дворянин Огарев будут висеть на одной осине. Огарев, не смущаясь ничуть столь кошмарной перспективой, хохотал в голос и охотно обсуждал последующие шаги такого народовластия. Очень еще долго потом восклицали с пафосом то Герцен, то Огарев: «Всякий, кто не сын народа, да погибнет для возрождения России!» Но у Мартьянова уже была куда более интересная идея. Не сомневаясь и не колеблясь, он немедленно и подробно изложил ее в личном письме к царю: Россия, страна по преимуществу крестьянская, верящая царю и преданная свято престолу, должна управляться монархом во главе всенародно избранной Земской думы.

Письмо свое он послал самодержцу по почте (и оно дошло до адресата!), но для гарантии прочтения и в «Колоколе» напечатал. Разохотившись, написал брошюру под названием «Народ и государство».

Сделав это все, словно выложившись, без единого дня перехода от горячего запоя работы к новым планам или новым раздумьям, остро и смертельно Мартьянов затосковал по отечеству. Двадцатисемилетний, выглядел он за сорок, так осунулся, поблек и постарел. Только глаза молодо горели, когда объяснял, зачем собрался возвратиться. Содержания не стало в жизни, как он объяснял Огареву. А не стало, значит, искать его надо в России. После бурного разговора — его отговаривали, пугали и предупреждали — он даже письмо Огареву написал, терпеливо все объясняя. И о России говорил с такой преданностью и любовью, что язык не поворачивался ни тюрьмой его пугать, ни ссылкой. С той же самой цельностью и последовательностью он теперь и уезжал, как приехал.

Огарев зябко повел плечами, глядя на воду, и недоуменно оглянулся. Понемногу погода переменилась, он уж час,

должно быть, простоял здесь, и совсем это место сейчас Россию не напоминало. Неуютное, чужое. Но в Россию уже не возвратиться. Пять лет минуло — или больше? — как раскрыл он свое имя в «Колоколе», сообщил громогласно, что он здесь, объявил, что не вернется в Россию. Обращался тогда к самодержцу: написал, что уважает его начинания и верит в российское посветление, что все силы свои положит, чтобы в деле этом сотрудничать отсюда. Но лишь через полтора года получил от посольства предложение возвратиться немедля, отказался и вскоре прочитал, что навечно осужден к изгнанию. Тогда это его рассмешило. А потом выветрилась вера в царя, изменился тон статей и споров, нынче ни о каком возвращении и не могла идти речь. А Россия снилась ночами. Не страна, не березки, не дома — снились люди, большей частью покойные. В той обстановке, в которой виделись с ними. Хворостин много раз снился. От него ни слуху ни духу. После одного такого сна отправил ему записку Огарев — с оказией, чтобы не подводить. Но пропал и посыльный вместе с ней.

Ладно, надо ехать домой. На извозчике бы сейчас хорошо.

В кабинете у Герцена, куда прошел Огарев, сидел Мартьянов, грея руки у камина. Герцен мерно и быстро ходил из угла в угол. Огарев остановился в дверях, оглядывая их, улыбаясь. Герцен обернулся к нему и сказал, не здороваясь — хотя они еще не виделись сегодня,— хмуро и озабоченно:

— Я час только из города, Ник, вчера ночью началось в Варшаве.

Огарев вошел в комнату, не отвечая, и, как был, в тяжелом пальто и шапке, опустился на ручку кресла. Этот день он впоследствии вспоминал очень часто — вспоминал подробно и в деталях. Так вспоминает человек даже час, от которого начались и пошли все последующие беды и

несчастья. Очень много было говорено в ту вторую половину дня. И в последующих событиях часто вспоминалось, как он шел, тогдашний разговор.

В частности, помнилось отчетливо, как снова и снова уговаривали Мартьянова одуматься и не возвращаться прямо в пасть, пожирающую слепо и безжалостно. А Мартьянов то рукой махал: авось обойдется, то тоскливо твердил, что без России все равно ему не мил белый свет. Вспомнилось это и два года спустя, когда Герцен сказал, что сам через час напишет некролог, чтобы успеть в ближайший выпуск «Колокола». Ибо был Мартьянов арестован прямо на границе, через три месяца после того дня, когда разговаривали втроем. Судили его безжалостно и слепо и, кроме всего прочего — Лондон, «Колокол», попытка к смуте,— прибавили, что не по форме обратился он к царствующей особе. Приговорили к каторге — на пять лет, а по отбытии — поселение в Сибири. И Мартьянов, так еще недавно тосковавший о воле, столько ради воли в жертву принесший, словно матерый дикий зверь, попавший из леса прямо в тесную вонючую клетку, быстро и без сопротивления зачах. Умер на больничной койке где-то в пересыльной тюрьме.

Огареву он вспоминался очень часто, а на фоне того памятного дня — вспоминался не столько сам по себе, сколько чувством вины перед ним. Вины за тот быстрый, неуловимый обмен взглядами, когда Герцен и Огарев без единого слова, как бывало довольно часто, полностью поняли друг друга. Было это, когда Мартьянов принялся нападать на поляков и честить их всяческими словами, а Огарев стал переубеждать его под молчащее сочувствие Герцена. Взглядами же они обменялись в самый разгар страстного мартьяновского монолога, что славяне сильны своим единством, что негоже им идти брат на брата, когда в самой срединной России жить куда тяжелей. Тут-то и переглянулись Герцен с Огаревым, прочитав в перекрестье

взглядов то, что обсуждали оба неоднократно, в чем едины были с горечью и безнадежностью. А говорили они друг с другом о том, что без внутренней свободы, уважающей суверенную чужую, любая внешняя свобода неполноценна. И сейчас, громогласно порицая поляков, перед ними сидел очень умный и вольнолюбивый человек, цепи рабства со своей души и ума недоскинувший,— живое подтверждение их печальных бесед о России. И переубедить его было невозможно, ибо подлинная, внутренняя свобода в каждом должна созреть сама.

И вот это вот чувство вины перед Мартьяновым, когда явственно увидели они в нем остатки раба и подумали о нем снисходительно, долго еще вспоминалось Огареву. И еще вспоминались пророческие, проницательные слова Мартьянова. Были они сказаны в ответ на спокойную убежденность Герцена и Огарева, что, хотя и были они против восстания, выступать будет «Колокол» за Польшу. И своей давней дружбе с польскими заговорщиками изменять они не собираются, понимая прекрасно, что восстание заведомо обречено, что оно в России поддержано не будет, ибо большей части россиян за своими ежедневными заботами на Польшу просто наплевать, а другие еще слишком рабы, чтоб посочувствовать восставшим. Понимали они и то, что, восставшую Польшу растерзав, многие озлобятся, потому что и внутри России власть станет куда ожесточеннее. И от страха перед этой ожесточенностью впадут вчерашние либеральные говоруны в мерзкий и низкий патриотизм, и не обойтись тут без вражды и порицаний двух друзей, будоражащих из Лондона их совесть.

Мартьянов, умница необыкновенная, говорил тогда, их двоих увещевая, что они ставят под удар свой «Колокол». Неужели вы это не понимаете, господа хорошие? Ведь каждый из вас старше меня вдвое, образованней тысячекратно, а я-то, темный мужик, понимаю преотлично, что Россия отвернется от вас. Может, и не сразу, конечно,

только самую пуповину вашей связи с Россией перережете вы, поддержав Польшу. От волнения и от убежденности говорил он с проникновенностью. Или вам не жаль дела вашей жизни? Он так полюбил их за это время, так верил им, уважал. Огарева особенно, ибо не любил шуток Герцена и побаивался его, Огарева же за мягкость боготворил.

Часто вспоминал потом Огарев пророческие слова Мартьянова. Меньше стало корреспондентов, много было возмущенных писем, статей против них в русской печати (сверху сняли запрет на их имена), поливали их грязью пресмыкающиеся коллеги. Нити, связывающие их с Россией, на глазах тоньшали и рвались. И свои тогдашние слова вспоминал. Они были просты и естественны. Выслушав монолог Мартьянова о грядущих бедах «Колокола» и их личных, очень спокойно спросил его тогда Огарев:

— Только почему, мой милый, всего того, что вы сейчас перечислили, кажется вам достаточным, чтобы совести своей изменить?

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ВРЕМЕНА ОШИБОК И ПОТЕРЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Блистательное, головокружительное и безоблачное будущее с самого рождения ожидало князя Петра Владимировича Долгорукова, отпрыска самой древней в России аристократической фамилии. Она вела свое начало от Рюрика, прямого потомка князя Михаила Черниговского, некогда казненного Батыем и приобщенного к лику святых христианских мучеников.

У Петра Владимировича Долгорукова (на три года моложе он главного нашего героя, то есть родился в 1816 году) было все: имя, состояние, связи. А когда вырос и оформился, прибавилось еще и образование, ум и способности весьма незаурядные. Было тщеславие и честолюбие (но оно помогло бы в деятельном сотворении карьеры), было несколько «но» — словно облачка на блистающем небе: самонадеянность, несдержанность, запальчивость, неумение долго ладить с людьми. Облачка эти быстро разрослись в тучу, заслонившую сияющий горизонт. Кончив прекрасно Пажеский корпус, зачисленный в камер-пажи, был Долгоруков спустя всего несколько месяцев за какую-то очень уж непростительную провинность (дерзость? юное хулиганство?) исключен. Придворная карьера прервалась. Бурная молодость, прожигание жизни и состояния в кругу «молодых людей наглого разврата», как впоследствии писали о нем, похмелье и поиск жизненного пути.

Петр Владимирович был маленького роста, скор на злую насмешку, ни одну язвительную мысль при себе удержать не мог. Быстро и незаметно стал он одинок и нелюбим всеми. Еще и прихрамывал, и «Колченогий» стало его заглазной кличкой. Князь был обидчив и мстителен — ситуация усугублялась. Надо было между тем думать, как заморить червяка тщеславия, неустанно грызущего его изнутри. Следовало искать путей необычных и нетрадиционных для потомка княжеского рода. Ощутил интерес к истории. Вскоре выпустил книгу, встреченную всеобщим одобрением,— генеалогическое исследование «Российская родословная книга». Такая широта познаний, и в такой изумительной области! Особенно усердствовали фамилии, древность которых была желательной без должных к тому оснований, о своих надеждах, возлагаемых на молодого князя, они пели ему дивными голосами. Князь же кипел презрением и желчью, ибо доброта, великодушие или снисходительность не входили в число наследственных черт. Выпущенный за границу (ибо явно образумился слегка), он отправился погулять во Францию. Лучшие дома, закрытые для множества других людей, гостеприимно распахивались перед ним — сказывалась прямая причастность к древнейшему княжескому роду. Чрезвычайно высокие умы и личности наперебой одаривали его вниманием — это уже за личные заслуги, ибо книга его обрела известность. Как потом рассказывал Долгоруков (хотя правдивость не входила в число его личных достоинств), будто бы сам Шатобриан сказал ему однажды с пафосом: «Князь! Дворянству русскому следовало бы соорудить вам памятник: до вас никто из нас ничего не знал об русском дворянстве». Сказаны ли были именно эти слова или им подобные и другими людьми — не суть важно. Только восхваления явно вились вокруг молодого честолюбца, вмиг решившего поразить мир еще одним незаурядным произведением. На этот раз под псевдонимом, ибо

содержание книги было, мягко говоря, чревато для автора неприятностями. Так появилась в Париже книга некоего графа Альмагро (на французском языке) под названием «Заметки о главных фамилиях России». Разразился невидимый, словно подземный пожар, скандал. Книга привела в ярость самые разные слои верхушки российской власти. С преспокойной наивностью в ней сообщалось о том, например, что Романовы, всходя на престол, обязались во всем советоваться с представителями общества, то есть допускать при себе нечто вроде Земского собора, ограничивая самовластие, но потом обещание нарушили. Звучали намеки и на череду цареубийств, позорные и запретные пятна недавней русской истории, тщательно стираемые. Описывались факты тиранической жестокости Петра, что никак не поощрялось в гласной российской истории, ибо самодержцы, как известно, всегда милостивы, великодушны и нравственны. Словом, достаточно материала для немедленного привлечения мальчишки к ответу. Кроме того, многие высокопоставленные лица были обижены еще и тем, что фамилии их не упоминались вовсе, словно не они составляли вековечную славу российской истории.

Впрочем, книгу раскусили не сразу, вслед за первым успело выйти второе издание. Долгоруков, потеряв осторожность, не скрывался. И вот тут-то и пришел из Парижа донос от профессионального сотрудника сыска, знаменитого некогда Якова Толстого. Он доносил, что сочинение это «проникнуто духом удивительного бесстыдства и распущенности», а также «изображает русское дворянство в самых гнусных красках». И высказывал истинно российскую патриотическую мысль: «Князь Долгоруков один из тех молодых людей, пылкого и сумбурного характера, которым следовало бы как можно реже уезжать из своей страны, где, по крайней мере, за ними может быть надзор».

Последовал высочайший приказ немедленно вернуться в отечество. Князь покорно повиновался и в Кронштадте,

только-только покинув сходни корабля, ощутил отеческую землю в виде ступенек фельдъегерской коляски для арестования. Весь багаж его также был арестован, искали бумаги и документы, могущие содержать сведения, столь же неприятные для царствующего дома, как и те, что уже получили огласку. Досмотр, впрочем, ничего не принес, молодой смутьян был достаточно предусмотрителен. Более того, с дороги он написал подобострастно-льстивое и умное письмо Николаю I. Он писал, что правда пусть даже недосказанная, но произнесенная вслух — лучшее предотвращение слухов, легенд и кривотолков. Впрочем, он покорно повергал свою судьбу к ногам милостивейшего из российских монархов.

Приговор был сравнительно мягок: ссылка в Вятку (по пути Герцена пролегал маршрут князя, и в дальнейшем продлилась их преемственность), и служить непременно. Холода и служба — лучшее средство, чтобы образумить человека. Покорство сочеталось в князе с невыносимой наглостью: в ответ на это милостивое наказание он еще посмел возразить, учтивейше написав Бенкендорфу, что вопрос о службе он склонен решить сам, ибо «определение это нарушает закон о дворянстве, коим предоставлено право каждому дворянину служить или не служить».

Уж не сумасшедший ли он, этот наглец? Как было бы удобно, коли так. Объявить его высочайшим распоряжением не в своем уме, как прекрасно сделали недавно с Чаадаевым! В данном случае, однако, показалось это неудобным, очень уж почтенный род. Пригласить же, например, для освидетельствования психического здоровья князя некоего доктора Рихтера было явно целесообразно. Рихтер, однако же, надежд не оправдал, заключив следующее: «Князя Долгорукова помешанным признать нельзя: суждения его обнаруживают в нем только человека экзальтированных понятий, которые, по причине его неопытности в практической части общественных и житейских отноше-

ний, не приведены в порядок и не введены в надлежащие границы».

Вятка это сделает, вне сомнения, подумал Николай и рассмеялся наглому достоинству молодого мерзавца, ибо повелел сослать без службы.

Год же спустя и вообще простил. Князь вел себя тихо, а покорное возвращение следовало поощрить, дабы других не пугать. А то один такой автор, поспешивший за границей распоясаться, отказался вернуться вообще. Прощение, однако, было неполным (полное следовало заслужить!), пока же проживание где угодно, кроме Петербурга.

Долгоруков жил то в Москве, то в своем имении под Тулой, целых девять лет вел себя тишайшим образом, собирая материалы для книги. В пятьдесят втором ему уже позволили жить в столице, а год спустя вышла первая часть его капитального труда — заслуживающей полного уважения «Российской родословной книги». Сам цензор Елагин, знаменитый в истории российской словесности тупостью, свирепостью и бдительностью, обнаружил только два места, кои решительно потребовал переделать. Никак он не соглашался пропустить в печать тот факт, что сто лет назад русские войска разбили армию Фридриха Великого: этого быть не могло, поскольку ныне прусский королевский дом находился в родстве с российским царствующим семейством. Не все следовало помнить из истории, а только то, что удобно было помнить. Кроме того, он категорически настаивал, чтобы двух князей Шаховских показать внуками их деда, а не сыновьями их отца, ибо отец скомпрометировал себя связью с декабристами. Книга вышла, и снова колченогого маленького князя окружали вниманием все, кто рассчитывал прочитать о своей родовитости в следующих выпусках. Снова ему прощали язвительность, неуживчивость и несдержанность. Третья и четвертая части выходили уже при новом самодержце.

Почтительно преподнося последнюю, Долгоруков просил о вознаграждении и пожалован был бриллиантовым перстнем, стоимости, впрочем, вполутора меньшей, нежели он просил, нагло обозначив сумму награды. Сведения в его книгах были и впрямь широчайшие: он использовал превеликое множество документов, десятилетиями бесполезно пылившихся в частных архивах. Он писал потом:

«В России у многих лиц есть фамильные бумаги, переписки, документы. Явись к большей части таких людей человек, занимающийся историей, хоть будь Тацитом или Маколлеем, ему бумаг этих не сообщат, по недоверчивости, врожденной в нас, русских, и весьма понятной в стране, в коей шпионство развито правительством в исполинских размерах. Но явись человек хотя бы ума самого ограниченного, только занимающийся родословными, и ему поспешат все показать и все сообщить».

А честолюбие продолжало терзать предприимчивого князя. Как из рога изобилия, сыпались из его кабинета проекты преобразования России, всеподданнейшие рапорты, записки и иные изложения обуревающих его отдающих республиканством идей. Оставались они большей частью без ответа, князь дичал и снова озлоблялся. Ненависть к служащим и пресмыкающимся, но ползущим в гору ровесникам тоже была чувством не из последних.

Чуть позднеи, объясняя Герцену, отчего ему так несимпатичен Долгоруков, Огарев (во всем и ко всем добрейший Огарев!), несколько смущаясь непривычной для себя антипатии, сказал, что не может относиться всерьез к человеку, убеждения которого легко выражаемы суммой жалованья и мерой власти — в данном случае губернаторского ранга. И что немногого стоит личность, готовая отказаться от своих убеждений, если предложат отступного. А не предложили,— значит, нужно оставаться при них и делать вид, что они на самом деле глубоки и органичны.

Вообще я не люблю, Герцен, людей, которых можно

купить. Самый запах способности к вероломству не люблю. Я достаточно ясно объяснился? Так что извини уж, по дальше вежливости я с ним заходить не могу,— мягко, но решительно заключил Огарев, и Герцен понял, что не надо и пытаться его переубедить.

Долгоруков, отношение к себе людей чувствующий безошибочно, отзывался, надо сказать, об Огареве несколько лучше. Впрочем, не всегда. Но судьба назначила им довольно долгое время общаться друг с другом — порой более тесно, чем им того бы хотелось. Ибо как раз в том же возрасте, что и Огарев, Долгоруков, отчаявшись преуспеть в отечестве, затаив злобу и злорадное предвкушение мести, тайно переправив немалое состояние и архив за границу, сбежал туда же морем через Одессу. «Что же касается до сволочи, составляющей в Петербурге царскую дворню, пусть эта сволочь узнает, что значит не допускать до государя людей умных и способных. Этой сволочи я задам не только соли, но и перцу»,— писал Долгоруков.

Обещание свое он принялся исполнять весьма усердно: всего год спустя после побега вышла книга «Правда о России», где он подробно обсуждал все известное ему об отечестве, а известно ему было немало. Обсуждались правосудие и сами законы, власть и люди, осуществляющие ее, крепостные отношения, войска, финансы, тайная полиция, цензура, духовенство, чиновники всех мастей и рангов. Особенно поносил он чиновничью орду, эту неизлечимую российскую язву, облепившую, не допуская врачующего воздуха, тело страны сверху донизу. Любое стремление и попытка улучшить деятельность государственного организма, утверждал он, тонут, как в зыбучем песке, в этом скоплении нерадивости, стяжательства, равнодушия, лени, тупоумия и продажности.

Урезонить беглого князя немедленно попыталось русское консульство в Лондоне, где находился князь, а также

Третье отделение. Руководителем оного был в то время близкий родственник князя-смутьяна, вполне к нему расположенный, но долг соблюдающий неукоснительно. Консулу в ответ на приглашение явиться немедленно князь ответил безукоризненно вежливым по форме и оттого особенно вызывающим предложением: зайти к нему в отель. Родственнику же отправил письмо великолепное, в числе всей его прочей переписки сразу же опубликованное им в «Колоколе»:

«Почтеннейший Князь Василий Андреевич, вы требуете меня в Россию, но мне кажется, что, зная меня с детства, вы могли бы догадаться, что я не так глуп, чтобы явиться на это востребование? Впрочем, желая доставить вам удовольствие видеть меня, посылаю вам при сем мою фотографию, весьма похожую. Можете фотографию эту сослать в Вятку или в Нерчинск, по вашему выбору, а сам я — уж извините — в руки вашей полиции не попадусь, и ей меня не поймать!»

Кроме прочего, публиковалось объяснительное его письмо русскому консулу, где князь писал: «Мне 43 года; родился и жил я, подобно всем русским дворянам, в звании привилегированного холопа в стране холопства всеобщего. Это положение мне опротивело...»

Далее все пошло по заведенному издавна порядку: князя объявили изгнанником, наложен был арест на оставшееся имение (вскоре, впрочем, имение отдали сыну), даже лишили его титула, на что он откликнулся издевательским напоминанием, что не жалким отпрыскам захудалого немецкого рода лишать его древнего звания.

И принялся деятельный князь-республиканец, как метко окрестили его за пристрастие к идеалу конституции (ограничивающей сохраняемую, впрочем, монархию), издавать на свои деньги журнал «Будущность». Где ввиду совершенной нетерпимости к чужим мнениям сам являлся и редактором, и главным автором.

Однако не советы сбежавшего князя и даже не хулы, щедро исторгаемые им, раздражали царствующую семью. Уже из первых его публикаций стали известны бумаги, хранившиеся за семью печатями в глубинах «всероссийской шпионницы» (его же удачное выражение). Была известна, к примеру, князю участь многих декабристов и другие тайные сведения. Находились у него и документы, компрометирующие царствующую фамилию, в истории которой было превеликое множество темных порочащих фактов — от будничной мелкой нечестности до покровительства убийству мужа или отца.

Поэтому прежде всего рекомендовано было неназойливо, но с определенностью — облить грязью само имя князя-историка. Исполнение последовало немедленно: увидели свет забытые напрочь материалы о том, что будто бы именно молодой Долгоруков являлся автором анонимного пасквиля, приведшего Пушкина к дуэли. Но очень уж вовремя всплыла на свет эта история и потому выглядела довольно неуклюже. Кроме того, появилось обвинение князя в вымогательстве огромной суммы денег у некоего престарелого вельможи, желавшего, чтоб его фамилия восходила в публикуемых Долгоруковым родословных книгах к древнему боярскому роду, на самом деле угасшему еще три века тому назад. Однако выливаемая на него грязь не останавливала беспощадное язвительное перо. В травле принимали участие дипломаты и тайные полицейские. Князь вынужден был менять названия своих изданий, переезжал, затевал новые публикации.

Герцен и Огарев с трудом выносили его характер и шумные визиты, хотя не могли не понимать, что объективно публицистическая деятельность Долгорукова была прогрессивной, наносила удары царствующей фамилии, тем самым расшатывая вековые устои русской монархии. Но всякий раз, когда Долгоруков исчезал из Лондона, вздыхали с невольным облегчением. Летом шестьдесят вось-

мого года, основательно подточив свой организм вспышками гнева и бурлением желчи, Долгоруков тяжело и сильно заболел. Он даже заподозрил в тайных умыслах на пользу правительства приехавшего к нему из России сына, бушевал, грозясь переписать завещание, и вскоре выгнал его. Умолил приехать Герцена, с коим к тому времени давно находился в ссоре.

Последние свои дни провел он мужественно и твердо: пил вино и поносил российскую родню, к радости которой вскоре умер пятидесяти двух лет от роду. Наследником всех своих бумаг, архива, хранящего множество бесценных документов, назначил давнего сотрудника «Колокола», единственного, кто спокойно переносил его характер,— поляка Станислава Тхоржевского. А душеприказчиками — Герцена и Огарева.

Таким образом, скандальная жизнь беглого князя, главными двигательными пружинами которой были злость, честолюбие и склочность, могла продолжаться и после смерти. Так как сыну взрывчатый архив не достался, в чьей-то голове возникла чрезвычайно изящная мысль: выкрасть бумаги, откупить их или попросту уничтожить. Эта великолепная идея, высказанная походя и ненавязчиво, становилась прямым распоряжением действовать. Для чего высочайшее поручение было уже в виде приказа передано профессионалам для исполнения. Князь покоился на кладбище, а его мятежная тень тревожила и побуждала не медлить.

2

Некоторое время спустя, летним августовским днем шестьдесят девятого года, сидел у себя в кабинете, вкушая послеобеденный отдых и пребывая в отменном состоянии души и тела, управляющий канцелярией Третьего отде-

ления Константин Федорович Филиппеус. С ленцой и удовольствием поорудовав маленькой костяной зубочисткой, он откинулся в кресле и глядел в стену перед собой, размышляя о несовершенстве не довольствующейся ничем прихотливой человеческой природы. В частности, о несовершенстве русского национального характера. Первая и основная причина отдохновенного блаженства состояла в том, что работа его, а вернее — должность, на которой он пребывал всего месяца четыре, нравилась ему и явно его устраивала. Он сменил уже довольно много разных занятий, но всегда почти ему было скучновато. А здесь...

Он сперва задумался, когда его сюда пригласил лично теперешний шеф граф Шувалов. Задумался, ибо первое же, что всплыло: неприязнь, враждебность, страх, брезгливость и все прочее, что испытывали русские люди к голубым мундирам сыска и охранительства. После переломил себя, согласился, а к работе приступив, понял, что более всего на свете хочет человек покоя. И душевного, и умственного, и телесного. Хорошо, конечно, иногда разгуляться — нервы пощекотать, душу отвести, взбудоражить разум. Но при этом необходима постоянная возможность в любой момент приобрести билет обратно, в жизнь спокойную, тихую и незамутненную. И как многие счастливы и благодарны, если в лоно покоя возвращает их чья-то чужая заботливая рука! И руке этой, между прочим, вовсе не нужно особых усилий делать,— скорее, так, символ, знак, сигнал. Осознав это и обдумав, Константин Федорович Филиппеус хмыкнул про себя и остался с этой поры в приятной уверенности, что он нужен россиянам.

Прежде всего он принялся за осмотр своих подопечных кадров.

Вот тут-то уместно как раз упомянуть и еще одну причину превосходного настроения Константина Федоровича.

Ждал он сейчас разговора с вызванным им очень хорошим агентом. Это он рассмотрел его, приблизил, поднял жалованье, а сейчас выхлопотал ему высокое и ответственное поручение. Когда делаешь кому-нибудь доброе дело, начинаешь невольно любить облагодетельствованного.

Был у Филиппеуса один профессиональный критерий сотрудников, появился он, правда, недавно. Месяц назад, перебирая служебный шкаф, дабы очистить его от рухляди предшественника, наткнулся Филиппеус на очень давней поры проект отставного генерала Липранди. Полистал, заинтересовался, в тот же вечер прочитал от корки до корки и очень, признаться, обогатился. Неким, что ли, негативным образом — от зеленой наивности замшелого этого (жив ли еще?) прожектера. Предлагал генерал Липранди наводнить всю необъятную Россию-матушку замечательно грамотными, проницательными и преданными осведомителями. Прочитав все это, засмеялся Константин Федорович, ибо четкая и неопровержимая мысль тотчас же в его соображении возникла законченно и ясно. Не разыщешь в России подобного количества таких людей. А нанятые россияне тотчас начнут пользоваться своим положением. Шантажировать, вымогать, брать взятки, интриговать, наушничать и вмешиваться. Потому что, если бы нашлось такое количество грамотных, бескорыстных и энергичных деятелей-патриотов, то их и в тайную полицию не понадобилось бы определять: выволокли бы Россию. И стало у него игрой очень сладостной мысленно проверять, годится ли человек на такое служение. Он втянулся в нее и обнаружил, что критерий превосходен.

Об агенте этом, Карле-Арвиде Романне, Филиппеус знал все досконально. И сейчас вдруг подумал: есть что-то общее в его послужном списке и метаниях по жизни с наивным старичком Липранди. Конечно, куда помельче по способностям своим Карл Романн, а однако есть что-то неуловимое, шаржированное. Вот-вот именно: шаржирован-

ное. Учился этот Романн преспокойно в Одессе. Вдруг пошел по военной части. Выдвинулся быстро — адъютант при начальнике штаба. Тут Крымская кампания. Храбр, словно решился на самоубийство. Награды, отличия. Разумеется, засветила карьера незаурядная. Все оставил, стал помощником редактора в «Военном сборнике».

Тут Константин Федорович неожиданно громко расхохотался, даже зубочистку выронил из руки. Поднял и обтер платком, продолжая еще улыбаться. Вот ведь и впрямь о чем забыл: до него-то, до Романна, этот сборник-то редактировал Чернышевский, нынче сосланный. Господи, как судьба людей тасует: вчера в кресле сидит революционный тайный бунтовщик, сегодня — лучший в стране филер по политическому сыску. Впрочем, он тогда еще не сотрудничал. Да-с. Ну, там ему надоело, вернулся в армию и немедля в отставку. Штаб-ротмистр. Вдруг поступает письмоводителем, мелким чиновником в Министерство внутренних дел. Ну вот, положим, и не вдруг. Уже сотрудник. Оттого и в армию возвращался, оттого и в отставку уходил. Словлен был на чтении и распространении крамолы всякой. Точней — замечен. Вызвали, поговорили, предъявили. Желаете под суд? Помилуйте. Помогите тогда нам немножко. С полным удовольствием. И завертелось. Изумительные способности. Словно был рожден для сыска.

В дверь коротко стукнули, и тотчас на пороге явился полный и рыхловатый блондин с добрым и немного вялым лицом. Очень были хороши глаза: живые, чистые, пристальные.

— Разрешите? — спросил он и щелкнул по-военному каблуками штатских ботинок.— Подполковник в отставке Постников прибыл по вашему приказанию.

Филиппеус улыбнулся широко и гостеприимно, встал и протянул руку.

— Здравствуйте, господин Романн, здравствуйте, ми-

лый Карл, входите, усаживайтесь. Уже, значит, вживаетесь в свою роль? Прекрасно. Прекрасно, господин Постников. Не позволите ли просто по имени-отчеству вас?

— Николай Васильевич, к вашим услугам.— Постников тоже улыбался приветливо, непринужденно опускаясь в кресло.

Они закурили, с симпатией глядя друг на друга.

— Интересная вам предстоит работа, Николай Васильевич, и я душевно этому рад,— заговорил Филиппеус,— а то ведь иначе скучно жить на этом свете, господа, как сказал ваш тезка.

Постников улыбался и молчал почтительно. Филиппеус продолжал, посерьезнев:

— Значит, приступим к обсуждению. Подполковник в отставке, с деньгами, скучая на досуге и странствуя по Европе, будучи наслышан о весьма интересном архиве покойного князя Долгорукова, порешил сделаться издателем и предать часть бумаг тиснению. Для чего и хотите купить архив целиком, чтобы выбрать материалы по вкусу. Не так ли?

Постников коротко кивнул головой. Филиппеус взял лист бумаги, расчертил его на четыре части и написал вверху четыре фамилии. Говорил он, глядя на бумагу, изредка поднимая взор на собеседника:

— Итак, против кого вы играете. Наследник-распорядитель, одновременно и хранитель бумаг некто Тхоржевский. Обрусевший поляк, человек недалекий и добродушный, разум свой и душу давно вверивший Герцену. Так что он, пожалуй, не в счет, с Герцена и начнем. Превосходно воспитан и очень ценит это в других. Нынче тяжело болеет и, кажется, весьма не в духе. Ходят слухи, что скуповат и прижимист. Не думаю, это болтает о нем досужая и мелкая эмигрантская шушера, которую он не хочет кормить из своего кармана, поступая, кстати, весьма разумно и справедливо. Расчетлив, однако, вне сомнения. Читы-

али его письма, они полны колонок расхода и прихода. ; ним, я думаю, надежней всего говорить о том, что вы обираетесь некий барыш извлечь, кроме удовольствия поариться в пыли старых анекдотов и сплетен, коими поон, как говорят, архив князя. Герцен понимает и раздеяет такового рода интересы. Заупрямится, только тогда пирайте на пользу отечеству. Он слишком умен, чтобы ерить в идеальное бескорыстие.

Постников засмеялся и тут же умолк.

— А откуда,— спросил он быстро и живо,— легенда, то у них с Огаревым будто есть список всех российских шпионов, да еще с приметами?

— Болтовня,— поморщился Филиппеус.— Не раз бывали у них наши коллеги, да и тот процесс семилетней давности — наглядный пример. Кроме двоих, действительно раскрытых. Но те пустельги и случайные люди. Сами, кстати, предложили свои услуги. Легенда оттого, возможно, и возникла, что десять лет мы проявляли полное бессилие. А что могли сделать? Будь высочайшее указание, убрали бы обоих за день. С литературой ихней ничего не могли сделать, это правда. Но ведь, батенька, человека же грамотного в России не было, чтоб не читал. И везли все, кто ездил. Всем хотелось просветиться. Однако видите же: успокоились.

— Вот об этом я тоже хотел вас расспросить,— сказал Постников.— Отчего сник журнал? И не возобновится ли?

— Желаете принять участие? — быстро и насмешливо спросил Филиппеус, прикуривая папиросу прямо от еще тлевшей.

Постников смотрел на него прямо и без улыбки.

— Извините, Карл,— примирительно сказал Филиппеус.— Извините, Николай Васильевич. Честное слово, я не хотел ни на что старое намекать и ни о чем предупреждать. Я сейчас вам подробнейше на это отвечу.

И помолчал, чуть губы выпятив и уставившись в стол.

А когда поднял голову, глаза его посмеивались и тон был доверительный:

— Мне так представляется, что они попросту себя изжили. Им хотелось гораздо большего, чем самим россиянам, и, пока стремления совпадали, журнал читался, расходился, главное же — им писали. Ибо будь Искандер или Огарев хоть семи пядей во лбу, а без корреспонденций отсюда недолго бы они существовали. Где начало упадка? Думаю, еще в шестьдесят первом. Россия освобождение приняла, значит — подуспокоилась, а они все бьют в свой колокол. Дальше — больше. Пожары, сплочение. А тут — Польша. Кому было просто наплевать, что полячишек погой давят, кто злорадствовал, а кто и просто считал, что все правильно и нечего пытаться от России отделиться. Вся Россия заодно против, только двое горячо и безоговорочно за полячишек: Искандер и Огарев, Огарев и Герцен. Кстати, я упрямое их благородство еще отчасти понимаю как безвыходность: им ведь поляки помогали типографию ставить. Ну, промолчали бы. Так ведь нет, какой крик подняли: пока один раб теснит другого, он и себя не освободит!

— Значит, если я вас правильно понял, всем в России надо было гораздо меньше послаблений, вольностей и льгот, чем хотели и хотят лондонцы,— они как бы забежали вперед, и отсюда их разрыв с обществом, и от них отчуждение? Так ведь?

Филиппеус кивнул головой утвердительно и прикурил еще одну папиросу.

— Не позволите ли мне тогда еще одну мысль добавить,— медленно продолжал Постников,— оговорясь заранее, а точнее — заручившись кивком вашим, что вы в моей преданности престолу и отечеству не сомневаетесь...

— Я уже заверил вас в этом.— Филиппеус сказал это очень сердечно и недоуменно пожал плечами.— Иначе

ведь, согласитесь, Николай Васильевич, для такого доверительного поручения...

— Хорошо,— сказал Постников.— Хорошо. Я сердечно благодарен и выскажусь с полной искренностью. Просто я подумал, что уже не разрыв, а вражда должна быть к ним сейчас у самых что ни на есть отъявленных вольнолюбцев.

Филиппеус подпял брови чуть. Постников продолжал:

— Россия на всем, что даровал ей самодержец, благодарно успокоилась. Для России перемены небывалые — можно вздохнуть и жить. А тут — пожары, потом — поляки, через три года — Каракозов. Как не возникнуть простому человеческому страху: вдруг осердится самодержец? Вдруг отменится все, что даровали? И на этом фоне два борзописца в прекрасной безопасности предлагают объединяться в тайные общества, готовиться к смуте. Такой, простите меня, звон ничего не может вызвать, кроме здорового раздражения. Так ведь?

— Справедливо до банальности,— осторожно откликнулся Филиппеус.

— Таким образом,— ровно продолжал Постников,— с русским обществом разрыв кромешный, с молодыми — общности никакой. Пустота. Пропаганда отслужила и кончилась. Все.

— Ну, не знаю,— сказал Филиппеус.—Может быть, Искандер больше ничего крупного и не предпримет, похоже, что так. Я вам, однако, несколько не договорил про Огарева. Он ведь, видите ли, поэт. Я не о стихах. Я о характере. Его бесчисленные и, признаться вам, на мой вкус, занудливые и мудроватые статьи, что он помещал в «Колоколе»,— они оттого писались, что Искандер благоразумно уступил другу обсуждение всех экономических, юридических и прочих проблем. Голова, надо сказать, у Огарева отменная, коли он со всем этим справлялся! Ну, пока он

это все обсуждал и был неким странным и самовольным образом членом всех государственных комиссий по этим вопросам (а он им был, потому что все его статьи читали, а значит — и вникали в них!), он, как говорится, находился при деле. А сейчас крепко тоскует и, по нашим агентурным данным, не знает, куда приложить силы. Есть ли они еще у него — это вопрос второй. Но оп поэт, и я не зря с этого начал. Искандер — фигура великая, ум глубокий, резкий и острый, но рассудочный. Сломя голову ни во что не кинется. Чем противоположен Бакунину, но этот никакого отношения к вашим делам иметь не будет, разве что взаймы попросит. Кстати, через него и через заем, может оказаться, и с остальными легче контакт установить. Так что не замедляйтесь и не раздумывайте. Смету я буду сам утверждать. Но, однако, об Огареве. О поэте Огареве я говорю. Этот как раз может пуститься во все тяжкие. Он по своей натуре экспериментатор. Здесь в России пытал всякое. Он может до геркулесовых столбов дойти, если подвернется подходящий замысел. Впрочем, пока, кажется, такового нету. Но вы что-то недосказали. Я, извините, прервал?

— Нет, все на пользу, Константин Федорович, спасибо,— сказал Постников,— и за Огарева спасибо. Вы еще ближе подвели меня к той мысли, что обоим им нечего сейчас делать.

— Ну и что же?

— Только и того,— сказал Постников ненавязчиво и без нажима,— что они могут от незанятости продолжить прежние свои исторические публикации, предавая тиснению одну за другой долгоруковские бумаги. И если эта идея им в голову придет, то архив будет чрезвычайно, чрезвычайно, очень трудно выманить... О деньгах я и не говорю — Герцен в них не нуждается.

Постников резко замолк. Филиппеус смотрел на него с минуту молча, очень хорошо себя чувствуя от своей про-

ницательности, и наконец нарушил это казнящее собеседника молчание.

— Стыдно, милый Карл,— сказал он мягко и насмешливо.— Просто стыдно, что вы, видя полное мое к вам расположение, недостаточно мне доверяете. Уж не полагаете ли вы, что я порученное вам дело изложил наверху в выражениях недостаточных? Вы морочите мне голову только для того, чтобы набить себе цену! Стыдно!

Постников раскрыл было рот, но Филиппеус сухо продолжил:

— Будьте уверены, я и себе не враг. Чтобы в случае неудачи избежать нареканий — в вашу, а значит, и в мою сторону, я представил задачу куда более сложной, чем она является на самом деле. Ибо на самом деле я ставлю свою голову против бочки прокисшего пива, что бумаги князя продадут вам немедленно и с радостью. Неинтересны им замшелые дворцовые и фамильные тайны. Эти бумаги интересны только здесь. И на самом деле поручение ваше из легчайших. О вознаграждении не беспокойтесь, предоставьте это мне. У вас еще есть вопросы? Или я, может, неправильно вас понял?

Постников чуть побледнел, а может, это казалось, потому что на скулах его проступил румянец, оттеняя бледность одутловатого лица. Он выслушал, не пытаясь перебить Филиппеуса, и глухо и негромко сказал:

— Я, видите ли, скоро умру, Константин Федорович.

— Да вы что, Карл, что вы говорите? — Филиппеус терпеть не мог разговоров о болезнях и смертях.— Вы же здоровый и бравый человек. Я обидел вас? Но ведь и вы меня обидели, согласитесь. Хотите чаю?

— У меня с сердцем нелады наследственные,— хмуро и медлительно продолжал Постников.— Я ведь оттого и полнею. Самое смешное, представьте, что у моей жены та же болезнь оказалась. Врачи руками развели. Да. А у нас, представьте, четверо детей. Вот ведь я о чем, Константин

Федорович. Вы меня давно знаете, никогда я не был накопителем.

— Бог с вами, Карл милый,— громко, оживленно и сам ощущая, что фальшиво, заговорил Филиппеус, чувствуя, как сам-то он безупречно здоров, плотен и несокрушим снаружи и изнутри.— Бог с вами, помилуйте, с чего вы взяли, что от больного сердца так немедленно умирают? У меня был дед...

— Я просто знаю,— тихо перебил Постников, и Филиппеус немедленно умолк, радуясь, что его перебили.— Я не склонен жаловаться, просто мне действительно стало стыдно, что я играл с вами, как с чужим. Я ведь понимаю, что архив никому и нигде, кроме Зимнего, совершенно не нужен...

Они дружески пожали друг другу руки, расставаясь надолго, ибо паспорт, инструкции, адреса и деньги получил отставной подполковник Постников еще накануне. Он радовался, как и всякий раз, когда жизнь становилась интересной. «Не на таком ли азарте сорвал когда-то сердце мой отец или прадед? — думал он, выходя из приемной.— Или болезни, нажитые жизнью, по наследству не передаются детям? Расспрошу в Женеве врача — там их много должно быть, даже грамотных. И погода теплая-растеплая. И наверняка будет время на картишки. Благо, есть кого обыгрывать, скорей всего...»

Прекрасная предстояла игра. В ее легком и заведомом успехе совершенно был уверен Постников-Романн, ибо очень многое рассказал ему о людях, с которыми предстояло играть, человек, даже не просивший сохранить в тайне их беседы. Человек, долго и близко знавший этих людей. Разговаривали они давно, года полтора назад познакомившись случайно. Не знал тогда Карл Романн, как пригодятся ему эти знания,— просто по любознательности расспрашивал. К человеку этому мы и обратимся сейчас.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

В трудное время — летом шестьдесят седьмого — облетела Петербург странная и любопытная новость. Трудное — потому что год назад, отделившись от решетки Летнего сада, некий молодой человек с изможденным, сухим лицом и горячечными темными глазами стрелял в царя. Стрелял неловко и неумело, словно спросонья или с похмелья. Револьвер у него из рук сразу выбили, а его схватили немедля. Он не сопротивлялся. Подвернувшийся мужичонка — костромской захудалый мещанин — был объявлен спасителем, получил в награду деньги и дворянство, чуть не захлебнулся в славе своей и спился с круга. А стрелявший, никого не назвав, был благополучно казнен. Длилась некоторое время вакханалия благодарственных молебствий, верноподданных адресов и депутаций, специальные миссии из дружественных стран приезжали поздравлять монарха. А потом немедленно повисла над Россией густая пелена страха. Временем белого террора называли потом этот период, и, хоть совсем немного было арестов, страх туманом висел в воздухе, заползал в легкие, замораживал разум. Были закрыты два самых смелых журнала, почти прекратился поток писем за границу (вскоре «Колокол» объявил о временном, а на самом деле окончательном прекращении своем). Словно понимали все, что теперь царь имеет полное нравственное право карать общество, забегающее в своих умыслах и мечтах далеко вперед его благодетельных реформ. И, словно оттеняя величественное благородство самодержца, ни на день не были приостановлены выстрелом проведение прогрессивнейшей судебной реформы, гласное судопроизводство, состязательность судебного процесса, да еще «правда и милость да царствуют в судах» на фронтоне каждого заведения, от которого веками за версту шарахались россий-

ские жители. Обсуждая в семейном или дружеском кругу это новое судопроизводство, приближающее Россию к прочим цивилизованным странам, где суд охраняет человека, люди ни на минуту не сомневались: случись что серьезное, никого этот прогрессивный суд защитить не сумеет.

Современник после писал о годе, последовавшем за покушением: «Царила всюду тишина, мертвечина, нигде не было никаких проявлений не только жизни политической, но даже общественной: ни в среде литературной, ни общественной, ни студенческой. Всякие культурные начинания были закрыты и строго преследовались полицией, которая царила везде и всюду».

И все-таки жизнь продолжалась. Выходили газеты, книги и журналы, собирались и разговаривали, всюду строили и служили. А год спустя расправила общественность свои поникшие было плечи и заговорила прежнее, стараясь минувший год не поминать, ибо в краткий обморок, если разобраться, упала более от собственных предчувствий и собственного ощущения вины. А полиция — что ж полиция, она ведь всегда слабинку чувствует безошибочно.

И, как раз угадав в это обморочное время и согласно с ним резонируя, пронеслась по Петербургу весть, что какой-то известный революционер, друг Герцена и Огарева, некто Кельсиев, возвратился в Россию с повинной. Прибыл на таможню и сдался. И теперь раскаивается и дает такие откровенные показания, что не сегодня завтра пойдут сотнями сажать людей куда следует.

Кроме того, что ни единого человека не выдал Кельсиев, и это необходимо подчеркнуть, была весть правдивой. Летом шестьдесят седьмого года, в самый разгар страхов и доносительства, появился он на южной таможне в Скулянах (где когда-то молодой Липранди показывал чудеса юной храбрости), попросив доставить его в Петербург, ибо хочет принести повинную.

Лето он просидел в камере Третьего отделения и пи-

сал — по заказу и требованию шефа жандармов — удивительный человеческий документ под тем же названием, что и Бакунин,— он писал пространную «Исповедь». Прочитав ее внимательно, комиссия сделала ему ряд вопросов, на которые он дал ответы, а тем временем его «Исповедь» читал монарх. И распорядился Кельсиева простить, разрешив ему проживание где угодно, и занятия позволить любые. И возвращение полное и монаршее прощение произвели фурор в отзывчивой и эмоциональной прессе. Федор Михайлович Достоевский, к примеру, от друзей своих — петрашевцев, от столба того, где стоял в белом балахоне, ожидая залпа, от тюрьмы последующей и ссылки в иные убеждения постепенно взошедший, в совершенно частном письме писал восторженно: «Об Кельсиеве с умилением прочел. Вот дорога, вот истина, вот дело!» Далее же — о тех, с кем когда-то одинаково чувствовал: «Знайте однако же, что (не говоря уже о поляках) все наши либералишки семинарно-социального оттенка взъедятся, как звери. Это их проймет. Это им хуже, если бы им носы отрезали».

Что же произошло с Василием Кельсиевым за прошедшие эти пять лет? А произошло многое и очень разное. Возвратившись в Лондон из путешествия, был он переполнен планами и мечтами грандиозными. Словно и не было отрезвляющих тех знакомств, что завел он в Петербурге и Москве. Были новые совершенно упоительные замыслы. Он, Василий Иванович Кельсиев, организует совершенно новый орган — некую газету для всех сословий сразу. Главным же образом — для средних и низших. В ней, без сомнения, завяжутся разговоры и общение со старообрядцами, кои приведут если не к полному их единению, то хотя бы к частному согласию, направлять которые, нити в руках держа, будет Василий Кельсиев.

На газету такую Герцен согласился. При условии, что контролировать ее будет Огарев. Огарев же и название предложил: «Общее Вече». И два года выходила газета под

неустанным его наблюдением. Но Огарев же раскритиковал напрочь те статьи, что с душой и сердцем написал неостывший Кельсиев. Герцен безоговорочно поддержал Огарева, подтвердив, что статьи и по форме никуда не годятся и содержания неясного. И еще продолжало выходить «Общее Вече», но Кельсиев уже прекрасно знал, что ему не по пути с лондонцами. Он, только что проделавший такой вояж, рисковавший жизнью, завязавший столько знакомств, на вторых ролях не усидит. Тем более созрел у него замечательный план, и стоило только Кельсиеву отвлечься от суеты, как он воочию видел его. Поселяется он в самом центре некой большой старообрядческой местности, с ним семья, он скромен и тих. Но ползут, разрастаясь, слухи о приехавшем удивительном человеке, разумеющем толк в догматах, не гнушающемся беседой, знающем о том, как надо жить по разуму и справедливости. Днем он что-то делает ради хлеба насущного, вечерами разговаривает или пишет, и не проходит года, как вокруг собирается некий светский, внешне с миром связанный, а на деле — монастырь учеников и послушников. Разрастаются его связи и переписка, новый центр возникает и расширяется, и с тревогой обнаруживает правительство, что к раскольникам и старообрядцам России следует прислушаться повнимательней, ибо все они едины, как воинство. И не он уже предлагает Герцену (нет, нет, нет — Огареву) свои статьи, кои можно сейчас забраковать, а из Лондона спрашивают его мнение о насущнейших русских вопросах.

Герцен и Огарев не удерживали и не уговаривали Кельсиева, более того — снабдили его деньгами. Он же, ошеломленный очередным своим замыслом, принял помощь их почти без благодарности. Жена была беспрекословна, как и следует жене человека яркого и незаурядного, подлежащего исторической судьбе.

Удивительно, что и в самом деле год спустя после всяких приключений (лондонский отсвет висел над ним, а он

его за собственный часто принимал) оказался Кельсиев в турецкой провинции Добрудже, где издавна жили несколько тысяч старообрядческих семей. Это были потомки повстанцев Кондратия Булавина, что еще в начале восемнадцатого века боролся за казацкие вольности с Россией, а остатки его войска некий атаман увел тогда за рубеж. Кельсиев попал к ним в качестве административного чиновника, посредника между русским населением и турецким пашою, вроде атамана без прав, но с влиянием. Вот она, мечта! Если бы только за год странствий не остыл постепенно Кельсиев от того освободительного пыла, что подогревался в нем, оказывается, лишь близостью с теми оставленными двумя. Он теперь уже был мизантропом, Кельсиев, и если чего-нибудь хотел, всерьез и пламенно — это только передать человечеству, сколь напрасны его надежды на какое-нибудь лучшее будущее. Днем разбирая тяжбы местных жителей, вечерами Кельсиев работал над книгой. Что это была за книга, он писал одному знакомому откровенно и исчерпывающе: «Смешай воедино По, Гулливера, Герцена и Чернышевского, прибавь юмор Сервантеса и желчь Данте — и ты придешь к некоторому понятию о слоге и о содержании моих произведений. Как творец их, я скажу только, что в них много нового, и буде нет у нас теперь никого на место Чернышевского, то я без стыда занял бы это место в оборванной цепи русских мыслителей, начатой Белинским и теперь, кажется, не продолжаемой никем».

Счастливый человек был этот Кельсиев. Ибо в каждый момент нового своего озарения ощущал он свое могущество и дар.

А судьба подстерегала его. Скончался вдруг от тифа горячо любимый брат, вместе с ними поселившийся. Места своего Кельсиев лишился неожиданно — по такой же прихоти нанимателей, по которой получил. Собирался переехать в Европу, но никто не ссудил денег. Внезапно умер

маленький сын. Не к кому было обращаться теперь, а с единственными двумя, кто откликнулся бы на его призыв о помощи, он порвал, на их письма не откликаясь. Слабело на глазах здоровье потрясенной горем жены, но она еще жила, еще боролась, когда погибла от подкравшейся холеры их последняя дочь. Вскоре и жена умерла, отойдя так же тихо и безропотно, как жила, всюду следуя за мужем, в которого слепо верила. Лишь перед самым последним вздохом нарушила она свое обыкновение даже советом не вмешиваться в жизнь мужа. Попросила его возвратиться в Лондон, ибо из многих десятков людей, виденных ею за эти годы, лишь те двое, она знала, не отступятся и не бросят. Кельсиев даже не успел обещать. На похоронах только и запомнил Кельсиев, что вокруг так тихо и безветренно было, что воткнутая могильщиками в землю восковая свеча горела, ни разу пламенем не колыхнувшись.

Занимался он случайной работой, где попало ночевал — на полу, на скамье, на биллиардном столе в пустом трактире. Ночью снились ушедшие, он подолгу разговаривал с ними.

Но пришла весна, и Кельсиев ощутил, что жив. Он собрался ехать на Запад заниматься философией и филологией. И уже где-то в мае, стоя на палубе кораблика, плетущегося по Дунаю (взял капитан из жалости), оборванный и тощий Кельсиев объяснял давнему своему знакомцу, случайно встреченному, зачем он срочно едет в Вену, покидая обжитые было края:

— Я — диалектик, мыслитель, мне нужно сразиться с равными, а равных мне на Востоке нет. Я титанов вызываю на бой, а на Востоке одни пигмеи да обезьяны.

Пассажиры корабля устроили складчину, ошеломленные тем, что талантливый ученый (за которого он себя выдавал) путешествует не на казенный счет. Так что деньги теперь у Кельсиева были. Неожиданно счастливо разрешился вопрос, бессмертный вопрос, что в бессмертной

книге задает оруженосец Санчо Панса: «На какие же деньги благородные рыцари изволят странствовать по белу свету?»

Он и впрямь занялся в Вене языками и мифологией древних славян. Посещал библиотеки, читал, разговаривал с появившимися знакомыми. Нет, патриотизма славянского не было в нем вовсе тогда. Изучал он это все, «как археолог может крайне интересоваться каменным периодом».

Ибо собирался — и уверен, что близок был,— совершить не сегодня завтра головокружительный переворот в исторической науке о славянах. Собирался доказать, опрокинув все прочие теории, что из Индии и все славяне произошли. Но намерение это, требующее многолетних скрупулезных усилий, очень быстро испарялось из Кельсиева. Добиваться чего-либо долго он никак не мог. А тем временем, вращаясь в кругу славянских тем, натолкнулся Кельсиев на очень старую, давнюю-давнюю смутную и красивую идею насчет объединения всех славян в небывалую братскую империю. А наткнувшись, возгорелся стремительно и неудержимо. И тогда тотчас же ощутил себя русским Василий Кельсиев, славянином с ног до головы, поскольку осилить величественный замысел могла бы лишь Россия. Замечательно искренне описал он захватившее его новое чувство: «Я был русский, я был горд Россией, во мне родилась неудержимая страсть служить русскому государству». Но теперь настало время припомнить, что был он по закону «неосужденный государственный преступник, изгнанный на вечные времена из пределов государства; в случае же возвращения в Россию или выдачи его правительству подлежащий суду правительствующего сената».

Что-то должно было сделать Кельсиева интересным и полезным для власти. Воображение его работало, выдвигая план за планом. И одна из картин покорила его своей простотой: он, как миротворец в белых ризах, повергает

к подножию престола все российское революционное брожение. Кто, как не он, понимает, чем дышит молодежь, и кого ж, как не его, ей слушаться?!

Как хотелось в Россию! Как величественны были перспективы! Снова вспомнился Лондон почему-то. Почему? А, вот что часто происходило по вечерам у Герцена: Огарев, когда особенно явны и сильны были приступы ностальгии у Герцена, принимался поддразнивать его напоминанием слов историка Погодина. Тот написал однажды, что Герцен, как настоящий русский человек, явится однажды с повинной. Так, мол, все русские мастеровые и крестьяне делают, спившись и в бродяги или преступники попав. Погуляют, погуляют, пошалят, после явятся вдруг к становому — бух в ноги и заплачут. Огарев, вообще к представлениям не склонный, очень здорово это изображал: как плачет Герцен на пороге Третьего отделения. И это дружеское безжалостное прижигание раны йодом очень помогало Герцену.

Вспомнив это, Кельсиев оставил планы тайно приехать в Петербург и упасть государю в ноги, подстерегши его на прогулке в Летнем саду, или просто явиться к шефу жандармов и попросить ареста и объяснения. Сдаться он решил на границе, чтобы вины свои, тяжкие и многочисленные, не усугублять тайным переездом.

И собрался, и решился, и выполнил. Переправился в Скулянах через Прут и вручил себя пограничной охране — как Герцен потом писал — «в качестве запрещенного товара, просящего конфискации и поступления по законам».

...Кельсиев вышел на свободу и окунулся в разливанное море славы, странность которой осознал он несколько позже. Звали его всюду в салоны, приглашали на него гостей. Неожиданно и стремительно он женился. Жена писала, весьма недурно играла на фортепиано, так что дома у них часто и охотно бывали люди. Очень быстро издал свою книгу, в основном — переложение того, что писал,

сидя в Третьем отделении. Книга разошлась вмиг и вмиг была прочитана. Тут-то и началось охлаждение. Нет, даже не в книге было дело, хоть и говорили между собой, что гора родила мышь. Просто время естественно подошло: наигрались игрушкой. Книге своей Кельсиев так неловко дал название, что любому было ясно внутреннее соперничество с уже известным «Былое и думы»,— он назвал ее «Пережитое и передуманное». Но искры божьей, озарявшей книгу Герцена, у Кельсиева не было и в помине. Издавать газету с панславистским решительным направлением никто не собирался, использовать Кельсиева в деле контактов с молодежью тоже было никому не нужно. До того его ненужность дошла, что вступился за него былой председатель следственной комиссии, написав куда-то письмо с просьбой использовать Кельсиева. Но письмо осталось без ответа. А когда всеобщий интерес прошел, жена к нему остыла, ибо и любовь ее, так сразу вспыхнувшая, оказалась чем-то вроде азарта к редкостям, и они расстались холодно и отчужденно.

А всего-то года два прошло с той поры, как, уповая и страшась, Кельсиев переходил границу. Он писал теперь статьи разные, ибо надо было чем-то жить.

Пресса издевалась над Кельсиевым. А единственные двое, отзывавшиеся о нем в те годы с жалостью и без единого упрека, были неслышны ему издалека.

И вот тут он крепко запил. От последнего сокрушения, от всего. Видевшие его тогда вспоминали, как тряслись у него беспомощно руки, как блуждали невидящие глаза, как дергалось одутловатое лицо. А ему еще тридцати семи не исполнилось. Кельсиев просто не хотел жить. Он перегорел, кончился. Потому и скорая смерть его в пригороде Петербурга от паралича сердечной мышцы была только физическим завершением смерти, совершившейся в нем задолго до этого события, никем как следует не замеченного. Только его давний приятель написал потом точные

слова: «Узнав об этом, я невольно порадовался за него: тяжела была ему в последние годы его бесполезная, никому не нужная, разбитая, неудавшаяся жизнь».

В годы, когда Кельсиев сходил со сцены, на которой так хотелось ему всю жизнь играть первого и главного героя, выходил на эту сцену другой человек, чья судьба тоже перекрестилась с судьбой Огарева.

2

Семи лет Сергей Нечаев уже помогал своему отцу, откупившемуся на волю крестьянину села Иванова, рисовать вывески и малярничать. Года два они ездили и ходили по губернии, ибо других подручных отец отыскать не мог — шла Крымская война. Характера он был нетерпимого — сына сек за малейшую провинность, выбирая лозу неторопливо и со вкусом приборматывая что-то. Потом девятилетнего Сергея отдали рассыльным на текстильную фабрику. Память о здешних подзатыльниках сохранил он на всю жизнь. Вырастал с непреходящим чувством, свойственным приблудной дворовой собаке, поселившейся у недобрых хозяев: от всех постоянно ждал пинка, ругани, поношений. На недолгое время засветила вдруг надежда стать иным: в их деревню приехал откуда-то, то ли из Москвы, то ли из Петербурга, молодой человек, называвший себя писателем и открывший что-то вроде бесплатной школы для ребятишек. Поучил их полгода азбуке и счету, их сердчишки распалил рассказами об иной жизни, а потом круто запил и уехал. Смышленого Сергея выделял, оттого было вдвойне тяжело прощание. Безжалостно оборвалась первая и последняя, может быть, привязанность. Никому в дальнейшем он уже не доверял настолько, чтоб расслабиться до любви и преданности. Выучился понемногу сам, вознамерился городскую жизнь повидать, думал

сдать экзамен за гимназию. Мать снабдила на дорогу едой, а подвез знакомый отца. Больше он родных не видел и о них никогда не вспоминал. Для сестры только сделал исключение.

Все не получилось, как хотел. В Москве экзаменов не выдержал, а добравшись с трудом до Петербурга, вновь не смог потянуть за полный курс, сдал только на звание частного учителя. Стал преподавать в церковноприходской начальной школе-училище, скоро перешел в другое — в Сергиевский приход. Показалось отчего-то забавным (сам Сергей), да и должность была на грош повыше: и учитель вроде, и начальник-заведующий. Тут и выписал на хозяйство сестру, тишайшее, будто раз и навсегда испуганное создание. После, кстати, оказалась вполне нормальной женщиной — это брат ее так держал, что боялась слово произнести. Чрезвычайно был с учениками строг и резок,— впрочем, наниматели очень это одобряли. Когда занимался или говорил что-нибудь, сестра с молчаливым обожанием смотрела ему в рот, не шевелясь; он же, монолог прервав, досадливо обзывал ее первым подвернувшимся словом. И еще в плохом настроении срывал зло на вечно пьяном училищном старике-уборщике (он же сторож, истопник и швейцар). Старик до того дошел, что даже жаловаться однажды осмелился, безуспешно, разумеется, и последний раз.

Бедность была безнадежная, безысходная, отупляющая. Мучительно и неизбывно ощущал в себе чудовищную энергию, словно свернулась до отказа внутри и давила изнутри пружина.

Экипажи проносились день и ночь, громко и возбужденно переговаривались нарядно одетые люди, весело и насыщенно протекала мимо проходящая жизнь. Из окон вылетали смех, музыка, свет. Мир был устроен так загадочно и странно, что в нем находились место и удача всем. Кроме Сергея Нечаева. Ибо он понимал удачу и место как

нечто (что именно, сказать до поры не мог), распустившее бы в нем его пружину.

День, когда он вдруг понял, непреложно и явственно, что Россия нуждается в переделке, был, несомненно, самым счастливым днем в его жизни. Сразу все становилось на места, обретало смысл, назначение и цену. Ненавистный мир, вызывающий раздражение и злобу, стоил пожара и перестройки.

И, как это бывает одно к одному, как раз студенческие волнения. Сходки то на одной, то на другой квартире. Волнения сразу в трех институтах. Нехитрый и несложный вопрос: о необходимости иметь кассы взаимопомощи для бедствующих студентов, о неотложности заведения столовых на общественных началах и таких же доступных библиотек. И о том, наконец,— тема всегдашняя и давняя в России,— чтобы сами сходки были официально разрешены.

Ожил и взбудоражился Сергей Нечаев. Бегал, организовывал, договаривался, устраивал, связывал, обеспечивал, знакомил и оповещал. Волновался, настаивал и спорил. Но его не очень-то слушали. Нужны были имя, авантажность, авторитет.

И разнесся внезапно слух: арестован Сергей Нечаев. Как, тот маленький, быстрый и настырный? Да, да, да. Тот невзрачный, неказистый и суетливый. Арестован один-единственный он.

О Нечаеве заговорили все. Фигура его вырастала на глазах, обретая неодолимую притягательность.

Похищение! Тайное жандармское похищение! Лучшего для славы и не придумаешь. Это усугубляло таинственность и ореол. Между прочим, на справке о его исчезновении, сохранившейся в Третьем отделении, осталась легкомысленная чья-то пометка: «Личность его едва ли заслуживает внимания...»

После он рассказывал и писал, что сидел в насквозь

обледенелых тайных казематах Петропавловской крепости, где замерзал так, что ему ножом разжимали зубы, чтобы влить перед допросом водки для разогрева. Будто бы надел чью-то офицерскую шинель — бежал. Рассказ раз от разу обрастал подробностями, становился все полнее и правдоподобней. Особенно после разговоров с молодыми эмигрантами, которые нюхивали уже Петропавловку.

На самом деле он был это время в Москве, откуда съездил ненадолго в Одессу, чтобы, вернувшись, рассказать в Москве о новом побеге из-под ареста. Он строил теперь свою биографию продуманно и любовно — чтобы жить в ней и из нее, заметной, выходить к людям. И немедленно у него появился рабски преданный, обреченно послушливый приятель, покорный, ничего не спрашивающий, заведомый соучастник в чем угодно. У него-то и взяв на время паспорт, Сергей Нечаев очутился в Швейцарии. Прежде всего он разыскал Бакунина, легендарного неуемного бунтаря.

Бакунин сам очень часто врал — совершенно искренне, по-ребячески врал, выдавая желаемое за действительное. И в свою очередь охотно, готовно, с радостью верил во все, во что хотел поверить. Молодой Нечаев сразу понравился ему огненной, непреклонной и необузданной энергией, а еще более привел его в восторг тем, что рассказал. Наконец-то сбывалась самая заветная, почти безнадежная бакунинская мечта: из глубины России явился посланец огромной и подготовленной организации. Комитетом «Народной расправы» назывался центр этой безупречно законспирированной, разветвленной студенческой организации. А она сама — обществом «Народная расправа». Общество готово к выступлению по первому слову этого безоглядно решительного юнца. Адресов сочувствующих было у него несколько сот. Все мечты пятидесятипятилетнего Бакунина сбывались, воплощенные в этом щуплом

фанатике с горячечными глазами. Он и впрямь поверил ему. И, уж во всяком случае, сразу полюбил.

Бакунин называет Нечаева тигренком или юным дикарем. И с утра до ночи они занимаются подготовкой русского взрыва. Пишутся прокламации и воззвания. Очень быстро высокообразованный Бакунин обнаруживает ничтожную образованность своего любимца, полное отсутствие литературного дара, узость мировоззрения. Но недостатки эти только сильней привязывают стареющего Бакунина к искрящемуся фанатику взрыва. Первое же воззвание, адресованное студентам и написанное Нечаевым, тщательно редактирует Бакунин, любовно объясняя мечущемуся по комнате тигренку, как надо сильнее строить фразу. Большинство остальных прокламаций и призывов напишет он сам — даже те, что подписывать станет Нечаев, а еще и Огарева привлечет.

Оживает до прежнего своего темперамента грузный, рыхлый Бакунин. Он теперь тот же, что был на баррикадах в Дрездене, и вся его былая решимость и безоглядность выливаются, как в угаре, страшными и безответственными призывами. Очень точно вскоре напишет Герцен Огареву, тщетно пытаясь хоть его предостеречь от этого угара: «Бакунин тяготит массой, юной страстью, бестолковой мудростью. Нечаев, как абсент, крепко бьет в голову. И то же делает безмерно тихая, тихая — и платонически террористическая жилка, в которой ты себя поддерживаешь».

Только уже поздно останавливать Огарева. Нечаев сумел и в нем пробудить надежды. А вдруг этот юноша воплотит все, что не смог воплотить сам? Огарев пишет одно из воззваний к студентам; впрочем, оно умеренно в выражениях, просто он призывает их сплотиться, ибо все упование возможной российской свободы теперь ложится на них. Имя Огарева — далеко не пустой звук, в России поют его песни, читают его стихи, статьи переписывают и

перепечатывают, и не зовет он бросать учебу и бунтовать немедленно, а предлагает лишь задуматься,— не пора ли вернуть народу свой долг? К тем, кто не хочет это делать, нет у него нареканий и упрека. Чувствуется школа Герцена: свобода — дело совести каждого. А в листовке, писанной Бакуниным, те, кто не хочет выступить немедленно, умеренные и рассудительные, обливаются ярой ненавистью. Бакунин истово и яростно верит, что слова его наконец-то станут делом. Выкуривает десятки папирос Бакунин, из угла в угол бегает безостановочно Нечаев, и множится, множится поток слов, ставших надолго и прочно позором и стыдом русского революционного движения. Весь талант Бакунина — литературный, ораторский, полемический — вскипает, как на огне, от раскаленной озаренности щуплого взрывателя-ненавистника. Даже древние слова Гиппократа, относящиеся к исцелению страждущих, делаются многозначительным эпиграфом к прокламации, призывающей к разрушению,— слова о том, что огонь — последнее и самое целительное средство.

Оба призывают огонь на Россию. А для пущей удачливости предприятия советуют соединяться с разбойниками.

А во имя чего? Одного и того же самого: «Мы должны отдаться безраздельно разрушению, постоянному, безостановочному, неослабному, пока не останется ничего из существующих общественных форм».

Что же делает Николай Огарев посреди счастливого угарного безумия этих двух, как половинки, слившихся людей? Кажется, немного завидует Бакунину, что Нечаев с ним куда более доверителен, чем с Огаревым. И у него, у Огарева, тоже никогда не было собственных детей, чтобы ощутить свое воплощение и продолжение. И его, Огарева, остро гложет болезненное чувство напрасности и бесплодности вдруг потекшего мимо времени, одиночества среди молодой эмиграции, своей чужеродности непонятным и не-

почтительным юнцам, ссорящимся вокруг и интригующим от безделья и пустоты. Мечется по Европе Герцен, покоя себе нигде не находя, снедаемый тою же самой тоской. С брезгливостью отвернувшись от Нечаева, он и Огарева предостерегает от него. Настаивает в письмах, уговаривает, сменяет насмешку увещеванием, удивляется и негодует.

Все напрасно. Закусил удила Огарев, и последняя, быть может, надежда светится в его взгляде, когда он разговаривает с Нечаевым. Огарев устраивает печатание всего, что пишут Нечаев с Бакуниным. Ибо издавна нет у Бакунина денег, жив он долгами и тем, что перепадает случайно. Да и у Огарева уже денег нет. Но Герцен, тот не может ему отказать,— как и прежде, вся рассудочность Герцена смолкает, когда настаивает на чем-нибудь единственный его пожизненный друг. А настаивать было на чем. До сих пор еще существовал много лет сберегаемый капитал, им обоим равно принадлежащий.

Десять лет назад это было. Вдруг приехал в Лондон странный молодой человек. Он прислал Герцену записку, прося о свидании, а когда встретились, долго застенчиво молчал. Это был некий Павел Бахметев, ныне тем более знаменитый, что ничего не известно никому о дальнейшей его после Лондона судьбе. Был он душевно вполне здоров, но его одержимость одной-единственной идеей наверняка заставила бы задуматься какого-нибудь психиатра. Особенно западного, никогда не видевшего русских юношей той поры. А Бахметев, тот Россию оставлял, собираясь на Маркизских островах (по иным версиям — в Новой Зеландии) основать колонию, живущую на началах социализма. Начитался он вволю всяких утопических книг (в гимназии Чернышевский одно время был его учителем, и видались они перед отъездом, и Рахметов из «Что делать?» — это преображенный Павел Бахметев), побродил по России, примериваясь, и решил, что дома мечта не сла-

дится. Был он неловкий, неумелый, но решительности ему не занимать. Продал наследственное имение и подался на Маркизские острова, по дороге навестив Лондон. Сразу о деле он не сказал, сперва аккуратно выспросил Герцена, тот объяснил, что печатный их станок — вовсе не коммерческое предприятие, а затеян ради вольного слова. Очевидно, Бахметев именно это от Герцена и хотел услышать, ибо тут же предложил оставить на нужды типографии капитал в двадцать тысяч рублей. Вполутора больше увозил он для учреждения колонии. Герцен от денег сразу отказался, снова продолжая уговаривать молодого человека не совершать задуманную глупость и заведомым самоутопизмом (каламбур этот из смеси утопленника и утописта показался ему очень убедительным) не кончать свою жизнь, которая еще может пригодиться России. То же самое почти слово в слово очень сердечно повторил ему вечером Огарев, но Бахметев остался неколебим. И настаивал чуть не со слезами, чтобы они эти деньги у него взяли,— так ему душевно будет легче. Дав Бахметеву от имени двоих расписку в получении денег, Герцен и Огарев сговорились, что лет десять подождут расходовать их: если одумается, повзрослеет и вернется, пригодятся ему. Они обнялись на прощанье... Был убит, очевидно, по дороге. Ибо туго набитый бельишком и любимыми книгами студенческий хилый чемодан не вместил обмененного ему в Лондонском банке золота, и он просто завернул его в небольшой шейный платок — так мочалку домой из бани носят, если недалеко дом,— и от всех увещеваний и предостережений отмахнулся рукой небрежно. Бесследно и навсегда пропал Бахметев. Обреченная чистота и решимость этого канувшего в небытие человека сильно и не случайно тревожила сто лет спустя историков. Но узнать ничего не удалось.

Срок хранения этих денег истекал, давно было ясно, что они востребованы не будут. Многие знали об их нали-

чии, многие зарились на них, предъявляли претензии. Не раз предлагалось поставить на них новую типографию в Европе, помочь молодой эмиграции, затеять еще один журнал или газету. Герцен был непреклонен и тверд, тем более что опирался на неизменную поддержку Огарева. Последняя сильная атака была выдержана от Бакунина. То он собирался заслать куда-то своих агентов («Не надо,— спокойно говорил Герцен,— совершенно их посылать незачем»), то затеять пропагандистское предприятие, то еще, еще и еще. Появилось даже понятие, точно высказанное Герценом: «убакунивание» любых сумм, попадавших в его неугомонные руки. Капитал был оставлен Бахметевым под расписку двух, и оба полагали себя ответственными за него. Вот почему Герцен, когда Огарев потребовал от него половину, на которую имел право, помрачнел, но сопротивляться не стал. Так появились у Нечаева и Бакунина деньги на печатание своих призывов.

Герцен колесит по Европе: Берн, Ницца, Люцерн, Париж, Флоренция — есть и другие города, аккуратно обозначенные на конвертах его частых писем. Недоумевающих, вопрошающих, злых. И — растерянных, тоскливых, сумрачных. Все плохо, все трудно. Непонятно, как жить дальше в этой разваливающейся на глазах семье, где внутри ни любви, ни приязни, только раздражение и тягостные обязательства. И неясно, что делать дальше,— кажется, исчерпала себя Вольная печать в том виде, как понимал ее Герцен. Огарев нашел себе занятие, но оно, чем дальше, тем больше тревожит Герцена; если к молодой эмиграции он испытывал только неприязнь и понимал невозможность найти контакт, то к Нечаеву чувствует омерзение. И душевную боль оттого, что Огарев словно ослеп.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Бакунин, хоть на час да появлявшийся ежедневно, вдруг на три дня исчез, и Огарев уже собрался было к нему, но тут они пришли с Нечаевым. Бакунин, как всегда потный, возбужденный и громогласный, Нечаев хмурый и сосредоточенный. Огарев с утра плохо себя чувствовал, болела сломанная еще в прошлом году нога, он сидел неподвижно, старчески опершись обеими руками о набалдашник палки, радуясь, что не надо никуда идти. Он думал о старости и смерти, недоумевая, почему в пятьдесят шесть уже шевелятся такие мысли, и никак не мог отвлечься от неотвязной утренней сумрачности. Впрочем, Бакунину никогда не было дела до настроений собеседника, в этом отношении он был неподражаем, как и во всем остальном. Сразу же усевшись к торцу длинного стола, принялся набивать себе папиросы, чтобы потом дымить, прикуривая одну от другой, и, похохатывая, стал говорить, как устал с утра до ночи писать и разговаривать с тигренком об одном и том же, ибо никаких иных тем этот юный дикарь не признает. Нечаев молча бегал из угла в угол, не выпуская из рук принесенную с собой папку.

— Ну, кого ты видел за это время? — спросил Бакунин Огарева.

Мэри принесла чай и сразу вышла. С Бакуниным, которого она не любила и боялась, она вела себя отчужденно и церемонно. Он даже не взглянул на нее, а Нечаев смотрел на нее пристально все время, пока была она в комнате, и даже вслед посмотрел.

— Видел я кого?..— медленно заговорил Огарев, но тут Нечаев коротко и отрывисто перебил:

— Давайте, господа, работать, лето уже на дворе, пора.

Огарев покорно замолчал.

— Вот так, брат, он меня и держит, как наемника,— захохотал с удовольствием Бакунин.— Давай, давай, тигренок, читай. Мы тут набросали с ним общие правила для революционера. Катехизис. Пока, собственно, тезисы и идеи. После он разовьет, а я пройдусь набело, и хотим обкатать это на тебе, Платоныч. Не возражаешь? И держись, брат, ты еще такого не слыхивал.

Нечаев это время стоял к ним спиной, у окна и вдруг звонко по-мальчишески чихнул. Снова захохотал Бакунин.

— Хилый вы народ, сегодняшние,— сказал он самодовольно.— Я вот, когда на офицера обучался, так здоров был, что проклинал свое здоровье. Дай, думаю однажды, простужусь: воспаление, к примеру, легких схвачу, что ли. Выпил, натурально, чаю с полведра, с малиной, весь вспотел, запарился, сразу разделся до пояса, вышел и улегся на снег спиной. Полчаса полежал — невмоготу больше, прохватило насквозь. Оделся, вернулся в комнаты, лег спать. Ну, думаю, наутро температура, жар, озноб, спишусь по болезни. Черта с два! Даже насморка не получил. Ладно, ладно, тигренок,— заторопился он,— давай, я отвлекся.

— Здоровье у таких, как вы,— оно за счет народа, который от голода и лишений рос хилым и не мог развиваться физически,— сказал Нечаев враждебно, но не обиженно.

— Врешь, брат,— опять засмеялся Бакунин, закуривая первую папиросу.— А бурлаки откуда брались, а разбойники и силачи сельские? Ты, брат, собственную комплекцию не обобщай, я ведь не хотел тебя обидеть. А обидел — прости, пожалуйста, это ненароком вышло.

— А меня нельзя обидеть. Невозможно,— холодно сказал Нечаев.— Будем читать?

— Ну конечно,— виновато и заискивающе сказал Бакунин. На памяти Огарева он ни с кем никогда так не разговаривал.

«Что ж,— подумал Огарев,— воплощение всех надежд, последнее, может быть, воплощение!»

Вот ведь чем был для них этот собранный в кулак мальчишка.

— Катехизис революционера,— начал Нечаев, присев к столу и раскрыв папку, но глядя куда-то в сторону, тускло и монотонно.— Делится на четыре части. Часть первая — отношение революционера к самому себе.

— Ну, это выработано классически,— самодовольно вставил Бакунин, окутываясь клубом дыма.

— Я читаю,— сказал Нечаев и уткнулся в папку. Голос его стал выше и резче:— Революционер — человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единым исключительным интересом, единой мыслью, единой страстью — революцией. Второе. Он в глубине своего существа, не на словах только, а на деле, разорвал всякую связь с гражданским порядком и со всем образованным миром, со всеми законами, приличиями, общепринятыми условиями и нравственностью этого мира. Он для него враг беспощадный.

— Для этого мира, то есть,— сказал Бакунин,— тут бы точнее надо.

Нечаев не поднял головы, продолжая:

— ...и если бы он продолжал жить в нем, то для того только, чтобы его вернее разрушить.

Третье. Революционер презирает всякое доктринерство и отказывается от мировой науки, предоставляя ее будущим поколениям. Он знает только одну науку — науку разрушения. Он изучает денно и нощно живую науку — людей, характер, положения и все условия настоящего общественного строя во всех возможных слоях. Цель же одна — наискорейшее и наивернейшее разрушение этого поганого строя.

— Сделай-ка отметку, тигренок,— благодушно пыхнул

дымом Бакунин.— Надо вставить, что физику, химию и медицину изучать можно, чтобы все уметь делать самому.

— Что? — спросил Огарев, но, сообразив, кивнул головой несколько раз.

Нечаев быстро взглянул на него, делая на листе пометку, и Огарев вдруг подумал, что мальчишка этот, взявшийся за практику революции, должен наверняка презирать их обоих — теоретиков, словесников, ничего руками не умеющих делать. Вспомнил свои давние эксперименты по химии — господи, как был молод тогда! Что-то прослушал, кажется.

— Шестое.— Голос Нечаева налит был необычайной силой. Явственно было видно, слышно и ощущалось переживаемое им наслаждение. Ярость и восторг заражающе витали в воздухе и уже отражались на лице Бакунина, бросившего папиросу. Голос наполнял комнату: — Суровый для себя, он должен быть суровым и для других. Все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности должны быть задавлены в нем единою холодной страстью революционного дела. Для него существует только одна нега, одно утешение, вознаграждение и удовлетворение — успех революции. Денно и нощно должна быть у него одна мысль, одна цель — беспощадное разрушение. Стремясь хладнокровно и неутомимо к этой цели, он должен быть готов и сам погибнуть и погубить своими руками все, что мешает ее достижению.

Нечаев замолчал и судорожно вдохнул воздух. Тощий кадык его дернулся вверх к горлу и опять осел на неловко повязанном галстуке.

— И здесь будет правка,— озабоченно сказал Бакунин.— Сделай метку, тигренок.

— Дальше идет отношение революционера к товарищам по революции,— остывшим голосом сказал Нечаев.— Это еще вовсе не разработано пока. Основная мысль состоит в том, что мера дружбы с человеком и мера предан-

ности ему зависит от степени его полезности для революционного дела.

— Ну, однако же,— возразил Огарев, но замолчал, ибо Нечаев продолжал, глядя мимо него куда-то в стену.

— Разделение должно быть по категориям. Посвящать во все дела и планы следует совсем не всех. Под рукой у каждого борца высшей категории должно быть некоторое количество категории низшей. Он рассматривает их как революционный капитал, отданный в его распоряжение, и тратит, как находит нужным. Но и на себя он смотрит как на капитал революции, поэтому, если попал в переделку, то выручать его будут или не будут, взвесив предварительно пользу его и расход необходимых сил.

— С этим я никогда не соглашусь и даже спорить полагаю излишним,— сказал Огарев, мягко улыбаясь. Эту его застенчивую улыбку превосходно знал Герцен и никогда уже не настаивал на своем, если она появлялась.

Бакунин изучением собеседников никогда в жизни не занимался, почему и вмешался суетливо и настойчиво:

— Ты не прав, ты зря уперся, Платоныч. Это должен быть рыцарский, или, если хочешь, монашеский орден, и с подвижничеством, которое диктует катехизис, молодые согласятся с восторгом. Им нужна и сладостна жертвенность.

— Может быть, но я не молод и не вправе никого к ней обязывать. И давайте почитаем дальше, я, ей-богу, даже спорить не стану.

— Да и ни к чему спорить,— сказал Нечаев, так внимательно и спокойно смотревший на Огарева, что тот вдруг понял, похолодев, что вот он, Огарев, уже и не стоит никакой траты на него революционных сил и времени. И от этого вдруг очень хорошо и бодро себя почувствовал — исчезли куда-то боли, туман, расслабленность. Наступила полная трезвая утренняя ясность, и не знал Нечаев (вот бы Герцен счастлив был), как сейчас близок Огарев к

тому, чтобы сбросить с себя обаяние этого остроглазого юнца. Он распрямился, оторвавши руки от набалдашника, улыбнулся широко и поощрительно и сказал, что готов действительно сперва выслушать все до конца.

Нечаев вытащил из папки лист бумаги, мелко-мелко исписанный с двух сторон, и встал, молча пройдясь с ним по комнате. Остановился, заглянул в него и заговорил тускло, не вошедшим еще в пафос голосом. Впрочем, после двух-трех фраз голос его снова налился звучностью, металлом и чарующей, гипнотизирующей убежденностью:

— Далее идет отношение революционера к обществу. Он не революционер, если ему чего-нибудь жаль в этом мире. Все и вся должны быть ему равно ненавистны. Тем хуже для него, если у него есть в обществе родственные, дружеские или любовные отношения, он не революционер, если они могут остановить его руку. Он не может и не должен останавливаться перед истреблением всего, что может помешать ходу всеочищающего разрушения...

— А если это шедевры архитектуры или живописи, случайно оказавшиеся в поле схватки? — вдруг перебил Огарев.

Нечаев, будто споткнувшись, недоуменно смотрел на него затуманенными глазами. Бакунин снова гулко расхохотался и на глазах помолодел от какого-то воспоминания.

— В Дрездене же, в Дрездене в сорок девятом у меня такое было,— заговорил он радостно.— Я им предлагаю, немцам, педантам этим: выставьте вы на крепостную стену рафаэлевскую мадонну, а к осаждающему начальству пошлите кого-нибудь сказать: мол, стрельба ваша — картине гибель. Как пить дать, уверен был, что прекратят хоть на время обстрел. Немцы все-таки дисциплинированные. Нашим бы я ни за что не предложил: изрешетили бы за милую душу.

И опять захохотал громко. Нечаев молчал.

— Правда, не послушались они совета,— сказал Ба-

купин, успокаиваясь.— А вопрос твой, Платопыч, бессмысленный, извини меня, старика. Тут людей жалеть не приходится, а ты о каких-то каменных дурачествах подлого прошлого. Их даже, если не помешают, следует так разрушить, чтобы никакой и памяти не осталось об эксплуатации обманутых и рабов.

— Ну-ну,— сказал Огарев неопределенно.

Нечаев продолжал, словно запнулся на запятой: отвлечения его не интересовали. Огареву показалось даже, что он просто не слышал их разговора, пережидая вынужденный перерыв. Теперь он уже читал по рукописи:

— С целью беспощадного разрушения революционер может и даже часто должен жить в обществе, притворяясь совсем не тем, что он есть. Революционер должен проникнуть всюду: во все высшие и средние классы, в купеческую лавку, в церковь, в барский дом, в мир бюрократический, военный, в литературу, в Третье отделение и даже в Зимний.

Нечаев захлопнул папку, помедлил секунду, встал и заходил из угла в угол, огибая выступ стола. Огарев смотрел на него, не отводя глаз.

— Население будет разделено по спискам на пять категорий, на пять,— говорил Нечаев размеренно, медленнее шагая из угла в угол и подбирая выражение для мыслей хоть и выношенных, но еще в слова не отлитых.— Это по порядку их вредности делу очищающего разрушения. С тем чтобы первые номера были убраны со сцены ранее последующих. И единственный принцип при составлении списков...

— Проскрипции,— сказал Бакунин негромко. Нечаев не обернулся к нему.

— ...это польза, которая принесется народному делу от смерти того или иного человека. Первая категория — это те, чья внезапная и насильственная смерть потрясет, как гальваническим током, всю страну и правительство, на-

водя на него страх и лишая его умных и энергичных деятелей.

Он говорил, и лицо его горело ровным пламенем, и походка, повороты тела, осанка обрели невыразимую кошачью грацию, под стать ровному и звучному голосу. Записать сейчас, и правка бы не понадобилась, отчего-то подумал Огарев и мотнул головой, отгоняя эту мысль, как муху, чтобы не мешала слушать.

— Вторая категория — список тех, кто совершает поступки зверские, помогая своими действиями и распоряжениями довести народ до неотвратимого бунта. Этим жизнь временно даруется ради невольной помощи делу.

Нечаев замер на секунду, потом словно пируэт сделал, чтобы распахнуть на миг свою папку, и опять пошел, пошел упруго и безостановочно.

— Третья категория — это все остальные высокопоставленные скоты, те, кто пользуются по своему положению, хоть и лишены ума и энергии, связями, влиянием, силою, богатством, известностью. Их надо опутать, прибрать к рукам, вызнать слабости и грязные тайны, так скомпрометировать их, чтоб они, как рабы, как веревочные куклы...

И опять перестал Огарев его слышать, голова закружилась, и все поплыло перед глазами. Он оперся на палку, стиснул зубы и уже только в себя вслушивался,— кажется, назревал припадок. А он не мог, не мог, не мог свалиться перед мальчишкой. Нет, не мог, не мог, не мог. Радужные круги плыли по стене возле окна, сходясь почти концентрически, сужаясь и исчезая в разных местах, чтобы вновь широкие пошли следом. Когда они соберутся вместе, в один фокус, он упадет, и сделается припадок. Но нельзя это, никак нельзя. Надо болью, можно болью отвлечься. И медленно, медленно, аккуратно, аккуратно стал Огарев придвигать поближе к суковатой палке сло-

манную в прошлом году ногу. Он очень хорошо помнил, где еще было больно дотрагиваться.

— ...Этих будто бы революционеров мы толкнем вперед, в обязательства, выступления и поступки. Результатом будет бесследная гибель большинства и революционное созревание оставшихся немногих...

Боль пронзила ослепительная, острая, облегчающая. На стене кругов как не бывало, а нараставшее, поглощавшее забытье сменилось теплыми каплями пота по всему телу, слабостью и головокружением. Хорошо бы воды сейчас. Хорошо бы. Только не сказать, не слушается пока язык. Ну да ладно, отсижусь, бог даст. Главное теперь повади.

— ...Товарищество будет всеми силами способствовать развитию и усугублению тех бед и тех зол, которые должны вывести наконец народ из терпения и побудить его к поголовному восстанию...

Что-то еще проговорил Нечаев отчетливо и патетически, заглянул еще раз в папку и замолчал. Молчал и Бакунин, глядя на Огарева. Кажется, Бакунин видел и понимал его бледность — скажет что-нибудь сейчас, не удержится. И лучше, значит, говорить самому. А я уже в силах сам?

— Я хотел бы все это прочитать глазами,— сказал Огарев медленно, с трудом ворочая вспухшим, сухим языком.

— Это еще не обработано, как видите, и потом на чтение нет времени,— ответил Нечаев.

— Сегодня же это все будет сделано,— сказал Бакунин.— Мы читали тебе главные наброски. Ну завтра, по крайней мере. Времени вовсе не остается.

— Почему? — спросил было Огарев, но Нечаев перебил резко:

— Мы не подписи вашей спрашиваем, а общего согласия и разделенности. Очень пересохло во рту,— эти обе

фразы он сказал одним и тем же требовательным тоном.

— О согласии и разделенности я могу говорить уверенно, только прочитавши, а попить бы и я не прочь,— так же слитно ответил Огарев, усмехнувшись и обучаясь от палки отрывать руки.— Только с этим надо к Мэри обратиться. Не затрудните?

— Я попрошу чаю,— отрывисто сказал Нечаев и вышел.

Бакунин и Огарев молча смотрели друг на друга. Улыбнувшись внимательно и мягко, Бакунин первый нарушил молчание.

— Ну, и как тебе? — спросил он. О здоровье или о впечатлении?

— Странно мне это, мерзковато и страшновато.— Огарев тоже улыбнулся смутной и смущенной улыбкой. У него еще кружилась голова, но на душе полегчало.— Это ведь, по стилю судя, ты все сам написал?

— Знаешь, Платоныч, нет,— возразил Бакунин, набивая папиросную гильзу.— У него уже были наметки, он привез листки из России. Говорит, что сам писал, но я, честно сказать, сомневаюсь. Литературно юный дикарь бесплоден, аки эта папиросная бумага. Но какая страсть, готовность, порыв. Согласись, феноменальное явление. Ставлю ногу против еловой шишки, что к зиме у него будет огромная организация.

— Значит, в ту, что есть сейчас, ты не веришь? — спросил Огарев.

— Верю, верю,— добродушно засмеялся Бакунин тем своим смехом, что всегда сопутствовал его преувеличивающим или просто лгущим словам.— А теперь она будет еще больше.

Огарев как-то замедленно сообразил, что говорит ему Бакунин. Значит, Нечаев едет в Россию?

— Ну конечно же,— сказал Бакунин.— Дня через два-три он отправляется начинать дело. И, глядишь, к весне

полыхпет. Мы еще поживем с тобой, Платоныч. Мы еще понюхаем пороху.

И такая зависть и жалость к этому мальчишке пронзили Огарева, что разом отпали все слова и возражения, и сейчас, попроси его Нечаев, он бы кровью на любом документе расписался. Вошел Нечаев, а следом, неся на подносе чайник, шла Мэри, опустив глаза, чтобы не глядеть на двух нелюбимых ею и пугающих ее людей.

— Благодарю,— кивнул Нечаев.

— Видишь, благодарить научился. Моя школа,— хохотнул, любовно глядя на него, Бакунин.

Нечаев очень прямо и спокойно посмотрел на него без улыбки.

— Я не знал, что вы уже едете, Сережа, нам будет вас очень не хватать,— сказал Огарев.

Нечаев так же прямо и пристально посмотрел на него.

— Пустяки,— ответил он.— Вы еще понадобитесь нам, и мы вас вызовем.

2

Необыкновенно легкой, как и рассчитывал, оказались для Постникова эта поездка и все предприятие целиком. Еще и недели не прошло в Женеве с его приезда, как стоял он в книжном большом магазине, листая кипу нераспроданных лондонских изданий, а хозяин магазина повествовал ему, как тяжела стала торговля такой литературой. Кстати упомянув, что знаком очень тесно с паном Тхоржевским, который тоже этим занимается, будучи издавна с обоими главными русскими близок. Уважаемый и почтенный человек. Рюмочку в ближайшем кафе? С удовольствием, приказчик справится один, сами видите, как мало работы.

Разговор продолжался за столом, а судьба, благоволя к Постникову, не дремала, и уже шел между столиков,

ведомый и руководимый ею, пан Станислав Тхоржевский. Они были представлены друг другу, поговорили с обоюдным пониманием о том, что пора уже о старости думать, и не только о душевной, но и материальной стороне увядания. Постников, подполковник в отставке, из России, в деньгах не нуждался, к счастью, так что хотел главным образом занятие приискать себе по душе. Ибо служить ему безоговорочно надоело, в Россию возвращаться не собирается. Вот надеется несколько проветриться, а потом приискать себе здесь занятие по уму и сердцу. Пусть бы оно даже денег не приносило, нету об этом попечения, только бы интересно.

Книгопродавец говорил о сегодняшнем упадке, но возможном еще повышении интереса к литературе, а Тхоржевский единственный из них сказал, что его-то старость исключительно сейчас заботит именно с точки зрения слабоватой обеспеченности. И что он довольно часто в этой жизни страдал от избытка честности и щепетильности, а порой, господа, если признаться, даже и жалел потом об этом.

Час всего, не более, просидели они, и уже явно собрался уходить познакомивший их книжный торговец, и Постников неторопливо поддерживал беседу, из памяти извлекая о себе и о России замечательно интересные бытовые истории, когда сказано было первое слово об архиве. Постников переспросил. Тхоржевский с удовольствием рассказал об архиве, содержащем во множестве бесценные документы, мемуары, записи. Все, что готовил к изданию, но не успел издать покойный князь. Это все надо бы печатать, и доход возможен, только нет для этого средств. И поэтому обдумывает сейчас Тхоржевский вопрос о продаже архива в чьи-нибудь надежные руки — все ведь обеспечение на старости лет.

Это в первые-то дни приезда! Хоть предвидел удачу Постников, но не так сразу, не с такой, даже подозритель-

ной и настораживающей, быстротой. И сказал задумчиво и мечтательно, не стать ли ему, мол, издателем, интересно ведь оказаться причастным к российской истории и литературе.

— Если вы всерьез надумаете,— неожиданно сказал Тхоржевский,— милости прошу ко мне вечером.

И все трое раскланялись с приятным чувством не без приятности проведенного времени.

Далее события разворачивались с неуклонностью и быстротой, хоть и отстояли друг от друга порой на расстоянии в целые недели. Ибо стремительность и быстрота событий такого рода не в измеряемой скорости, а в сцепленности друг с другом и непреложном следовании к цели. Тхоржевский познакомил Постникова с Огаревым, ибо без его и Герцена благословения о продаже речи быть не могло. Отставной подполковник сдержанностью, немногословием и явственной порядочностью произвел прекрасное (что неудивительно) впечатление на Огарева. Некоторое время спустя, оказавшись проездом в Париже, он такое же точно впечатление произвел на Герцена, относящегося к людям недоверчиво. После первого же разговора был оставлен к чаю, представлен жене и дочери, приглашен заходить. Впоследствии передавал и получал сердечные приветы и пожелания. Он не льстил ни одному из них, не распинался в сочувствии их мировоззрению, не ругал чересчур порядки и нравы российские. К власти относился, например, как к некой стихии, натурально и естественно возникшей из исторической стихии русской жизни, осуждать же местное явление природы неразумно и нецелесообразно. Очень, очень импонировал всем этот мужественный рассудочный стоицизм. После встречи с Герценом он писал в своем донесении в Петербург (писал он их подробно, часто и отовсюду):

«Я постиг этих господ: с ними надобно быть как можно более простым и натуральным».

Очень прозорливо, кстати, заметил о Герцене того времени, после нескольких встреч уловив, что «проглядывает желчь и усталость от борьбы с жизнью». И спокойно, неназойливо, с холодноватой заинтересованностью скучающего, но еще энергичного человека сговаривался все более определенно о приобретении архива покойника. Уже показывал ему Тхоржевский аккуратно переплетенную опись бумаг, и Постников немедленно сообщил в Петербург, что эта опись полнее гораздо, чем предполагалось дома. Настолько все было на мази, что и самодержцу сообщили о близости исполнения чрезвычайного того поручения. Было оно некогда именно в таких красках расписано предусмотрительным Филиппеусом, и самодержец на торжествующем рапорте начертал: «Признаюсь, что я еще далеко не убежден, чтобы покупка эта могла состояться».

Состоялась, состоялась эта покупка! Разговор шел только о цене. Герцен был в восторге от издательских планов скучающего подполковника: выпускать отдельными брошюрами, как бы продолжающими прижизненно вышедший первый том из собрания бумаг Долгорукова. Герцен и черновик контракта составил. Герцен и Тхоржевского торопил уступить в деньгах. Ибо Тхоржевский называл цену, Постников просил время подумать, в Петербург летела телеграфная депеша, оттуда запрашивали Ливадию, где в то время отдыхал с семьей самодержец. И ответ шел по той же цепи обратно. Впрочем, казны было не жаль, очень уж интересовали высочайшую семью собранные мятежным князем семейные тайны. Вскоре состоялся полный сговор. Аккуратнейше пересмотрев бумаги, подполковник Постников в огромном, специально заказанном сундуке повез их торжественно в Брюссель, где была у него договоренность с типографией. Ехал он через Берлин, там у него было небольшое дело. Состояло же оно в том, что сундук этот доверенные люди бережно помогли ему погрузить в поезд совершенно иного направления. В Петербурге Постнико-

ва ждала награда, похвалы, повышение, семья. А в Женеве спустя несколько месяцев наверняка спохватились бы об архиве, навели справки, выяснили и за волосы бы схватились от огорчения, не случись нечто непредвиденное со сдержанным подполковником Постниковым.

3

Бакунин так был счастлив и так сиял, что Огарев безошибочно и сразу, предощущением, тревожащим почему-то, догадался, что в Женеву возвратился Нечаев. Было начало января семидесятого года.

— Возвратился твой тигренок? — спросил Огарев, нарушая таинственное сияющее молчание Бакунина.

— Да! Ты представь, да! Вырос, возмужал, опалился: убили они там предателя одного. В Москве.

— Так ты чему именно радуешься? Или всему сразу? — Огарев спрашивал это, уже сам улыбаясь. И Бакунин действовал на него заразительно, да и сам он тоже ощутил радость, что будут новости, отличающиеся от всех тех унылых, что привозят эмигранты и другие приезжие, и что снова неукротимый темперамент Нечаева на время наэлектризует тишину. Очень уж хотелось услышать именно такие новости и ощутить будоражащую, пусть чужую, энергию. И еще без Герцена было одиноко и трудно, адреса на конвертах его уже поименовали добрый десяток европейских городов, рисуя прихотливую сеть метаний.

«Я спасаюсь поверхностной удобоподвижностью»,— писал ему Герцен. У Огарева подвижности не было никакой. Из-за отсутствия денег, из-за больной ноги, от уверенности, что вот-вот, выбрав что-нибудь окончательно, осядет Герцен и тогда наверняка позовет.

— Больше всего радуюсь убийству предателя,— сказал Бакунин очень серьезно, огромным платком отирая пот с

огромного лба.— Не догадываешься? А напрасно: значит, ведь и впрямь существует организация. В одиночку-то ведь он не справился бы.— Бакунин счастливо захохотал, отрешенно голову запрокидывая, хотя глаз от Огарева не отводил, подумывая о возможности разговора насчет второй половины денег, некогда оставленных Бахметевым.

Нечаев вернулся и впрямь словно чуть подсушенный изнутри этими тремя или четырьмя месяцами в России. Стал еще решительней, резче, уверенней, напористей и торопливей. О поездке говорил лаконично: все готово в Москве и Петербурге. Растет сеть в городах по Волге. Не успел получить точных сведений об Урале, но и там, однако, связи разрастаются. Образуются пятерки, делятся новыми вербовками. Делятся опять и снова. Делятся, размножаясь, как клетки очень быстро развивающегося организма. А приехал он совсем не потому, что в Москве обнаружился предатель,— кстати, единственный, его пришлось убрать. Сделано было все быстро. Приехал он, потому что ощутил необходимость еще одной пропагандистской кампании. Говорили о возобновлении «Колокола»? Он согласен взять заботы на себя.

Удержался бы, быть может, Огарев, устоял бы перед новым соблазном, перед этим вторым искушением деятельностью, перед этой активностью, завораживающей до потери разума, не случись внезапное и непоправимое. Двадцать первого января семидесятого года скончался Герцен. Перед смертью в последних словах все твердил о какой-то телеграмме Огареву. Чтобы не беспокоился? Чтобы приехал? Или чтобы одумался наконец?

И такое одиночество, такое сиротство испытал Огарев, что все, чем жил он последние годы, потускнело и отступило куда-то. Он сидел часами, глядя в пространство. Кто-то приходил, разговаривал с ним, он отвечал. Но отчего-то все время вспоминал двухгодичной почти давности историю, когда он сломал ногу. Даже не то, как сломал, нет,

это он теперь вспоминал с удовольствием. Гулял в окрестностях города в сумерках, ощутил, что подступает приступ, хотел опуститься на землю, не успел, грохнулся во весь рост, подвернув неловко ногу, а очнулся — ныла голова, поздний вечер, вокруг никого, очень хотелось пить и есть. Боль в ноге была терпимая, и смешно показалось, что взрослый мужчина лежит вот и не может пошевелиться. Острой боль становилась только тогда, когда он пытался встать. Он достал перочинный нож, располосовал штанину, понял, что перелом, и оставил попытки встать. Полежал немного, охнул, повернулся на бок, после даже облокотился на локоть, вытащил трубку, набил, покурил, опрокинулся навзничь лицом к непрозрачному небу и успел лишь вспомнить, что вот в юности валялся так в траве, в России, по собственной воле и охоте. А когда проснулся, было раннее утро, холодно не особенно, но сыро... Вскоре его привезли домой. А вспоминалось это вот почему: старшая дочь Герцена, Тата, больше всех любившая Огарева, после рассказывала ему, что отец ее чуть с ума не сошел от ужаса, получив известие о его болезни. Бегал из угла в угол с суетливой бестолковостью, ему не свойственной, повторял, что надо срочно ехать, потому что вдруг он больше не увидит Огарева, вдруг он его больше не увидит. И как раз тогда, когда, растроганно улыбаясь, слушал, как журчал Татин голос, Огарев подумал, загадал и представить себе попытался, как это будет, если кто-то из них останется один. И что это может быть он, Огареву и в голову не пришло,— наоборот, сладостно было отчего-то думать, как все станут плакать, рассказывать о нем милые мелочи, как на поминках выпьют за него по-русски. И от мальчишеских этих мыслей, часто свойственных подросткам, Огарев размяк и даже, кажется, прослезился тогда. Тата отвернулась тактично. Чушь эта вспоминалась теперь во всех деталях. Мертвым представить себе Александра он не мог, себя было гораздо легче. И потом

ведь простуда всего-навсего, глупая простуда. Ну, диабет, конечно. А оказалось — воспаление легких. И ему не написали. А он, может быть, успел бы приехать. Как теперь следовало жить, было еще не очень ясно. Да, конечно, ответственность за Мэри, за ее сына, только ведь чем-то еще следовало жить. Это всегда, издавна, с незапамятного времени решалось только в контакте с Герценом. По согласию с ним или в противоречии, но при всегдашнем его участии.

«Глупость какая-то. Ведь должно было это случиться рано или поздно, так ведь надо было подготовиться: сесть и обсудить или письменно решить, что каждый станет делать, если другой умрет. Ну, у Герцена семья, положим. Нет, и у меня ведь семья, это же я не о семье вовсе. Я о том, чем жили все эти годы вместе, в семейных делах как раз были порознь во многом и не сходились. Нет, я о том, чем жили неразрывно и согласно. Что у меня с головой? Впадаю в детство? Мягкий ватный туман, никак не сосредоточиться. Вот оно. Вот оно: что теперь делать? Все последнее время обсуждалось возобновление газеты. Герцен тянул, боялся решиться, нервничал. Здесь и самолюбие присутствовало; опаска, что не будет прежнего уже успеха, что ушло безвозвратно время, что теперь только в России можно и нужно выступать. Многое, конечно, от самолюбия, но и в разумности не отказать. Господи, обсуждать разумность Герцена сейчас! А видал ли я кого разумней? Глубже, хоть и поуже, видел, да не одного. А таких вот: с его размахом, с его чувством времени, с мужеством таким во всем, что обдумывал и обсуждал, видел? Нет. И теперь вот остался без него. Надо что-то делать. Нельзя мне доживать просто так. Я потому так пассивно сидел все время, что от Герцена ждал начала и завязки, как привык уже. А теперь? Кто теперь сделает этот шаг? А я сам? Еще могу я что-нибудь делать сам? Что? Это обдумается — что именно, только важно, что необходимо продолжать, это будет ему лучшей памятью».

И поэтому вполне оказался внутренне подготовлен Огарев к предложению Бакунина и Нечаева срочно возобновить замолкнувший «Колокол». Теперь и деньги были. От Бакунина — вскоре после известия о смерти Герцена — пришло письмо с настойчивым напоминанием о второй части бахметевского фонда. Теперь один лишь Огарев имел на него право, и родные Герцена без единого возражения выслали ему эти деньги. Позже Бакунин писал Нечаеву: «...Я уговорил Огарева согласиться на издание «Колокола» по выдуманной вами дикой, невозможной программе». Впрочем, Огарев с ней не согласился, и Нечаев временно пошел на попятный. Очень уж хотелось ему начать, и месяц выходил возобновленный «Колокол». Шесть номеров появились — жалких, непонятных, пустых. Огарев лишь одну статью написал туда — «Памяти Герцена». И смотрел в равнодушном оцепенении, как навсегда гибнет его любимое детище. Ибо Нечаев мог лишь паразитировать на чьем-нибудь авторитете, на него ссылаясь, от его имени действуя, прокламируя изготовленное по своим идеям, но чужими, мастерскими руками. А здесь он был предоставлен самому себе. И это быстро наскучило ему, ибо имя, вес и само присутствие Огарева, даже при полном невмешательстве, не давали ему возможности предаться на страницах вожделенной газеты тем призывам и заклятиям, на которые он единственно был способен по-настоящему.

Так что не прозрением и отрезвлением Огарева объясняется быстрая смерть возобновленного «Колокола», а неспособностью Нечаева делать что-либо самому.

А потом и отрезвление наступило. Полное, окончательное, холодное. Из России приехал человек, рассказавший очень много о Нечаеве. А по времени совпало это с появлением агентов полиции, очень активно по просьбе русских коллег искавших уголовного преступника, чтобы предать его в России суду. И Нечаев исчез из Женевы. При-

хватив — он давно ими запасся — целую кипу бумаг и писем Огарева, кои могли, по его мнению, скомпрометировать Огарева, а значит — вынудить его, если понадобится, на любое дальнейшее сотрудничество. Ибо очень верил Сергей Нечаев в действенность методов, о которых писал в наставлении для революционеров. Это выяснилось много позже, когда разбирали оставшийся от него архив.

Вскоре полиция напала на его след. Выдал его поляк, получивший таким образом прощение за участие в восстании шестьдесят третьего года. Нечаев был отправлен в Россию. Еще ранее выяснилось наличие в архиве многих бумаг, выкраденных им у Бакунина и Огарева. И Бакунин, не перестававший любить его, говорил с ним об этом. Нечаев ответил спокойно, что бумаги он эти взял, но именно такова ведь система отношений (теоретически Бакуниным одобренная) со всеми, кто не принадлежит полностью народному делу. Их обязательно следует обманывать и заручиться на всякий случай компрометирующими бумагами. Горячо и огорченно писал Бакунин Огареву о мерзости обманувшего их последние надежды человека.

А когда схватили Нечаева и к Бакунину из России обратились за советом, не попытаться ли его отбить, Бакунин ответил отрицательно.

— Нет,— сказал он,— революционера следует спасать, лишь соразмерив его дальнейшую пользу для дела с тратой революционных сил и возможностями текущего дня.

И опять написал печальное письмо Огареву, прощаясь со своей последней иллюзией и любовью, прозорливо высказав уверенность, что на следствии и в заточении Нечаев будет вести себя героем. И нисколько не ошибся.

Так как все, что о Нечаеве здесь писалось, делалось лишь одною черною краской, важно добавить для полноты совсем немного о тех десяти годах, что ему суждено было еще прожить в Алексеевском равелине.

Ибо девять лет спустя после поимки, когда и память о

Нечаеве поистерлась и осталось лишь недоброе черное понятие нечаевщины, ярлыка иезуитства и нечестности в революционном деле, он внезапно напомнил о себе народовольцам — поколению чистейшему, выросшему на отрицании его методов. И обнаружились события фантастические: Нечаев распропагандировал и в единый заговор единой ниточкой завязал всю охрану равелина! Неодолимое обаяние источал этот маленький человек, одержимый пафосом разрушения и переустройства.

Но обнаружился вскоре (от предателя) заговор солдат охраны, их судили всех военным судом, и потом уже, на каторге встречаясь, говорили о Нечаеве солдаты хорошо и безо всякого осуждения. А он сам словно надорвался от неудачи и почувствовал, что сызнова начинать не в силах уже. И тогда распустилась пружина, что держала его всю недолгую жизнь, и он умер, захотев умереть.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Очень смутно было на душе у Огарева, и никто не в силах был сейчас улучшить его настроение и самочувствие. Более того: и прошедшие, вместе с Герценом проведенные годы казались сейчас никчемными и пустыми. Он подолгу играл на рояле помнившиеся на память пьесы, молчал часами, от разговоров и встреч уклонялся так открыто и неприязненно, что его очень скоро оставили в покое даже те из эмигрантов, что хотели бы его участия в разных печатных предприятиях.

Он, верно, и сам вскорости пришел бы в себя и вернулось бы ощущение не напрасно прожитых лет — ощущение, без которого жить человеку очень трудно. Он взял бы себя в руки и сам, перебирая в одинокие эти дни свою жизнь заново, но ему помогло еще одно письмо. Оно при-

шло неожиданно, утром, с оказией. Уже по почерку на конверте Огарев узнал адресата. После перерыва в пятнадцать лет писал ему вдруг человек, с которым так странно и быстро сблизился он в последнюю свою зиму в России. Он и раньше разыскивал Хворостина, посылал ему записки, просил о себе напомнить, тот молчал, и Огарев замолк тоже. Только совсем не забыл этого человека. Руки Огарева дрожали, когда он разрезал конверт, и благодарность за то, что так вовремя вспомнил о нем Хворостин, вспыхнула в нем еще до того, как он прочитал три листочка и почувствовал, отложив их, что выздоровел. Хворостин и писал, как говорил:

«Дорогой Николай Платонович, я сегодня снова поймал себя на том, что много думаю о Вас и опять завидую Вам, потому и решился написать. У нас обоих осталось уже мало времени, что же касается меня, то и вовсе, очевидно, его не осталось, ибо жить мне изрядно надоело, а в таком состоянии Бог не может не послать смерть, будучи всеведущ и милосерден. Впрочем, я всегда сомневался в том и другом. Не могу, во всяком случае, не поговорить именно с Вами напоследок, ибо чувствую за собой странную, Вам неведомую вину. Дело в том, что за время нашего краткого сближения — дружбой, как Вы понимаете, называть это никак нельзя, а теперь-то уже ясно, что мы более никогда не увидимся, так что и не проверить это нам никак,— так вот за время нашего тогдашнего сближения я Вас очень для себя неожиданно полюбил. Оттого и вину свою перед Вами ощущал с преувеличенной остротой. Состоит она, как это сейчас ни смешно, в том, что я все время казался себе много умнее Вас. Нет, не то чтобы я преувеличивал собственные умственные способности, но просто Ваши казались мне тусклее и жестче, что ли, моих. Оттого, быть может, и тон общения нашего был с моей стороны несколько несоответствен собеседнику. Ничего не понимая в поэзии, да и не любя ее совсем, признаться, я вос-

принимал Вас лишь по тем граням, которые мог оценивать и с которыми имел касание. Мне были понятны — и смешны немного — все Ваши метания той поры, отчего и несколько подловатое — ибо затаенное — чувство собственного превосходства никогда не оставляло меня в беседах, где Вы были, по обыкновению своему, искренни, распахнуты и добросердечны. После я следил за судьбой Вашей с удивлением, иронией, снова удивлением, скоро перешедшим в смутное до поры, но потом все более отчетливое одобрение и даже восхищение Вами. Кажется, я косноязычен, да притом эпистолярный жанр не был никогда моим любимым средством выражать отношения и мысли, но уж нечего теперь пенять, начатое я договорю до конца. Склонный приискать Вам наиболее схожий литературный образ (слабые люди, мы, как слабые врачи, очень торопимся ярлыком диагноза прикрыть нашу неспособность полностью понять болезнь — человека в данном случае), я, конечно же, не сдвинулся далее Дон-Кихота. Ну а, ярлык этот навесив, я уже и другие Ваши поступки отождествлял, ибо так было мне, конечно, легче, то с попыткой освобождения разбойников, то с бессмертной битвой с ветряными мельницами, то с прочими эпизодами этой великой книги. Лишь поймав себя на зависти к Вам однажды, осознав с недоумением некоторым, что уж Дон-Кихоту я бы точно не стал завидовать, хотя постоянному внутреннему ощущению счастья борьбы за истину, мистическую пусть, и справедливость, пусть иллюзорную, можно было бы позавидовать,— осознав свою зависть эту, принялся я думать о Вас без заведомости и уподоблений. Думать — в этом надо сознаться — с некоторым теперь недоброжелательством, ибо самым своим существованием Вы ощутимо бередили и портили мой надменный отчужденный покой. Отчего и почему именно Вы, я сейчас не берусь Вам излагать, да вряд ли и сумею это сделать. Да к тому же и разговор не об этом. Впрочем, нет, он об этом как раз, но теперь я пе-

рейду к Вам. Очень важно сразу здесь оговориться, что ни в коем случае не беру я на себя смелость обсуждать правильность или неверность (да и с какой точки зрения? Пользы России? Пользы человечества? Гуманизма в общем? И в чем польза, если спорен смысл жизни вообще?) всех деяний и писаний Ваших. Это все рассудит история, очень нескоро, вряд ли объективно, да притом наверняка не умея ухватить то тончайшее и неизмеримое, что приносит человек своей эпохе и помимо своих явных дел. Нет, нет, нет, я говорю о другом. Думаю, что высокая значимость Ваша (я не льщу Вам, я обсуждаю) исключительно и всецело состоит в сотворении себя самого, в поддержании и незыблемости той личности, кою Вы в себе развили и воспитали. В постоянном следовании теми путями, кои Вы считали справедливыми, гармоничными Вашей совести и душе. Можно ведь, согласитесь, по-разному спасаться в этой юдоли зла, от него уклоняясь или ввязываясь. Нам обоим неприязненно смешон был тогда еще путь спасения в побеге из мира. Путь поста, молитвы и покаяния. Далее идут мирские пути. Самый легкий, как мне кажется (или казалось), выбрал я. Помните, я говорил Вам, что сегодня, в наше время, просто неучастие в жизни, просто неприумножение зла — есть уже достаточное добро. Я сейчас уже не думаю так, оттого я и пишу именно Вам. Думаю, что зло — это течение, столь же неодолимое, как течение самой жизни, и не сопротивляющийся — не спасается, ибо виновен в непротивлении. Впрочем, это снова обо мне. Далее — путей уже множество. Большинство из них — различные компромиссы. Правота здесь выясняется в старости: где-то они плыли и поддавались, где-то они решались и оспаривали — взвешивать соотношение в каждой жизни одоления и попустительства я оставляю Страшному Суду. Странный и необычный путь выбрали, согласитесь, Вы. Ежечасно, невзирая на обстоятельства, следовать велению внутреннего голоса Вашего, ни на какие шепотки

благоразумия не поддаваясь. Оттого Вы и теряли столько, оттого Вы столько и проигрывали — или я неправильно трактую Вашу жизнь, прошу меня тогда извинить,— оттого я и завидую Вам. Думаю, что Вы многих раздражали, Вы оказывались молчаливым упреком их исканиям и попыткам совместить и верность, и успех, думаю, что Вы даже юродивым изредка выглядели со стороны.

Написал я это все вчера и оставил, чтобы сегодня утром трезвым взглядом оценить сумбурность написанного. Прочитал, и, как видите, не поправил ни единого слова. Но не потому, что доволен высказанным, а единственно только потому, что бессилен выразиться ясней. Думаю, что Вы выиграли свою жизненную игру, и почел своим непременным долгом написать Вам об этом, как ощущаю. Крепко жму Вашу руку и теперь уже прощаюсь с Вами навсегда, ибо, когда (и если) мы вольемся по смерти в некую предвечную бесконечность, все равно уже будем это не мы, и поговорить нам уже никак не удастся. Искренне Ваш — Иван Хворостин».

2

Именно в это время и постигло бывшего кавалерийского подполковника Постникова, ныне опять петербургского сыщика Романна, то непостижимое наказание свыше, о котором мы уже говорили. Это была тоска — глухая, настойчивая, мучительная. Но не безотчетная — нет, он совершенно ясно понимал, откуда она, отчего и как от нее избавиться. Ему вновь хотелось в Женеву. Он и сам бы себе не смог объяснить внятно и убедительно, почему его опять с невероятной силой тянуло к этим людям, коих только что он так блистательно обманул и переиграл. Воспоминания молодости, оживившись в нем для удачности дела, не хотели, может быть, теперь затихать? Или разъезжать по Ев-

роне поправилось? Или в роль издателя он не внешне вошел, а душой, покосившейся вдруг на бумагах, желтых и выцветших? Неизвестно. Только так ему остро и неотложно захотелось вновь обратно, что хоть границу тайно переходи. Душно показалось дома, затхло, одиноко и безнадежно. Обволакивали скука и тоска такой силы, что не знал, что с собой поделать. Мелкими, пресными и отвратительными выглядели новые поручения. Та пружина азарта, что свободно развернулась в нем в Женеве, ни за что не хотела ужиматься теперь до масштабов нынешней привычной работы. И тогда он принялся донимать начальство рапортами о необходимости новой командировки. Убедительные высказывая доводы: будет скандал, если хватятся исчезнувшего Постникова, а бумаг, привезенных им, предостаточно, чтобы все-таки издать совершенно невинный второй том из собрания Долгорукова. Совершенно, он опять подчеркивал, невинный и безопасный с точки зрения крамолы. Даже материальной выгодой соблазнял, наивец, начальство. Но оно не клевало ни на один из выдвигаемых аргументов. Даже на самый сильный: что уже навсегда бесполезен будет их агент за границей, если последует его разоблачение. И опять не откликалось начальство. И в тоске, в бессилии и гневе проклинал Романн-Постников близорукость и тупость их, и на что отважился бы, неизвестно,— может быть, и до крайности бы дошел, но решил, уже докладов пять подав, поговорить с Филиппеусом доверительно, пользуясь его к себе расположением. Он понимал прекрасно цену этого расположения, знал, что не помедлит Константин Федорович и секунды, выдавая его с головой в случае какой опаски для себя лично, а хотелось все же попытаться. И, уже идя к нему, вдруг сообразил тоскливо, что желание такое настоятельное — не побегом ли оно пахнёт на проницательного его начальника, ну да будь что будет. Но судьба, растравившая азартного Романна, позаботилась теперь и об утолении его. В кори-

доре еще выяснил он, встретив Филиппеуса, что объявлен розыск уголовного преступника Нечаева, убежавшего за границу по совершении убийства. Скоро будет процесс его сообщников, а розыском самого главаря, доверительно сказал Филиппеус, нам тем более старательно выпадет заниматься, что государь собирается на воды, по слухам, так что к лету все должно быть проверено и обеспечено. И ушел куда-то, убежал по неотложным делам, а на столе своем, вернувшись несколько часов спустя, нашел уже рапорт Карла Романна с предложением выследить Нечаева, пользуясь заведенными в Женеве связями. Тут уж препятствий никаких возникнуть не могло. Торжествующий, помолодевший, подтянутый уезжал из Петербурга через неделю подполковник в отставке Постников.

Этот год, проведенный за границей (возвращался в Петербург раза два, но уже только на время, по делу), прожил в каком-то странном полусне, ибо сам не знал толком, с кем он теперь душой и против кого играет в действительности. Он проводил часы с Огаревым, он одалживал Огареву деньги (аккуратно за казенный счет их относя), познакомился и подружился очень тесно с Бакуниным (этому не одалживать было невозможно — Третье отделение оплачивало и эти счета), он возил в Россию тайные письма Бакунина к братьям с просьбой о помощи (чертыхаясь и усмехаясь, лично клеил на них марки Филиппеус), а обратно и деньги привозил. Он исправно писал отчеты начальству, и вранья в них было немного, ибо и впрямь уже трудно было найти Нечаева, прятался он и скрывался даже от своих. Сообщил, что было важно и весомо, о полнейшей возможности ехать монарху к водам, ибо сам Бакунин считает, что одиночный террор бессмыслен, надо истребить весь царский род исключительно целиком и вместе. Он собрал, подготовил к выпуску и издал второй том из бумаг покойного Долгорукова — все расходы оплатила казна. Это было единственное, очевидно, историко-архивное бесцен-

зурное издание, подаренное читателю силами Третьего отделения.

А следов Нечаева нигде не было. Постников проехался зря. И, еще несколько попыток розыска предприняв, будучи человеком честным, сообщил, что и ниточек не предвидится. Был отозван немедленно в Петербург. Думал он, послушно возвращаясь, что уже, быть может, утолил свою жажду несколько, что приживется, остынет. Может быть, пора одуматься, может быть. И, вернувшись лишь, почувствовал: не прошло. Что-то лишнее вдохнул он, что витало вокруг этих людей, чересчур близко его подпустивших. Так стремительно, так бесповоротно, безнадежно и прочно очутился он опять в Петербурге, что внезапно ощутил, спохватившись, как сглупил, что покорно вернулся. Ощутил себя пойманным зверем и ничуть не удивился острой нарастающей боли. Чуть за сорок от разрыва сердца умирают далеко не часто, и поэтому долго после похорон его, запершись у себя в кабинете, напряженно и сосредоточенно размышлял Филиппеус о той незримой драме, что совершалась в непонятной душе сотрудника.

3

Вот здесь, пожалуй, и надо кончить нашу книгу. Огарев пережил Герцена лишь на семь лет. Жил он некоторое время в Женеве, потом переехал в Лондон. Появилась новая эмиграция, новые люди, они очень хотели познакомиться со знаменитым изгнанником, ибо выросли на чтении «Колокола» и «Полярной звезды» и первые свои шаги в освободительном российском движении совершали, размножая статьи Огарева и укрепляя свою решимость и одушевленность его стихами-песнями. Он охотно общался с ними, обсуждал их идеи и проблемы, с радостью видел благодарность и преданность, и неизменно теперь и посто-

янно ощущал свою чуждость и отстраненность. Чувствовали ее и собеседники и постепенно от него отходили. Только некоторые продолжали с ним общение, а потом переписку, но уже из иных, чисто тактических соображений, о преемственности своей заботясь или укрепляя свой авторитет. Он не вмешивался ни в чьи дела и советов никому не навязывал. Единственное, что делал до самой смерти,— ревностно следил за всем, что писалось о Герцене. И когда не так что-нибудь упоминалось и даже в крохотной мелочи искажалась память о друге, он писал, настаивал, добивался. О нем же самом тогда писали еще мало: он как ранее жил, так и сейчас оставался вторым, товарищем, спутником, соавтором, соиздателем, соратником. Но всегда и неизменно вторым. И это очень, как и прежде, устраивало его.

Да, второй, но кто знает, разгорелась бы так ярко звезда первого, если бы не было с ним рядом друга, еще там, в Староконюшенной и на Воробьевых, а потом тут, в Лондоне?..

Дети Герцена выплачивали ему пенсию — небольшая, она порой кончалась до срока, и тогда, не желая их беспокоить, он вежливо напоминал своим старым должникам о нужде. И они, как всегда, не откликались.

С Натали, своей бывшей женой, он уже не виделся более. Она приехала к ним однажды, как всегда, раздраженно-взвинченная, стала его за что-то упрекать, разговор перешел на Мэри, и она плохо отозвалась о ней. Мэри не было в это время в комнате, и Огарев позвал ее, но Наталья Алексеевна повторила обвинения. Огарев спокойным голосом перевел Мэри все. Он всегда так делал, если при ней говорили по-русски, и не почел необходимым сделать исключение теперь. И Мэри попросила Наталью Алексеевну покинуть их дом. Огарев молчал, когда она уходила. Это вся его былая жизнь уходила. Но он взял себя в руки и выдержал до конца. Мэри заплакала немедленно по ухо-

де Натальи Алексеевны, стала просить прощения и готова была бежать вслед, но Огарев остановил и успокоил ее. «Все правильно, все справедливо, Мэри»,— сказал он. А потом играл весь вечер. Те же пьесы, что когда-то в Старом Акшене.

Умирал Огарев в сознании, ясно понимая, что конец. Усмехнулся, что, может быть, увидит Сашу, и напомнил Мэри о двух русских медяках, припасенных им давно уже на этот случай. Медяки эти, согласно его просьбе, Мэри и положила на его сомкнувшиеся глаза. После смерти лицо его внезапно помолодело, и всегдашняя мягкость доброты проступила резче и ярче, и яснее обозначилась твердость.

Девяносто лет спустя его прах вернули в Россию.

Либединская Л. Б.
Л55 С того берега: Повесть о Николае Огареве.— 2-е изд.— М.: Политиздат, 1985.— 356 с., ил.— (Пламенные революционеры).

Л $\frac{0504030000-263}{079(02)-85}$ 180—85

84Р7 + 87.3(2)
Р2 + 1ФС

ЛИДИЯ БОРИСОВНА
ЛИБЕДИНСКАЯ

С ТОГО БЕРЕГА

ПОВЕСТЬ О НИКОЛАЕ ОГАРЕВЕ

Заведующий редакцией *В. Г. Новохатко*
Редактор *А. П. Пастухова*
Младший редактор *Г. И. Жарикова*
Художник *М. Н. Ромадин*
Переплет *Б. А. Малахова*
Художественный редактор *В. И. Терещенко*
Технический редактор *Е. Ф. Леонова*

ИБ № 4844

Сдано в набор 25.01.85. Подписано в печать 01.07.85.
А 00131. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 16,36. Усл. кр.-отт. 20,21. Уч.-изд. л. 16,41.
Тираж 300 тыс. экз. Заказ № 84. Цена 1 р. 30 к.

Политиздат. 125811, ГСП,
Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Типография изд-ва «Уральский рабочий»,
620151, г. Свердловск, пр. Ленина, 49.

**В 1985 году в серии
«Пламенные революционеры»
выйдут следующие книги:**

Анатолий Афанасьев
«...И помни обо мне»
Повесть об Иване Сухинове

Татьяна Павлова
«Закон свободы»
Повесть о Джерарде Уинстэнли

Арсений Рутько, Наталья Туманова
«Последний день жизни»
Повесть об Эжене Варлене

Франц Таурин
«На баррикадах Пресни»
Повесть о Зиновии Литвине-Седом

Борис Хотимский
«Непримиримость»
Повесть об Иосифе Варейкисе

Вячеслав Шапошников
«К земле неведомой»
Повесть о Михаиле Брусневе

В 1986 году в серии «Пламенные революционеры» выйдут следующие книги:

Юрий Давыдов
«Неунывающий Теодор»
Повесть о Федоре Каржавине

Соломон Демурханашвили
«Солнцеворот»
Повесть об Авеле Енукидзе

Армен Зурабов
«Тетрадь для домашних занятий»
Повесть о Камо (С. Тер-Петросяне)

Николай Кузьмин
«Огненная судьба»
Повесть о Сергее Лазо

Анатолий Левандовский
«Первый среди равных»
Повесть о Гракхе Бабефе

Радий Фиш
«Спящие пробудятся»
Повесть о Бедреддине Симави

Юрий Чернов
«Сподвижники»
Повесть о Пантелеймоне Лепешинском

Алексей Шеметов
«Искупление»
Повесть о Петре Кропоткине

Алексей Эйснер
«Человек с тремя именами»
Повесть о Матэ Залке




No. 161
BELL
APRIL 15.
ОКОЛЪ
VOS VOCO!